

ISSN 0132-0637

Октябрь

12 2001

2001

12

Октябрь

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

12

2001

ДЕКАБРЬ

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

НОВЫЕ ИМЕНА

| | |
|---|-----|
| Аркадий БАБЧЕНКО. Десять серий о войне | 4 |
| Ирина ФЕДОСЬКИНА. Версия. Стихи | 12 |
| Александр ЧАНЦЕВ. Магазин (hardcore mix). Рассказ | 15 |
| Наталья ОЛЕНЦОВА. Дар Божий. Рассказ | 26 |
| Андрей ГЕЛАСИМОВ. Нежный возраст. Рассказ | 29 |
| Серафима ЧЕБОТАРЬ. Муравей моей судьбы. Стихи | 36 |
| Алексей ЛУКЬЯНОВ. Палка. Рассказ | 39 |
| Наталья МУРОМСКАЯ. Компьютерная мышь. Стихи | 57 |
| Леонид САКСОН. Принц Уэльский. Рассказ | 58 |
| Иван ПАЗДНИКОВ. Жизни волосок... Стихи | 91 |
| <hr/> | |
| Светлана ВАСИЛЬЕВА. Триптих с тремя неизвестными. Рассказы | 94 |
| Елена НАУМОВА. Стихи — забава молодых. Стихи | 126 |
| Владислав ОТРОШЕНКО. Эссе из книги «Тайная история творений». | 128 |

Феликс МЫСЛИЦКИЙ.
Два стихотворения 150

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Александр СЕКАЦКИЙ.
Истоки современной политики 152

Фаина БЛАГОДАРОВА.
Блокада 163

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Сергей ФАУСТОВ.
Голос из Вологды 168

Отличие ямба от хорея

Кирилл КОБРИН.
Письма в Кейптаун о русской поэзии. Письмо шестое
и последнее 174

Терпение бумаги

Ольга СЛАВНИКОВА.
Урок географии 179

Актуальная культура

Владимир БЕРЕЗИН.
Суеверие 184

Содержание журнала «Октябрь» за 2001 год 188

Главный редактор

Анатолий АНАНЬЕВ

заместитель гл. редактора

Ирина БАРМЕТОВА

Редакция:

| | |
|--------------------|----------------------|
| Инесса НАЗАРОВА | отв. секретарь |
| Алексей АНДРЕЕВ | зав. отделом прозы |
| Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ | зав. отделом критики |
| Виталий ПУХАНОВ | проза |

Общественный совет:

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

**Из общего тиража каждого номера Министрство культуры
Российской Федерации выкупает для библиотек России
600 экземпляров журнала.**

**Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество»
выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России
850 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.
Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64,
ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии –
214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24,
приемная редакции – 214-31-23.

© «Октябрь». 2001. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 23.10.2001. Подписано к печати 23.11.2001. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 5920 экз. Заказ № 2738. Цена 52 руб.

ООО «ОИД «Медиа-Пресса».
125993, ГСП-3, Москва, А-40, ул. «Правды», 24.

Новые имена

В нынешнем году рубрика «Новые имена» составлена из произведений, отобранных, во-первых, из нашей редакционной почты; во-вторых, в процессе подготовки и проведения Форума молодых писателей, который проходил в Москве в октябре этого года; и в-третьих, после работы над многими и многими рукописями, присланными на конкурс «Дебют».

Форум молодых писателей проводился под эгидой толстых журналов и Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Во многих отношениях он был необычен. Впервые за десять лет в Москве были собраны 150 молодых авторов из 40 регионов России. Задача, которую поставили перед собой организаторы, — преодолеть культурную разорванность центра и провинции. Воссоздать единое духовное пространство России невозможно без участия одаренной молодежи — будущих создателей и хранителей нашей культуры. Поиском молодых талантов в провинции занимались сотрудники журналов и ведущие писатели. На Форуме провели свои мастер-классы известные литераторы, философы и экономисты. Рукописи читались не только руководителями мастер-классов, ими обменивались и сами молодые авторы, обсуждали друг друга, знакомились. Мы уверены, как бы ни сложились творческие судьбы участников Форума, на малую родину они возвратятся, осознав себя поколением.

Если поиск молодых талантов в рамках программы Форума велся по принципу поездок писателей-экспертов и работников журналов по регионам России, то претендентов на литературную премию «Дебют», учрежденную Фондом «Поколение», искали иначе. На предложение участвовать в конкурсе, объявленное через СМИ, организаторы получили более тридцати тысяч рукописей авторов до 25 лет. В этом конкурсе «Октябрь» принимал участие при отборе произведений, претендующих на место в лонг-листе.

Результаты конкурса «Дебют» будут объявлены в конце декабря, когда этот номер уже придет к читателям. И мы надеемся, что отобранные нами для публикации рассказы Аркадия Бабченко, Александра Чанцева, Натальи Оленцовой и Александра Лукьянова войдут в список победителей. Но если даже от кого-то из них удача в этот раз и отвернется, мы со своей стороны уже можем с уверенностью сказать, что вопреки всему растет новое поколение творческих людей, с интересом всматривающихся в жизнь и черпающих из нее сюжеты для своих произведений.

Десять серий о войне

Горная бригада

Что такое горы, может представить только тот, кто там побывал. Горы — это полная задница. Все, что нужно для жизни, — все на себя. Нужна еда — и ты под завязку набиваешь вещмешок сухпаем на пять суток, выкидывая оттуда все лишнее. Нужны боеприпасы — и цинк патронов и пол-ящика гранат ты рассовываешь по всем карманам, пихаешь их в кармашки вещмешка, в подсумки, вешаешь на ремень. При ходьбе они ужасно мешают, натирают пах, бедра, своим весом давят на шею... Свой АГС — станковый гранатомет — ты взваливаешь на правое плечо, а АГС раненого Андрюхи Воложанина на левое. Две ленты с гранатами для АГСа вешаешь крест-на-крест на грудь, как матрос Железняк в кино про революцию, а в свободную руку, если такая останется, берешь еще и «улитку» — коробку для ленты. Плюс палатка, колья, топоры, пила, лопаты и тому подобные вещи, необходимые для жизни взвода. Плюс вещи, необходимые лично тебе, — автомат, бушлат, одеяло, спальный мешок, котелок, пачек тридцать сигарет, смену белья, запасные портянки и т. д., и т. п. Всего получается килограммов семьдесят. И, когда делаешь первый шаг в гору, понимаешь, что наверх ты не залезешь ни за что, даже если тебя расстреляют. Но потом ты делаешь второй, третий шаг и начинаешь карабкаться, ползти, лезть наверх, поскользываться, падать, снова лезть, зубами и кишками цепляясь за кустики и веточки. Отупев, ты все прешь и прешь, не думая ни о чем, — только следующий шаг, всего лишь один шаг...

Рядом ползет противотанковый взвод. Им хуже — мой АГС весит 18 килограммов, а их ПТУРЫ* — по 42. И толстый Андрюха, прозванный за свою комплекцию и веселый нрав Жиропопом, плачет: «Командир, ну давай бросим хоть один ПТУР, ну давай, а?» А командир, лейтенант-срочник, тоже со слезами на глазах упрашивает его: «Ну, Андрюха, ну, Жиропоп, ну зачем мы там нужны без ПТУРов? Ну зачем? Там наша пехота умирает». Да, там умирает наша пехота. И мы ползем. Ревем в голос, но ползем...

А потом мы меняли парней из Буйнакской горно-штурмовой бригады. Они жили в сакле пастуха — маленькой глиняной мазанке. Нам после шикарных квартир Грозного с кожаными диванами и зеркалами на потолках этот сарай казался убогим. Глиняные стены, земляной пол, маленькое слепое окошко, почти не дающее света... Для них же это было первое настоящее жильё после долгих ночевков в крысиных норах и ямах. Семь месяцев, изо дня в день, они лазали по горам, выбивая при этом «чехов»** с вершин, ночуя там, где, упав, уже не было сил подняться, а потом снова лезли вверх. Своим внешним видом они сами стали похожи на «чехов» — бородатые, немые, в грязных, засаленных танкистских бушлатах, озверевшие, ненавидящие все и вся. Они смотрели зло; наш приход означал конец их маленького счастья — надо покидать свой «дворец» и снова идти в горы. Им предстоял девятичасовой марш, а потом штурм какой-то стратегически важной сопки. Они говорили об этом с радостью, девять часов —

* противотанковые управляемые ракеты.

** чеченских боевиков.

это не срок, обычно переход занимает у них сутки или двое. И тогда мы поняли: наши мучения — цветочки по сравнению с тем, что перенесли они.

Они уходили, мы смотрели им вслед, и каждому становилось страшно. Поэтому что скоро нам предстояло идти за ними. Наша высота уже ждала нас.

Аргун-река

Первого марта мой взвод перекинули под Шатой. Нашей задачей было держать мост через реку Аргун. Воды у нас не было, и мы брали ее из реки. Вода была сероводородная, цементного цвета и воняла тухлыми яйцами, но мы пили ее, успокаивая себя тем, что сероводород полезен для почек. Река для нас — что для бедуина источник в пустыне. В реке мы мылись, из реки пили, из нее же брали воду для приготовления пищи. Боевиков в этом районе не было, и наша жизнь шла неспешно. По утрам мы спускались к Аргун-реке, как курортники, — с обнаженными торсами и цветастыми «трофейными» полотенцами через плечо. Мы умывались, плескались, как дети, потом рассаживались на камнях и загорали, подставляя белые животы яркому зимнему солнцу.

А потом по Аргун-реке поплыли группы. Вверх по течению с обрыва в реку упали две машины с ухивившими боевиками, вода вымывала их из кузовов и несла вниз. Первым проплыл пленный десантник — на фоне мутной воды его камуфлированный бушлат расцветки «белая ночь» выделялся отчетливо. Мы его выловили, за ним приехало начальство и увезло, положив в кузов грузовика.

Но всех вода не смогла унести — в раскоряченных машинах остались еще несколько «чехов». Погода была теплая, и их тела должны были начать разлагаться. Мы хотели их достать, но ущелье было слишком глубоким и крутым, и мы прекратили попытки.

На следующее утро, проснувшись, я подошел к бачку с водой, который приносил на кухню. Обычно бачок быстро пустел, но на этот раз он был полным. Зачерпнув кружку воды, я уже сделал первый глоток, как до меня дошло — вода-то с мертвечиной, поэтому и бачок полный, никто не пил. Я сплюнул, поставил кружку. Тогда сидевший рядом Аркаша-снайпер посмотрел на меня, встал, взял кружку, зачерпнул воды, выпил ее и протянул кружку мне:

— На, пей, чего ты...

И мы продолжили пить ее, эту мертвую серную воду, но уже не успокаивали себя отговорками, что она полезна для почек.

«Чехи»

Вернувшись с «фишки»*, Шишигин растолкал меня:

— Второй этаж, первое окно справа?

— Да. Тоже видел?

— Видел. — Он выжидающе посмотрел на меня. — Это «чехи».

«Чехов» мы засекли по зеленоватому отцвету в окне, который оставлял их «ночник». Наша и чеченская «фишки» находились в соседних домах, расположенных метрах в пятидесяти друг от друга, — наша на третьем, а их «фишка» на втором этаже. Они наблюдали за нами в прибор ночного видения, мы же отслеживали их по хрусту стекла под их ногами.

Ни они, ни мы не стреляли. Тактику «чехов» к тому времени мы изучили уже хорошо — до рассвета они вели наблюдение, после чего стреляли раз или два из гранатомета и уходили. Мы же не могли их шугануть, потому что роскошная квартира с огромной кроватью, периной и теплыми одеялами, которую мы выбрали для ночлега вопреки всем правилам безопасности, позарившись на комфорт и наплевая на войну, была мышеловкой и не давала нам путей отхода — в случае боя нам хватило бы одной гранаты в форточку. Поэтому нам не оставалось ничего другого, как ждать — будут они стрелять или нет, и если бу-

* наблюдательный пост.

дут, то куда — в комнату, где спят четверо, или в балкон, где на «фишке» постоянно находился один из нас. Русская рулетка, крупье в которой был чеченский снайпер, игралась четыре к одному, где четыре — смерть.

Они так и не выстрелили. Шишигин, стоявший на «фишке» под утро, рассказал, что слышал два коротких свиста, после чего «чехи» спустились и ушли.

Утром, когда окончательно рассвело, наше любопытство погнало нас с Шишигиным туда. В пыли, толстым слоем покрывавшей квартиру, отчетливо отпечатались два следа — армейских ботинок и кроссовок. «Армейский ботинок» — снайпер — все время сидел у окна и пас нашу квартиру, второй охранял его.

А не выстрелили они потому, что у них отказала «муха». «Чехи» взвели ее, прицелились, нажали на спуск... но «муха» не сработала. Брошенная, она так и валялась на кухне. Наш русский брак, допущенный Ваней-слесарем при сборке гранатомета, спас наши жизни.

Кроме «мухи», на кухне стояла еще и совершенно нормальная печка. Печки у нас не было, и мы решили прихватить трофей с собой. И когда уже выходили из подъезда, со стороны «чехов» сработала «сигналка»: они засекли двух любопытных русских дураков и хотели взять нас в этом подъезде, — и мы мчались до нашего дома, как сайгаки, в два прыжка преодолев пятидесятиметровое расстояние, но печку так и не бросили. А вбежав в подъезд, стали ржать, как безумные, и гоготали чуть ли не полчаса, не могли остановиться. И на всем свете не было тогда человека ближе и понятней мне, чем Шишигин.

«Чехи»-2

Я только успел снять сапоги, когда раздался выстрел. Вскрываю, хватаю автомат и в одних носках бегу к выходу из комнаты, моля Бога, чтобы не прошли через дверь. Сердце колотится бешено, в ушах стучит. Добегаю, плюхаюсь спиной к стене. Дверь не открываю, жду. Тишина. И вдруг сдавленный голос Шишигина:

— Пацаны, ну подорвитесь кто-нибудь.

Суматошно, прыгая на одной ноге, пытаюсь надеть сапоги, они, как назло, загибаются, не лезут на ногу.

— Сейчас, Ваня, сейчас...

Наконец-то мне удается кое-как натянуть сапоги. Перед тем как открыть дверь, несколько раз глубоко вдыхаю, как перед прыжком в ледяную воду. Потом резко распахиваю ногой дверь, перекатываюсь в соседнюю комнату. Никого, пусто.

— Ваня, ты где?

— Да здесь я, здесь! — Бледный Шишигин вываливается из туалета, на ходу застегивая штаны, выдыхает сипло, на одном дыхании: — «Чехи». Под нами. Те самые. Я на очке сидел, когда их свист услышал.

— Ебт, гранату бы кинул! — Я злюсь на него, потому что теперь надо идти вниз, где «чехи», и страх холодит желудок.

— Я на очке сидел, — повторяет Шишигин и смотрит на меня затравленно, как побитая собака.

Медленно, как можно тише, чтобы не хрустнуло стекло под ногой, выходим в коридор. Каждый шаг — вечность, и, пока мы проходим трехметровую вселенную прихожей, тысячи поколений успевают появиться и сгинуть на Земле, а Солнце умирает и возрождается вновь. Наконец лестничная площадка. Приседаю. Резко выглядываю за угол и тут же прячу голову. На лестнице вроде никого. Выглядываю уже медленнее. Никого. Растяжка, поставленная мной вчера между третьей и четвертой ступенями, цела. Значит, не поднимались. Надо идти.

Жестами показываю Шишигину встать на противоположную сторону площадки и держать лестничный пролет внизу. Он перебегает, вскидывает автомат, кричит шепотом:

— Аркаш, не ходи!

Пока осторожно, держа на прицеле пролет, иду к лестнице, в голове только эта мысль: «Аркаш, не ходи». «Аркаш, не ходи», — уговариваю я себя и делаю шаг на первую ступеньку. «Не ходи!» — медленно-медленно перешагиваю

через растяжку. «Не ходи!» — спускаюсь еще на несколько ступенек вниз. Угол. Часто-часто дышу, виски ломит, очень страшно. «Не ходи! Не ходи! Не...» Резко врываюсь в квартиру, выбиваю дверь в комнату — пусто, на кухню — пусто, бегом возвращаюсь, кидаю гранату в раскрытую часть квартиры напротив, с ходу падаю, жду криков, стоа, стрельбы в упор...

Взрыв. Тихо. Никого. Ушли...

Сажусь на корточки, достаю пачку «Примы», разминаю сигарету. Закуриваю. Пустую пачку выкидываю. Я страшно устал.

Под шапкой появляется капля пота, стекает по переносице, на мгновение зависает на кончике носа и капает на сигарету. Сигарета тухнет. Я тупо смотрю на потухшую сигарету, руки дрожат. Глупо, конечно, нельзя было в одиночку сюда соваться. Выкидываю сигарету, встаю.

— Шишигин! Дай закурить... Они ушли...

Яковлев

Яковлев свалил под вечер.

Он был не первым, кто ушел. Недели за две до него двое солдат с «восьмерки», захватив с собой ПКМ, дернули домой. Их искать никто не стал бы, но пропаша пулемета в батальоне — дело серьезное, и комбат сутками мотался по полям, разыскивая этих двоих. Но нашли их омоновцы — те двое сами пришли к ним на блок-пост и попросили еды.

Яковлева никто не искал. Шел штурм Грозного, второй батальон третий день безуспешно брал крестообразную больницу, неся большие потери, а мы топтались на первой линии домов частного сектора, не в силах продвинуться дальше. Штурм захлебывался, и было не до Яковлева. Его занесли в списки самовольно оставивших часть, автомат списали на боевые потери и замяли это дело.

Нашли его опять же омоновцы, через два дня. Зачищая подвал одного из коттеджей, они наткнулись на изуродованное тело. Это был Яковлев.

«Чехи» вскрыли его, как консервную банку, достали кишечник и удушили его, еще живого, собственными кишками. На аккуратно побеленной стене, под которой он лежал, они написали его кровью «Аллах акбар», а на ноги надели белые носки — белых тапочек у них не нашлось.

Корова

Корова эта досталась нам в наследство от Буйнакской бригады, которую мы меняли в горах.

Тощая до невозможности, она напоминала узников фашистских концлагерей и уже доходила до ручки: сутки напролет лежала, уставясь пустыми глазами в одну точку на горизонте, даже не зализывая раненное осколком от ПТУРа плечо.

В первый же вечер мы приволокли корове огромную охапку сена. Она повела ноздрями, лизнула его длинным языком, кося на нас одним глазом, еще не веря в свое счастье. Потом захрустела сеном и жевала не останавливаясь два дня, позабыв про сон, — десантники ее не кормили. Сначала она ела все так же лежа, потом встала.

Дня через три, когда корова уже могла ходить, Мутный надоил с нее кружку молока. И хотя молоко было без капли жира, невкусным и пустым, мы выпили его как божественный нектар. Пили по очереди — каждому по глотку — и радовались за корову.

А на следующий день у коровы пошла носом кровь. Она умирала, и мы, не глядя ей в глаза, повели ее в овраг добивать. Она шла еле-еле, слабые ноги подгибались, и мы материли ее за то, что она затягивает расстрел.

Одегов, ведший корову на веревке, подвел ее к краю оврага, развернул и как-то торопливо, плохо прицелившись, выстрелил. Пуля пробила корове носовую перегородку — я слышал, как ломались кости, тупой такой удар и тихий хруст, — корова пошатнулась, посмотрела на нас, поняла, что мы ее убиваем, и покорно опустила голову.

Из ее носа обильно хлынула черная со сгустками кровь. Одегов, прицеливавшийся для второго выстрела, вдруг опустил автомат, развернулся и быстро пошел вверх по склону. Тогда я догнал его, взял автомат и, вернувшись, в упор выстрелил корове между ушей. Ее глаза дернулись вверх, провожая взглядом убившую ее пулю, закатились, и она сползла по склону оврага.

Мы еще долго стояли на краю склона и смотрели на мертвую корову. Кровь на ее носу запеклась, и мухи уже заползали ей в ноздри. Потом я дернул Одегова за рукав.

— Это всего лишь корова.

— Да.

— Пойдем.

— Да.

В Моздок

Дожди шли уже неделю. Серое низкое небо постоянно было затянуто тучами, и дождь не прекращался ни на минуту, только менял интенсивность.

Мы давно уже не надевали сухих вещей — мокрым было все, от спальных мешков до портянок. И мы постоянно мерзли: сорокаградусная жара с началом дождей сменилась мерзостной слякотью, и температура упала до плюс пятнадцати.

Нашу землянку все время заливало. Нар у нас не было, возвращаясь из караула, мы ложились в ледяную хлюпающую жижу и спали всю ночь в одной позе — на спине, стараясь, чтобы нос и рот постоянно были выше уровня воды.

Утром мы вылезали из землянки, как из недра затопленной подводной лодки, и, уже не прячась от дождя, шлепали прямо по лужам хронически мокрыми сапогами, на которые сразу налипало по полпуда глины.

Мы стали опускаться. Неделю не мытые руки растрескались и постоянно кровоточили, превратившись от холода в сплошную экзему. Мы перестали умываться, чистить зубы, бриться. Мы уже неделю не грелись у костра — сырой тростник не горел, а дров в степи достать было негде. И мы стали звереть. Холод, сырость, грязь вытравили из нас все чувства, кроме ненависти, и мы ненавидели все на свете, включая самих себя. Ссоры между нами вспыхивали из-за любого пустяка и мгновенно достигали высшей точки накала.

И, когда я уже почти окончательно превратился в животное, меня вдруг вызвал ротный:

— Собирайся. К тебе мать приехала. Завтра с колонной поедешь в Моздок.

Эти слова сразу отделили меня от остальных. Они оставались здесь, в дожде, а мои мучения кончились, я уезжал к матери в теплое, сухое, чистое. И меня уже больше ничто не волновало из жизни моего взвода — из их жизни. Единственное, о чем я думал, была услышанная от кого-то фраза, что после короткого перемирия колонны опять начали обстреливать. И стоя свою последнюю ночь в карауле, и глотая утром безвкусный молочный суп, и обещая Андрюхе, что я вернусь, я думал только об этом — что колонны опять начали обстреливать.

1-й микрорайон

Перед рассветом, часов около шести, «чехи», как обычно, обстреляли позиции из гранатометов. Мы стояли в частном секторе, перед нами, в девятиэтажках первого микрорайона,— гантамировцы. Все пряники достаются им: у них четверо раненых, один — тяжело.

Они прибегают к нам, молотят в ворота:

— Эй, русские, вставайте! Эй, русские! Дайте машину, у нас раненые!

Раненые лежат на носилках, прямо на снегу, по горло укрытые одеялами. Им больно. Бескровные лица, сжатые челюсти, задранные вверх подбородки. И никто не стонет. От этого молчания не по себе, мы легонько трясем их за плечи: «Жив?» Откроет глаза, поведет налитыми болью зрачками... Жив.

Мы грузим их на БТР, одного, самого тяжелого, внутрь, остальных на броню. Я стою внизу, помогаю подавать носилки. Закомбат вкалывает им свой па-

рамедол. Двое гантамировцев вскакивают на машину: «Быстрее, быстрее! Знаешь, где госпиталь в Ханкале? Я покажу!», — и бэтээр, вилая между воронками, уходит в ночь по разбитой пустынной улице. От этой экстренности, от того, что бэтээр уходит один, без сопровождения, на большой скорости, не боясь растряссти раненых, мне думается, что тяжелого не довезут, умрет по дороге.

...Когда начинает светать, мы занимаем девятиэтажки. Занимаем спокойно, без боя — они пусты. Девятиэтажки стоят коробкой, образуя замкнутый защищенный двор. Только в одном месте он простреливается снайперами — пуля пролетает у меня перед носом и выбивает крошки в бетонной стене. А в остальном двор полностью защищен, можно ходить не прячась, в полный рост. Мы радуемся этому, радуемся роскошным квартирам с красной мебелью, мягким диванам и зеркалам на потолках, радуемся, что так легко заняли дома. Пехота тут же рассыпается по квартирам, подыскивая наиболее подходящие для ночевки.

А через полчаса нас накрывают САУшки*. Мы с ротным стоим на улице, когда соседний дом, справа от нас, вздрагивает, ломается наполоам, на девятом этаже вырастает громадный клуб разрыва, балконы, балки, перекрытия медленно взлетают, парят в воздухе, переворачиваясь, и тяжело, с толчком в ноги, тикаются в землю. Следом за блоками по двору россыпью сыплется более легкая мелочевка, осколки.

Мы не понимаем, в чем дело, лишь инстинктивно приседаем, переползаем за насквозь распотрошенный осколками ржавый гараж, крутим головами.

Потом до нас доходит: свои! Это же наши САУшки! Ротный суматошно хватает наушники от висящей у меня на спине рации, начинает вызывать комбата. Я переползаю к стоящей на открытой земле запасной рации, ротный волочется за мной на наушниках, мы по очереди, он у меня над ухом, я раком у него между ног, орем в трубки, чтобы прекратили огонь, путаемся в проводах, в наушниках, забываем об осколках, в голове одно — скорей доложить, что здесь свои, скорей прекратить огонь, скорей, лишь бы не побило людей!

Из подъезда высыпают пехота, ошарашенно останавливается под козырьком, не знает, куда бежать. Ротный отвлекается от матерщины, орет им:

— Без паники! Главное — без паники, мужики! Главное — не бздеть!

Последним из темноты подъезда появляется Гильман, спокойный, как слон:

— А никто и не паникует, командир. Надо увести людей!

Ротный приказывает всем бежать обратно в частный сектор, подталкивает меня в плечо. Я делаю с десяток шагов, оборачиваюсь: ротный стоит на месте. Возвращаюсь к нему: я связист, мне надо быть рядом с ним.

Огромные стоятигидесятидвухмиллиметровые снаряды в два пуда весом рвут воздух над головами, разрываются в верхних этажах. Взрыв — и полподъезда нет, только ржавые арматурные кишки торчат из покореженных стен. Один снаряд пролетает навесом посередине двора, изнутри ударяет в дом слева, рвется. Мы падаем на землю, опять ползем за гараж. Несколько квартир в доме загораются, становится жарко, от едкого дыма трудно дышать, першит в горле...

Потом обстрел стихает. Напоследок наши дома обрабатывают вертушки, но ощущения уже не те, калибр слабоват — НУРСы** не пробивают дома насквозь, рвутся снаружи двора. Наконец, отнурсившись, и они улетают. Все заканчивается.

Пехота возвращается. На удивление у нас ни одной потери — даже никого не ранило. Целы и БТРы, стоящие под самыми домами со стороны частного сектора. У них там рвалось больше всего, но машины лишь засыпало мусором.

Все пряники опять достаются гантамировцам. У них двое тяжелораненых. Тот самый пролетевший посередине двора снаряд разорвался прямо у них в штабе, где находились двое. Одному разворотило ногу и бок, другому оторвало обе ноги.

Мы опять бегом тащим их на носилках к бэтээрам, грузим в машины. Они опять молчат, всю дорогу, только один раз безногий открывает глаза, говорит тихо: «Ногу возьмите». Сигай берет его ногу, несет рядом с носилками. Они так и несут его влятером, по частям: четверо — туловище, Сигай — ногу. Когда раненого грузят в бэтээр, Сигай кладет ногу рядом с ним.

Второй раненый умирает.

* самоходные артиллерийские установки.

** неуправляемые ракетные снаряды.

Когда парни возвращаются, Сигай подходит ко мне, «стреляет» сигарету. Закуриваем. Я смотрю на сигаевские руки, как он большим пальцем приминает табак в «Приме», а потом зажимает сигарету губами, затягиваясь. Мне кажется, что к рукам, губам, сигарете прилипли кусочки человеческого мяса. Но это под- сознательно — руки чистые, даже крови нет.

Потом Сигай говорит:

— Странно... Я, когда ехал на войну, боялся вот этого — оторванных ног, человеческого мяса... Думал, страшно будет... А это, оказывается, не страшно ни фига.

Шарик

Он пришел к нам, когда харча оставалось на два дня. Красивая умная морда, пушистая шерсть, хвост кольцом. Глаза потрясающие — один оранжевый, другой зеленый. Сытый, но не так, как были сыты псы в Грозном, — питающиеся мертвечиной в развалинах, они становились безумными, их психика не выдерживала. Этот был добродушен.

Мы его предупреждали. Мы говорили с ним, как с человеком, и он все понимал. Там, на войне, вообще все очень понятливые — человек, собака, дерево, камень, река. Кажется, что у всех есть душа. Когда ковыряешь саперной лопаткой каменную глину, с ней разговариваешь, как с родной: «Ну давай, миленькая, еще один штык, еще чуть-чуть...» И она поддается твоим уговорам, отдает тебе еще часть, пряча свое тело в себе. Они все всё понимают, они знают, какова их судьба и что будет с ними дальше. И они вправе делать свой выбор сами — где расти, куда течь, как умирать.

Мы его не уговаривали — достаточно одного слова, и так все ясно. Мы его предупредили. Он понял и ушел. Но потом вернулся. Он хотел быть с нами. Он сам сделал свой выбор. И никто его не гнал.

Жратва у нас закончилась на пятый день. Еще сутки нам удалось продержаться на коровьем боку, полученном в качестве гуманитарки от стоящего неподалеку пятнадцатого полка. Потом не осталось ничего.

— Я его освежую, если кто-нибудь убьет, — сказал Андрюха, наш повар, поглаживая Шарика за ухом, — я его не буду убивать, я люблю собак. И вообще животных.

Никто не захотел. Мы ломались еще полдня. Все это время Шарик сидел у наших ног, слушал разговоры — кому его убивать.

В конце концов решил Андрюха. Он отвел Шарика к реке и выстрелил ему за ухо. Убил сразу, с первого выстрела, даже визга не было. Освежеванную тушку он повесил на сук.

Шарик был упитан, на боках лоснился жир.

— Жир надо срезать, — сказал Андрюха, — он у собак горчит.

Я срезал жир, порубил теплое мясо. Проварив его для начала два часа в котле, мы потушили его с кетчупом — у нас еще оставалось немного кетчупа из сухпайков. Мясо получилось очень вкусное.

На следующее утро нам завезли сечку.

Квартира

В Грозном у меня была квартира. Вообще в Грозном у меня было много квартир — богатых и нищих, с мебелью красного дерева и полностью разбитых, больших и маленьких, разных. Но эта была особенная.

Я нашел ее в первом микрорайоне, в желтой пятиэтажке. Из обитой дешевым дерматином двери торчали ключи — хозяева не стали запирать дверь: живите, только не взламывайте.

Квартира была не богатая, но целая. Очень жилая, видимо, хозяева уехали только что, перед штурмом. Не по-военному домашняя, тихая. Скромная мебель, книги, старые обои, палас. Все аккуратно убрано, не разграблено. Даже стекла не выбиты.

Я не стал сразу проходить в квартиру. И, вернувшись во взвод, никому не сказал о ней. Не хотел, чтобы кто-то чужой шарил руками по этой частице мирной жизни, ворошил добро в шкафах, глазел на фотографии и рылся в ящиках. Не хотел, чтобы чужие сапоги топтали вещи, чужие руки устанавливали печку и ломали паркет на дрова.

Это был мир, кусочек спокойной, тихой жизни, по которой я невероятно соскучился, жизни, как там, в прошлом, где нет войны,— с семьей, с любимой женщиной, разговорами за ужином и планами на будущее.

Это была моя квартира. Лично моя. Мой дом. И я придумал игру.

Вечером, как стемнело, я пришел с работы домой, открыл своими ключами свою дверь. Если бы вы знали, какое это счастье открывать своими ключами свою дверь! Вошел в свою квартиру, устало сел в кресло. Откинув голову, закурил, закрыл глаза...

Она подошла ко мне, свернулась калачиком у меня на коленях, нежно положила маленькую голову на грудь. «Господи, милый, где ты был так долго? Я ждала тебя...» — «Извини, задержался на работе». — «У тебя сегодня был хороший день?» — «Да. Я убил двоих». — «Ты у меня молодец! Я горжусь тобой. — Она чмокнула меня в щеку, погладила по руке. — Молодец... Господи, а руки-то какие? Это что, от холода?» Я посмотрел на свои руки. Ее маленькая удлиненная ладонь с тонкой, пахнущей хорошей косметикой гладкой кожей лежала на моих шершавых лапиджах, грязных, растрескавшихся, кровоточащих... «Да, от холода. От грязи... Экзема. Чепуха, пройдет». — «У тебя плохая работа. Мне здесь страшно. Давай уедем отсюда!» — «Мы обязательно уедем, родная. Ты только потерпи немножко. Там, за первым микрорайоном, мой дембель и мир. И ты... Мы обязательно уедем, только подожди».

Она встала, пошла на кухню, легко ступая по ковру. «Иди мыть руки! Сейчас будем ужинать, я сегодня приготовила борщ. Настоящий, не то что у вас на работе — бигус недоваренный. Вода в ванной, я принесла с колонки. Только она уже замерзла. Но ведь лед можно растопить, правда?» Она налила борщ в тарелку, пододвинула мне. Сама села напротив. «А ты?» — «Кушай, я уже поела... Да ты сними амуницию-то, глупенький! — Она засмеялась звонко, как колокольчик. — Что ж ты гранаты в борще купаешь? Давай их сюда, я их на подоконник положу. Грязные-то какие, не стыдно тебе?» Она взяла тряпку, протерла гранаты, положила их на подоконник. «Да, кстати, милый, твою «муху», что около шкафа стоит, я тоже сегодня протерла, она запылилась совсем. Ничего? А то я боялась, может, ты ругаться будешь... Она страшная такая, я ее когда протира-ла, все боялась: а вдруг стрельнет?.. Ты ее на работу будешь брать? А то давай на антресоли уберем». — «Нет, не надо, я ее сегодня с собой возьму. Мне сегодня в ночь, знаешь, в эти девятиэтажки, где снайперы, может, пригодится...» — «Да, знаю. Там еще эта русская женщина, с сердцем... Ты сейчас пойдешь?» — «Да, я уже ухожу, я на минутку забегал только». Она подошла ко мне, обвила шею руками, прижалась. «Возвращайся скорее, я буду ждать тебя. И будь аккуратнее, смотри, под пули там не лезь». Она поправила мне воротничок хэбэ, нашла на плече маленькую дырочку, «вернешься, зашью», поцеловала. «Ну все, иди, а то опоздаешь. Будь аккуратней... Я тебя люблю».

Я открываю глаза. Некоторое время сижу не шевелясь. В душе пусто. Пепел с сигареты упал на ковер. Тоскливо. Но мне хорошо, как будто это было на самом деле...

...Я приходил в эту квартиру неоднократно, каждый день, и все играл в эту игру — в мир. Правда, он получался у меня каким-то кособоким, с гранатами на антресолях, но все же... Потом, когда мы пошли дальше, я заглянул туда в последний раз, постоял на пороге и аккуратно запер дверь.

Ключи я оставил в замке.

Версия

Отличнице

Небо на Белое море похоже,
Ветер нордический, как электричество,
Гаснет в апрельской прихोजей.
Тает сосулька в тумане оптическом,
Плачет, согнувшись на стуле, отличница,
Вазу отличных конфет уничтожив.

Я ей открою все тайны военные,
Как: выходить за шаблоны трехмерные,
Пить это небо глотками, глоточками...
Ставить палатку на уличной точке.
Как разговаривать с дедом на лавочке,
Прятать окурки от мамы и Клавоочки,
Как разобрать шепот Музы нетленной
Даже отличнице обыкновенной.

* * *

Смотрю на графику настенную,
На толстых барышень с авоськами,
На тараканий глаз монгольский
В солонке фирменной пельменной.

Очки мои в слезах и в инее.
Живет сквозняк в кармане драповом,
Со скатерти ромашки синие
Хочу срывать, срывать охапками...

Стряпухи в белой пыли носятся,
Косятся на пустые столики,
Со мной почти не церемонятся
И гонят из пельменных тропиков.

За дверью стужа новогодняя,
Иду сквозь хохот, жар и чад,
И пьяницы с глазами кроликов
Латынь какую-то кричат.

* * *

Быть прохожим входит в моду
Даже в Западной Сибири:
Сколько праздного народа
Топчет площади сырые!

На одной из них, центральной,
Апельсиновый осадок
Снегопада. Первый — пробный.
В октябре снуют без шапок
Птицы, люди, марсиане,
Гравитация — огромна.

Есть, подобны черным дырам,
В пятом и т. д. районе
Скверы (вечером пустыни),
С мертвецами водоемы.
Но и там с луной в бутылке
Держит путь влюбленный пылкий.

Быть проходим... Но не реже
Быть приходится проезжим
На семерке, на двадцатке,
Потерять очки, перчатки
В час толпы в Левобережье.

Моционы входят в моду.
А погода... Что погода?
Сибиряк — почти порода.
Облака застынут в мире —
Он прохожий и в квартире.

Все, конечно, в перспективе.

* * *

Дома весной плывут на север,
В каютах-комнатах привычных
Газет вечерних не измерить,
Но люди ждут известий личных.

А с берегов крутых и сонных
Промозглый ветер гонит запах
Сирени, в снеге растворенной,
Плывущей в сумерках на запад.

На мокрых палубах — балконах
Коты поют свои былины.
Молчат как рыбы телефоны
И люди плачут без причины.

Тополя

Пусть лирики напишут за меня
О белоствольном деревце высоком,
Споткнувшись на Есенине... А я
Дышу золой соседнего завода
И двадцать лет смотрю на тополя.

На тополя дворовые. На сотках
Не вырастила дачного жилья —
Живу все лето, книжки беребя.
Жемчужную поверхность небосвода
На гибких ветках держат тополя
И в дождь, и в зной. Кариатиды флоры,
Листвой зелено-бронзовой звеня,
У рек асфальта в жаркую субботу
Останутся они. Они и я.

Как пепел, снег. Иду-бреду с работы
В холодный мир ковров и хрустала,

А в спину смотрит, нежно смотрит кто-то,
Медовый лоск отчаянно храня.

Пусть лирики напишут за меня,
Как хороши седые тополя.

Передышка

Останемся. Пусть оголится стол,
Как после сотни жадных печенегов...
В глазах двоятся кнопки радиол,
Том Солженицына поддерживает «Вегу»,
Иван в раздумье комкает рубли,
А в уши льется ретро: «let it be».

Потом финал — пропиты все авансы,
И к ужасу соседей будут танцы.
В такое время! НАТО бьет Белград,
Трещит бюджет американо-российский,
И сатанисты рушат обелиски.
А эти, сверху, рюмками гремят!

Но если так... Мы цедим день за днем,
Мы ценим жизнь, как редкие гурманы,
И помним о своих афганистанах,
Еще возможных... Мы от боли пьем.

Нам ни к чему всюю кричать: «Полундра!»
(Иван с балкона свешен буквой «д»),
Луна в окне. На блюдах канапе.
Пьют влагу ливня саженцы на клумбах,
И никого по пятьдесят восьмому пункту
Не расстреляет в ночь НКВД.

* * *

На последние деньги билетов в кино
О гигантской стройке в советском прошлом,
А до этого — серую мышкой в метро
И в кафе доела чье-то пирожное.
Время, как нитка, запутано, сложное,
И, как все безработные, безбожное.

В последних деньгах такая сила!
Не хлеб же есть на такие деньги,
Как день, который станет последним,
Они почему-то тянутся в небо:
К нищей бабке с копейкой в коробке,
К музыканту с разбитой гитарой,
К алкашу за щенка неясной породы —
Чтобы всем понемногу и недаром...
Большие деньги бывают в малых —
Я открыла новый закон природы.

г. Новосибирск



Александр ЧАНЦЕВ

Магазин (hardcore mix)

РАССКАЗ

Глубину зеленых глаз сестры я высчитывал бесчисленное множество раз, это волшебное число я знаю наизусть и повторяю его по ночам. Будущего у меня нет — думал я и искал невозможного. Я начал измерять глубину глазного дна у людей, которых встречал, в надежде, что произойдет чудо, что появятся глаза ее цвета и глубины, от которых я мог бы на свой вопрос получить ответ, который сестра мне уже никогда не даст.

Милорад Павич. Русская борзая

Сезам автоматических дверей, кондиционируемый холод дружелюбного морга, зеркала, в которых отражаешься на фоне жизнерадостных баклажанов и перевязанных розовыми бантиками новорожденных арбузов... Магазины всегда успокаивали. Началось все с Лили, его старшей сестры, которая, когда ее бросал очередной бойфренд, шла в мебельный, заодно выводя его погулять. Они тонули в мягкости диванов, листали воображаемые книги под торшерами, которые всегда были ярче домашних, запивали позаимствованным из домашнего бара джином дым сигар их (тоже выдуманного, но да это другая сказка) отца, и она показывала ему ту симметричность, присутствовавшую в расположении мебели в салоне, которой так не хватало в жизни. Он любил симметричность: его первые детские рисунки были геометрическими фигурами. Квадраты, шестиугольники, треугольники разнообразных наклонностей — он рисовал их на карточках, потом заштриховывал в строгом порядке, который ему показала Лили: сначала штрих пересекающихся линий, потом штрих диагональных пересечений, пока белого не останется. Уходило по несколько шариковых ручек, но емкая си-нева фигур того стоила, а истраченные чернила одуряюще били в нос. Позже, когда его рисунки начали выставляться, а девушки, хоть и не бросали, но утомляли теми часовыми паломничествами в модные бутики, во время которых он должен был тащиться, вися на руке девушки наравне с сумочкой, ему ужасно не хватало мебельных Лили. Он нашел себе другое отдохновение, более примитивное, приспособленное для его вкусов так же, как в детстве ему иногда перешивали вещи Лили, — непоэтическая любовь к пиву и простые супермаркеты.

И сейчас до замкообразной горы распродающегося пива с сидром он решил идти окольным путем, через весь магазин. Он опробовал все бесплатные пробники, кусочки ветчины с салатowymi листками, проколотые, как бабочки в коллекции, зубочисткой. Когда его картины еще никто не покупал, а Лили уехала, он ушел от матери, вечно больной и перерабатывающей, срывающей усталость теперь на нем одном; ушел неизвестно куда, ибо ничего не умел, даже бродяжничать, что тоже было наукой и тем еще дерьмом, потому, что также требовало знакомств и связей, ведь не от рождения же человек знает, где подработка по утилизации строительного мусора по 4\$ в час. Улыбнуться разливающей детский йогурт работнице — и можно взять еще пару стаканчиков, отвлекая ее глаза на свою улыбку... Подсматривая и зарисовывая ту задумчивость, охватывавшую домохозяйку при выборе продуктов, что делала их загадочными королева-

ми... Главное — подгадать время: не шумные сейлы и не воскресные затоваривания старух, а эти послерабочие визиты офисных девушек. Их отпустила работа, их еще не ждут дома, и они медлят, как при поцелуе...

На кусках колотого льда дышала мертвым воздухом свежая рыба. Самоодстаточной, как натюрморт самой себя, ей не нужно было пробуждать аппетит, даже эстетический. Адам вспомнил, что в его недавнем сне с мертвецами на дне реки, в глазах которых плескалось отражение его и облаков, проплывавших над ними, не было рыбы, а будь в композиции сна хоть одна рыба — сон вмиг приобрел бы совсем другой смысл, ожил и оживил бы.

Мимо скучных отделов приправ и печений, долой их! Другое дело сырно-колбасное разнообразие форм и цвета, рядом с которым плавное скольжение его тележки почти прекратилось. Раблезианское, возрожденческое и бальзаковское изобилие недаром привлекает эстетов, раза в три превзошедших первоначальный размер своего тела. *I dreamed I saw Dali with a supermarket trolley... He was trying to throw his arms around the girl...* Синий кубик сыра падает на дно тележки. Тележка — как уютнейший одноногий костыль; о, он давно разгадал хитрость стариков, ходящих с не так уж нужными им палочками, — волшебным жезлом эти палочки поддерживали их, как рука матери в детстве... или старшей сестры. Он вспомнил, как они катались с Лили наперегонки в обезлюденных закоулках супермаркетов; разгонялись и вспрыгивали на подножку тележки, ребенок и подросток-девушка... Это стало его первой подсмотренной картиной — детские силуэты вдоль полок с товарами в погоне за скидками на эмоции... от родителей вместо карманных денег дисконтная карта на чувства...

Овощной отдел звал, ничего нельзя было поделаться (хотя и не стоило — единственное из саморазрушений, таящих выздоровление). Почти все овощи говорили, как у Джанни Радари... Персики не скрывали своего родства с тем отливавшим наглой бронзовой потертостью персиком в скульптуре в Центральном парке, где они гуляли. Персик держала в руке нагая бронзовая женщина, которую почему-то прозвали Еввой, — работы анонимного художника (вряд ли так было изначально, скорее это какой-то непризнанный Шемякин из художественного колледжа был безумно рад, что городской муниципалитет решил бесплатно разместить здесь его скульптуру, с табличкой с его именем, которая утерялась, отбитая местной шпаной). Персик (как и с полусотню других скульптурных собратий по туристскому несчастью по всему миру) полагалось потерять и загадать желание. Что они и сделали, о загаданном желании не став говорить не из-за приметы, а скорее из-за усталости, к тому времени давшей первые ростки. Для сил ли бороться с ней Лили добавляла в еду (их мать не умела, но при этом очень любила готовить, изобретать новые блюда, проводить все выходные на кухне, чтобы потом накопившуюся и приготовленную к семейному ужину усталость срывать на них, отчитывая ни за что и за все) красный жгучий перец. Адам шутил, поглощая стаканами воду, что у него сгорели губы и он ничего не почувствует при поцелуе. Тогда-то она его и поцеловала впервые — розовый, слегка припорошенный, как заиндевевшие окна изб на картинах русских художников, белым налетом язычок у него во рту, непрошенный, но милый в общем-то госте, томящийся от смущения, отчего не проходит в квартиру и только мнется, переминается с ноги на ногу, кивая на зывания хозяина, но все еще топча слово welcome на половичке. После долгих его странствий по его рту у него начинался голод, как когда перекуришь и сигареты съедают ощущение сытости. Тогда же началась и усталость, хоть ее перечные поцелуи и жгли, как забытая в губах сигарета.

Усталость, похожая на то, как не отвечаешь на письма знакомых, — нечего сказать, нет силы писать, да и тот человек не ждет ответа, понимая: это какой-то негласный закон, известный всем, то есть никаких обид, ибо говорить не о чем и вежливее будет не ответить, — и так постепенно из записной книжки вы-

писываются адресаты. Ему казалось, что ее сердце пахло красным перцем и индийским кари через кожу и что этот запах и сейчас еще с ним, после тысячи промаркиваний. Он часто вспоминал ее. Большой рот, в чем-то развратный, если бы не очень грустный изгиб, опрокинутый лук какого-то античного героя. Ее слова напоминали улей пчел. Иногда, во время ссор, они походили на метко пущенные пули. *A vampire or a victim — it depends on who's around...* Смеялась она как-то носом, отчего надо было отодвигать подальше пепельницу, не то пепел будет рассыпан по всему столу («Знаешь, как пепел надо собирать?») — самоуверенно слюнула она палец и действительно ловко подцепливая на него горку свалившегося пепла. Никогда не учила и не считала себя старшей в детстве, а вот сейчас...). Веки были очень толсты, поэтому слеза, скапливающаяся в углу глаза, скатывалась всегда неожиданно. Приходилось устраивать «проверку» Лилиных глаз, что иногда могло рассмешить, а ее — заставить не плакать...

Когда он ушел из дома, ему негде было жить, поэтому он поселился в снимаемой ею комнате. Комната была без душа — приходилось часто заходить к друзьям в общежитие, пока после наступления одиннадцати не выгонял дежурный, прокуренный до скелетообразности старик, оглашая все здание призывом «мистера Адама» быстрее уходить, за кое амикошонство Адам хотел довершить процесс мумификации старика. И без кухни, то есть с общественной, где, моя посуду, Адам видел, как последний из тараканов из-за грязи и сквозняков собирает свой эмигрантский саквояж. Там же, у заиндевших от китайского жира гигантских жестяных обмывочных, немка-лесбиянка (паспорт почему-то французский, а говорила только по-английски), думая, что она одна, любила поговорить с продуктами в холодильнике или овощами перед тем, как их порезать. У Адама бывали во время его бродяжничества периоды, когда он не отказался бы не только от этой еды, но и от таких собеседников, поэтому он, оценив общительность немки, скромно разворачивался, чтобы вернуться позже.

Комната их напоминала модный клуб — стены ободраны до кирпичей, и в этом весь шик! Всегда полуприкрытые жалюзи шинковали луну или солнце соответственно, окно снабжало запахами — грозы и жареной рыбы. Запах жареного означал, что сосед-китаец опять взялся за готовку, которая скорее напоминала газовую атаку, но тут он приходил звать их за стол — и не отказываться же. Один раз он решил попотчевать их жареными свиными ушами. Лили выкрутилась, поведав, как она плакала над фильмом «Бэйб-2», ему же пришлось долго отказываться от добавки и в конце концов обидеть, так и не прожевав жесткие пороссячи хрящи...

Обрадовавшись переезду брата, Лили несколько недель колесила с ним по городу, набирая у знакомых, на свалках и распродажах всякие домашние вещи. Его задачей было тащить все это на-через метро, где на них все смотрели как на бомжей. Они целовались (благо за брата и сестру их мало кто принимал), отводя так косые взгляды, которые сменялись на возмущенное отворачивание. Телевизор, вентилятор, стерео... Стерео было, как ванна в известном русском романе про одного сумасшедшего и его любовницу, их тайной гордостью. Оба были насквозь, внутри и снаружи меломанами (что давало повод их матери, ненавидящей «все эти завывания» и предпочитавшей вкрадчивый гипнотизм никогда не выключавшихся «говорящих голов» в «ящике», отрешившись от родства с ними). С той лишь разницей и причиной для споров, что Адам любил рок, а Лили считала его суть яблоком от великого древа классики. И сильно расходилась, доказывая это:

— Классику просто очень люблю, потому что выросла в ней. И не я одна! Из нее же выросли «Beatles» (как ни крути, а гармонии-то у Шумана хапали ча-стеняк) и последующие поколения. Да что там — даже вон *Diamond*’очка твоя обожаемая и то. А минималисты у Арнольда Шеберга учились. А симфо-рок? А *Brain Eno* твой любимый? Просто так, что ли, написал вариации на тему кано-

на Пахельбеля (это барочная музыка, представь себе, еще более манерная, чем Бах). А всякий там Deep Purple и прочие старички-основатели?! А DOORS??!! Да разве всех упомнишь... А масса проектов — рок-группа и симфонический? Ох, да что с тобой говорить!.. Не понять тебе фугу Баха — фугу в суси-барах есть твой удел. А потом зарисовать натюрморты из ее косточек...

Рукою Лили копошилась у себя за спиной на столе, будто хотела прямо сейчас запустить в Адама рыбой фугу, но, к его счастью, ядовитой японской рыбины среди настольного хлама никак не находилось, и рука возвращалась с сигаретой. После первой-второй затяжки Gitanes Blondes Лили продолжала более спокойно:

— Это философия, музыка сфер, золотая секвенция, которая на уровне золотого сечения Леонардо, это нераздельная вселенная звука, где и твой U2 лабают... Это привет пифагорейцам и... три диеза/бемоля у ключа — Троица, трихорд, семь нот — семь дней творения, двенадцать нот хроматической гаммы — двенадцать апостолов... А сонатная форма, разработанная Венской школой — Я и не-Я, вещь в себе — вещь-для-себя... Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель в музыке... А полифония и контрапункт? — привет Бахтину... зря, он, наверное, эти термины взял, мог бы лучше придумать... Грустно...

И Адам, придушивая в пепельнице (у каждого была своя) которую уже за монолог Luskies Lights, шел ее обнимать-замирать. Не ожидал, непредсказуемо, как всегда, но на этот раз она не обижалась. С рукой, укравшей с ее волос ее запах, он шел к мольберту зарисовать эту эмоцию и эту летающую вослед Лилиным рукам-дирижерам музыку спора. Аромат тени, кофе — вскипел и развеял... По пути, заворачивая к холодильнику-бару нацедить им примиряющего бухла и со смущенной улыбкой-покашливанием, делал еще одну остановку у злополучной установки, чтобы скормить ее выползшей челюсти диск Portishead «New York Live», концерт, на котором они оба были и «обожали безмерно», так, что даже не приходилось слушать отдельно, деля музыку, как имущество при разводе,— она слушает симфонический оркестр, а он — трип-хоп...

А в паузах тишины между песнями можно было, хорошо прислушавшись, услышать отдаленный стрекот цикад... Радиотишина... Дневная усталость выходила в ночных судорогах, этих родных сестрах других ночных корчей... Все было в общем-то хорошо так, что даже страшно. Адам хотел было доверить их неожиданно нагрянувшее (и оказавшееся довольно приятным) мещанское счастье приобретением на соседней помойке кошки, но натолкнулся на неожиданный, как стул во время снохождения, как ответ во время сноговорения, отпор Лили: «Ты и так кошачий тип, мне больше не надо. Чистокровная кошка», — заклемила она его вскидом плеч, что на языке ее жестов можно было прочесть как «ну и бывают же такие типы!». И добавила больше про себя, чем вслух:

— А я, наверное, собака. Собака, которая долго жила одна и почти привыкла. Которой только недавно стали бросать кость, это ей так понравилось, что она захотела стать социальным животным. Собака с комплексом неполноценности и завышенной самооценкой, которая недоумевает, не выродок ли она, если у нее сразу все комплексы. Которая только взрослой сукой заработала себе на «Педигри» и боится опять когда-нибудь оказаться у помойки. Да, наверное, я именно такая сука. К тому же бродячая.

О кошке он больше не говорил.

Белье себе она покупала в Tati. Оно было настолько антисексуально, что это могло показаться позой человеку, который не знал Лили. Что она вообще считала покупку одежды глупой женской привычкой (смешком в нос выводя себя из рядов этого племени — или отстраняясь, заходя за грани моветона и очевидного в дистанцировании от самой себя). Единственным исключением (и исключением реальным, ибо было куплено в самых stylish бутиках) было китай-

ское платье, кимоно-ночнушка и кожаное (из той же козлячей кожи, что и знаменитые брюки Джима Моррисона) пальто до пят и с капюшоном («эльфийское», как прозвал его маленький Адам еще в детстве). Она копила деньги на «Глаза Дьявола» для них обоих — так прозывалась, по форме задних фар, одна жучиная маленькая автомодель. Кстати, про глаза сатаны она утверждала, что однажды их видела, и очень обижалась, вообще недоумевала: «Как вы догадались?», — когда люди, которым она это рассказывала, предполагали, что видела она их во сне.

— Это были НАСТОЯЩИЕ глаза, они смотрели на меня во весь экран моего сна, это был точно ОН! Я тонула в них, не открывая глаз!

Не скупилась Лили лишь на алкоголь, он был вне ее понятия «расходы», как-то выведен из, по умолчанию ее и (еще бы!) Адама, так что отложенные за неделю деньги исчезали и никогда больше не вспоминались за одну ссору, чаще всего выпадавшую на выбор «какого-нибудь милого места, на твой вкус, Адам, я пойду, куда ты захочешь, только бы я хотела, чтобы это было уютное местечко, где вокруг очень шумели бы, можно? Почему я всегда, а ты никогда?..» И «Глаза Дьявола» не материализовывались в машину, а сон тот (она жалела, хотела еще увидеть также вблизи глаза Иисуса, чтобы потом рассказать ему, и он нарисовал бы два портрета; «Из-под закрытых век» — она уже даже придумала великодушно название) уплывал.

Распродажи были ее гордостью, только там она могла купить за четверть цены что-нибудь модное. Пиком ее пренебрежения к одежде был балахон, одноцветный, с капюшоном и до пят (еще одна «эльфийская» вещь с прозрачным приветом к зачитанному в детстве Толкиену и Льюису), из которого она не вылезала дома (летом его сменяла *open-ribs* майка — ее приверженность нерасчлененности) и в котором встречала впервые приглашенных на ужин собственного приготовления бойфрендов, ожидавших в общем-то справедливо, *little black evening-dress*, что было — когда она успокаивалась и соглашалась забыть исчезнувших — для них своеобразным испытанием и инициацией незадачливых ухажеров в «лиливость».

Открывая дверь их квартиры, Адам шутил, что боится увидеть маленького коренастого лифтера, который непременно тут же даст ему под дых, — они создали легенду и «толкали» ее всем своим друзьям, что раньше здесь был отель, в котором останавливался Холден Колфилд в ночь своего несостоявшегося лишения девственности. Девственность, к слову, была самой популярной темой на их сборищах, как и на всех модных тусовках, — этакая легкая ностальгия по невозвратному, весьма абстрактному Эдему. *I've got a hole in my heart the size of a truck — it won't be filled by a one night fuck.*

Шопинг занимал у них время, отводимое другими под театр и бары; продуктами был завален весь холодильник, они гнили и выбрасывались: было неэкономно и весело. Предаваться каким-либо мыслям считалось между ними мветоном. Разрешались только истории, преимущественно печального характера, так что рассказы о несчастных романах подходили как нельзя лучше. Она рассказывала о своих любовниках. Они все что-то писали, а последний еще и занимался революцией. После него она вскрыла себе вены (больше всего убивало сочетание краха любви и идеи революции, которую провалило как раз руководство его ячейки), а когда он вытащил ее из ванны, она выгнала его из его же квартиры и спала в ней беспробудно недели две. Потом нашла работу, ушла в нее, заработала на квартиру — и позвонила Адаму поздравить с очередным Рождеством. И так он впервые увидел шрамы на ее запястье. Во время удалой вечеринки, в атмосферу которой никак не вписывалось. Это было реальностью, от которой он убегал в своих картинах, поэтому он заслонился шуткой, что люди с серьезными намерениями режут не поперек, а вдоль, «учти на будущее, сестричка».

Любовь у них самих тоже случалась, как всегда бывает, как-то — и разочаровала. Сначала она, как всегда, выковыривала жемчуг мяса из нежных китайских пельменей, а потом и вдруг... После, отрываясь (припаянный потом, придавленный слабостью к ее размытому на фоне простыни телу — его выпавшие волосы на ее kiss-marks) от нее, он пытался избежать этого уродливого зрелища: ноги раскинуты, как распахиваются проспекты для панорамного снимка туриста без Вергилия, а из нее замутневшим плевком медленно стекает слеза-сопля, белесый червячок страсти. Поза материнства... Запахивал одеялом и отворачивался: его сестра не имела права не быть красивой даже в этой вульгарной женской позе! Поза полноты пустоты. Это было так свойственно жизни — позировать намеренно уродливой, скрывая от посторонних глаз и тем самым взвинчивая цену настоящей красоте! Он пытался зарисовать это все равно, только оторвавшись от тела и вместе с телом, забыв их тела лежать слабо на простынях — от всего на свете, на полотне два на два, но размеров, что ли, не хватило... Или помешало то, что он считал, что не для того в нем созрел и, греясь его теплом, потом выплескивался, обжигая страстью, раскаленный мед. Не чтобы застыть сосулькой-эмбрионом в другом теле. Трубопровод пуповины захлестывает удавкой, младенец кричит... Дети рождаются уже мертвыми, а у настоящей любви может быть только одно последствие. *Romeo wanted Julia, Julia wanted Romeo...* Romeo in blood, кровоточащий, как Иисус... Как-то по телевизору он видел передачу о том, как людей готовят к рождению ребенка. Четверка предстоящих мам, стоя гуськом в бассейне, прижималась друг к другу животами, а будущие отцы проплывали у них между ногами и выныривали на поверхность. Это символизировало появление из чрева матери. Нет, присутствовать на родах Адам никогда не пошел бы — хорошо, что их и не будет. Хотя, надо признать, они (она? или он? Не столь важно, они все равно давно убрали пограничную стражу с границ между собой) думали об. Но — были родными, слишком родными братосестрой (тот случай, когда родственность мешает... хотя как все это, наверное, пошло...).

Но потом вдруг, абсолютно без предупреждения (в отличие от уведомлений об отключении газа, электричества, а потом и вообще — скором сносе дома, что было уж совсем нечестно со стороны судьбы, и так игравшей белыми), все растения на окне решили избавиться от листьев, а все первые вещи вдруг стали последними и — надоели, что ли?.. Они поняли, что их шикарная каморка больше не защищает их от холода, студящего через тонкокожую перепонку окна. Память его потом действовала в лучших кинематографических традициях, где в решающий момент наплывает камерой затемнение, а действие сразу переходит к последствиям. И его память сработала так же. В этот миг тяжесть, которая, как в детских играх во дворе, только что осалила его настоящее, начисто слизывая все (может, оно того и заслуживало? техника палимпсеста), отступала, выбрав на этот раз водой забвение. Он помнил, как это началось, мог бы даже рассказать кому-нибудь в баре, но та волна забвения, что брала исток от него нынешнего и распространялась в глубь его прошлого, уже подбиралась ластиком и к этим воспоминаниям. Швы вечности, которыми склеено время, расходились один за другим, оставляя его лицом к лицу с тем, что было внутри, — рваной раной, разворотившей брюшную полость мироздания, месивом, глядевшим на первобытного человека, пока трясущиеся руки хирурга-алкоголика от человечества не залатали на живца эту бездну...

Можно было бы узнать из дневника Лили в Internet («Надо сдать бутылки, чтобы оплатить Inet»), где она «вывешивала», как нижнее белье на балконе (сосед воровал ее лифчики), самое личное. Незнакомые люди присылали ей письма по E-mail'у: «А почему такой-то долго не появляется?» — и знали о ней все вплоть до (эта откровенность сочеталась в ней с полной закрытостью в общении). Потом, правда, она все «потерла» (два легких клика на смену неопрятному

обряду сжигания рукописей и сломанных ногтей). Не хотела оставлять свидетелей обвинения против себя, что ли. Что-то осталось на жестком диске — было лень кликнуть еще раз или хотелось оставить лазейку для восстановления самой себя, чтобы можно было продолжить, где-нибудь из Интернет-кафе на Гавайях. Начало и конец записи за один день:

«Из окна (обильно обклеенного старыми рукописями, но взрезано весной, когда — “под эфиром на столе” и далее по тексту...) ужасно дуло. Я смотрела, как пар из труб ТЭЦ подмешивался к облакам, как молоко в водочном коктейле. Из-за тумана перспектива терялась, смазывалось расстояние — так, возможно, выглядит падение из окна и приближающаяся земля. Размывчатой мягкой ватой. Ноябрь разорил птичьи гнезда в верхушках засыхающих тополей, чьи безлистые остовы составляли пейзаж со скульптурами в саду, ободранными до арматуры. Через полигон подоконника взгляд соскальзывал в окно, чтобы потом, после изрядного слалома, перескакивать с кочки одной машины на другую, что могло продолжаться вечно, поскольку поток проспекта слегка подсыхал лишь к утру. В детстве (нашем общем детстве!) мы играли с Адамом в одну игру. Меня научили ей в больнице. Под окно которой приходила мама, маленький совсем Адамчик, с его большой раздвижной удочкой. Телескопической. На ней они поднимали к моему окну на втором этаже пакет с передачей, шоколад и фрукты. Потому что если передавать так, то монополизовавшие сферу разноса более здоровые девчонки все поедали. Но эти же девчонки сидели у меня в комнате, и мы все делили. Мама клала больше персиков, яблок... Но, странно, я тогда, да и сейчас совсем не люблю фрукты. А, игра... Игра была смотреть на дорогу и только по звуку мотора угадать, какая машина сейчас выедет из-за поворота. Иномарки котировались выше всего. Дома я научила этой игре Адама. И все обернулось запретными играми. Однако запретные игры ничем не отличаются от настоящих — они заканчиваются.

Но не слишком ли много для пейзажа из одного окна? Его и так настолько больше, чем меня. Это как стать собственной тенью, а потом вдруг увидеть саму себя... Жизнь уходит, ушла давно, а я лишь бегу за ней следом. О, Адам, я всегда была нечиста на руку в игре за твое сердце. Одно время это почти помогло — я будто превратилась в себя-девочку, пытающуюся на цыпочках дотянуться до своей старшей сестры. Но это долго не продолжалось. Мой уход из дома был моим главным козырем, он заставил тебя всю жизнь чего-то искать и чего-то догонять. Тем более не надо было возвращаться к тебе...

Имеет ли это отношение к Адаму? Нет, скорее к тому, что я сама к себе имею слишком большое отношение. Вымою волосы и вскрою вены в этой же ванне (хоть и претенциозно, но перед смертью сознательно люди пошлость выбирали редко — льщу себе этим). Ненавижу людей с грязными волосами!»

Закончилось все беспричинно в общем-то, как все всегда происходит, — жизни недосуг ведь разъяснять свои решения нижестоящей инстанции человеку. Поэтому узнать, с чего началось и чем закончилось, ничего не даст, это как прогноз погоды. Нужно что-то большее. Как деревья за окном, их мasonicкий союз с крышами, тщательно дотоле скрываемое единство мира, открывшееся однажды в состоянии похмелья. Можно только вспоминать (хотя лучше забыть, тем более что срок боли уже давно подошел к концу... и довольно к месту сильно сдала и ослабела память). Что в какой-то, совсем обычный, день она просто ушла из их квартиры.

Она спала в позе, в которой, по-моему, спать могла только она одна: на животе, голова на согнутой руке, а вторая рука вытянута — в загребе, нырке — вперед. Будто куда-то плыла. Вырванный кадр. Остановившийся проектор, выплескивающий Океан за окно. Океан как плавильная форма, в которой отливается ночь, дома как отложившиеся наносы ракушечника... Шум

машин, затихает. Cars hissing by your window... Утробные воды мирового океана. Младенец — заголосил в холодной купели и был выплеснут с. С тех пор им никто не интересовался. Плыла, возвращаясь к другому сну, к ее приснившемуся детству...

Ребенок спал посреди вывощенного ногами нескольких поколений их семьи пола. Духота отпугнула комаров. Тихо и гулко время от времени позвякивал лед в стакане ее деда, спящего-сидящего (не разберешь) в углу. Временами слышался дождь, за полосой ненамоченной земли под далеко нависающей крышей гриба-дома. Ее дед отличался от других стариков тем, что очень мало говорил. Казалось, ему нечего вспоминать, нечему особо и учить своих внуков. Но любил ее. В прошлые каникулы он донес ее на спине в соседнюю деревню, где должен был быть праздник поминовения мертвых, и огонь так красиво плясал на льду озера. А когда ребенок должен был уезжать домой в город, за ночь смастерил ей деревянные салазки. После Лили помнила, что их мать часто попрекала деда, что тот очень рано ушел на пенсию, еще вполне здоровым стариком, что он не зарабатывает денег и вынуждает ее помогать ему. Потом, когда она была в пятом классе, он умер от рака. Ее не брали в больницу, но она хорошо представляла себе, как он умирал,— болезнь очень подходила к нему, молча зародившаяся, тлеющая и пожирающая его, все это без единого звука. Так они и молчали — ее дед и его смерть. Позже она часто думала о причинах этого молчания, обращенного равно в его прошлое и его будущее.

Дети лужают собак, ящериц, птиц. Эта жестокость к миру — не просто способ познать его, но предчувствие будущей боли, желание заранее отомстить за нее. Однако потом вдруг жестокость кончается, иссякает, как молочные зубы,— и начинается боль. Человек пытается быть хорошим, любить других, родителей и друзей, честно или притворяясь при этом, играя, чтобы понравиться, вызывать любовь и не чувствовать боли. То есть любовь — не более чем обман, лекарство от боли, а боль — это и есть жизнь. Ради которой надо постоянно, как работать в тухлой конторе, обманывать. И когда-то человеку надоедает это бегство. Он прекращает этот марафон. Он снова хочет стать ребенком и осознанно причинять боль. Тогда он останавливается, уходит от тех, с кем он играл в любовь, и — видимо, возвращается к себе, но точно не сказать,— люди тогда перестают быть словоохотливыми.

Так и Лили начала причинять боль, а единственным для этого был Адам. Возможно, с этого места проектор снова начал мотать старую бину, Океан за окном отлил, а ее плавание возобновилось с мертвой точки.

Из того периода (кристально четко сохранилось в памяти, при этом — ощущение провала и перескока через пару месяцев) уцелела для него странная деталь, на которой что-то повисло (как водоросли-волосы, облепленные мыльной грязью и чем-то еще — на сливе в только что спущенной ванне),— Адам вдруг пристрастился к радио. Мягкие, как пластилин, сладкие, как дешевая шоколадка (итоговый образ — не пачкающий руки растаявший батончик или съедобный пластилин), попсовые мелодии, не отличимые одна от одной, как дни. Он пил под них, но не напивался, будто превращаясь в подобие того ванного слива, в одну большую воронку песочных часов, в которую уходили воспоминания, алкоголь и сперма, возможно, даже жизнь с ее долей бессмертия («проскочило... никто и не заметил...»), затягивая и его, пока пьяный сон-отключка не возвращал назад в его квартиру, туда, где... да не «где», а здесь, на этой самой простыне, с тех пор, если применимо это слово, «намеренно» не стиральной... хотя нет, увы, Ли (где твой прощальный подарок — или твоим подарком был только твой уход?) постирала за неделю до того, как... ты ее не удержал... (почему? и понимал ли ты вообще тогда?)... на этой самой простыне, на которой в первые дни

первых вещей, во время затянувшегося Рождества (замедленное появление на свет... и волхвы на привале репетируют свой выход, твердя не забыть свои поздравления), когда я не поехал к матери, и они с тех пор бережно хранят в семейном комоде рядом с моими детскими фотографиями эту обиду... а все из их общезития-коммуналки уехали, оставив нас одних... и мы пили, то есть сначала он вкупе с подарком, большим действительно мягким (шершавое детство сдернутой и присыпанной тальком кожи) медведем, которого она тут же нарекла моим именем и с ним заставила сфотографировать, за столом, в обнимку, — вкупе с ним была им купленная бутылка ирландского виски, с которого и началось: опохмеляться, нет, просто пить — пить поутру виски или водку, разбавляя тепловатой водой из-под крана, идти в круглосуточный Seven-Eleven (лесбиянка-немка здороваётся в утренней пробежке) за готовой едой и пить... и они валялись в постели, рассказывая друг другу детские сны и кошмары, и кого как в школе дразнили, и гуляли между почт, магазинов и детских площадок, фотографировали ее на детских качелях (а из-за карусели выглядывает алебастровая лошадь без головы: «Лошадь» — это еще одна его картина, выставлена и сейчас), мимо снов, новых рассказов, сместившись на пол, поближе к нагревателю, стаканам, пепельнице и еде... и все разъехались, на рождественской неделе даже замолчал (или был попросту отключен, «я и забыл») телефон... а когда они уставали говорить, то играли в chat на листочке бумаги, я писал ей, она отвечала, нельзя было говорить... она улыбалась, а ты, ты видел это сам на ее фотографиях, себя на полу,— ты был счастлив! Ты даже не понял — значит, точно был! Вот же, на, держи! Вглядись в грязный узор этой простыни (да, увы, инцеста. Признаю, и можете передать привет Гамлету), среди твоих выпавших волос, катышков хлопка... Разве ты не видишь, что сейчас (поскольку ты первым проснулся в это утро, готовясь к обычному, как доброе утро, поддразниваю ее, сони, хотя было еще так необычно, что она или ты никуда не уходите и просыпаетесь именно там, где ты сейчас вот проснулся, Адам) — твоя любовь проснется с сонниками в уголках глаз,— ты осторожно слижешь их (слишком мало, чтобы почувствовать вкус,— «спи еще»)... если ты сделаешь ей кофе — холодное молоко и никакого сахара — разве такое можно пить? — она захлопает в ладоши. Если попросить ее, то не досчитаешься в нем сахара. Само собой, ты разбудишь ее поцелуем. Который ей приснится. За кофе ты потянешься за сигаретами на полу, повинясь ее сонному жесту. Не найдя своих, закуришь ее. Кофе — весь ее завтрак. Через час сборов можно и выходить. Конечно, к одиннадцати она попросится в кафе. Второй завтрак. Ты можешь обнять ее прямо здесь, получив сдачу и поднимаясь наружу... Это твоя любовь — видимо, ты знаешь, что с ней делать (щуриться на фотографиях, играть камешками гравия, дрожать от ветра, показывать маршруты влюбленным туристам в Центральном парке зимнего Нью-Йорка). Поэтому только не спрашивай меня. Меня это не касается...

Итак, радио. В роли не выключающегося будильника. И молчание, и тишина, квартира. Он будто впадал в спячку, время замедлялось внутри него, а вокруг — мутнело. Где-то на дне этого состояния, в мучительном поиске (вектор которого отклонялся от ухода в полную кристаллизацию) можно было обрести избавление. Он почувствовал, что больше поймешь, если не пытаться все специально проанализировать, дойти до самой сути, поисков пути, поскольку ответ лежал на поверхности, только вынырнуть где-то с другой стороны себя (самобеременного), пока же — утробный мерный стук головой о лед в поисках полыньи... Поняв же, увидишь тот путь, по которому она (должна была) ушла от тебя. Тенью, прячась в переулках прошлого, проследишь ее, ангелом иль детективом, сам не пойму. Походя поймешь, сколько еще болезненных ловушек, заминированных персонально для тебя точек рассыпано по этому городу и зовет, поэтому надо выходить, разбив путь на квадраты, надо нанести город на

карту воспоминаний. Сейчас, в тишине, когда только минуту назад, между подрагивающей рукой и прожженным кружочком на простыне мог увидеть и коснуться пальцем ее высвечивающейся с другой стороны того провала-воронки кожи... Сейчас, когда все звуки (шагов) приобрели особый тембр... Когда безумие и гармония станут неотличимы (друг от друга или чего-то еще)... Ясно увидев, почувствовал себя в этой воронке, уходящей внутрь времен допотопных (где-то в районе Рождества, волхвы тогда еще с оказией), он понял, что если резко переведет взгляд и сфокусирует его на окружающих домах, магазине, микрорайоне, городе, то выскочит из этого липко приставшего, как пропотевшая рубашка, бытия.

И он увидел стену напротив окна, облитую чернильными отсветами грозных облаков, и случайно проскочившие такие белесые солнечные лучи. Повернув взгляд, отразился в зеркале и внимательно, как в детстве первые поросли бороды, исследовал лицо. Свое! И результаты ревизии (впервые после того, как облысел) до чего-то там внутри него дотянулись и затронули. Почувствовал себя бодро, почти шутливо, что было второй стадией похмелья (вторая, тошноты собою всем, была не за горами и должна была продолжаться с месяц). Похмелье действовало, как инъекция правдивости; логика сломалась, как игрушка в руках ребенка, а мысли не удавалось заковытить для дальнейшего их возвращения и анализа — они больше не были частью его и уходили по-английски. Адам видел из окна город, и из него в голове отпечатывались два существительных — деревья и крыши. Это значило больше чем, несло какой-то сокровенный смысл, но он не мог его разгадать. Мозг отказал, перестал работать, роль компьютера он поменял на роль пожарной сирены, которая заполняла его мозг истощным предупреждением: деревья и крыши! Это означает очень много! Разгадай, и тогда, как в кроссворде, ответы на твои проблемы сойдутся один за другим! Деревья и крыши — вот же он, смысл, разве не видно?.. Похмелье было ощущением, чувством, вынырком на поверхность и глотком воздуха! Со стола сгреб ключи, зажигалку, сигареты, вроде ничего не забыв, и хлопко, как убил муху, захлопнул дверь («Можно и не проверять», — информировала автоматическая сигнализация памяти). И побрел за пивом в магазин через дорогу неуклюжим тараканом среди аккуратных машин-жуков, сунулся в просвет между, но свою скорость переоценил, хорошо, женщина, сзади которой сидел в специальном стуле ребенок, остановила машину пропустить его — мать с сыном одинаково без выражения отвернулись в сторону, чтобы не показать, что следят, когда же он наконец... «Уф, вот и перешел!» — выдохнул внутрь себя Адам. После чего машина вернулась также к магазину, к въезду на его крышу (автоматическое предупреждение о вырывающейся машине заунывно сигнализирует зазевавшимся пешеходам, коли те будут), где была автостоянка, куда еще предстояло залезть и в одышке (сердце в целлофановом пакете подростка-токсикомана) не угореть. Люди, выходявшие из туалета на лестнице к парковке, чтобы рассесться и раскатиться в своих машинах, увидели пытящего, нездорово пухнувшего и пахнущего бомжа с обесцвеченными и собранными в конский хвост остатками волос. Он, несмотря на все это (да несмотря на себя, можно сказать, чего скрывать!), посмеивался чему-то под своим лилово-оплывшим на похотливые губы носом и упорно преодолел вверх лестницу.

Адам стоял на крыше магазина, где находилась парковка машин, и слушал город. В питейной на углу люди цедили свою радость от того, что неделя перелистнула свои страницы. Уютно и плотно, как в детстве грибы на моховой подушке («Срезай, а не выкручивай, иначе в земле не останется спор и не вырастут новые грибы», — наставлял дед), сидели дома. Город, придавленный тишиной, похожий на предлагающую войти в себя женщину, город, чьи улицы расходились бесконечной вереницей крестов, но без ноликов, был. Город...

...Суккубов порно, сношающихся с лярвами безумия. Город sale'ов судеб, duty free любви. Она знала, где самые дешевые предсказания. *Give me money for a change of face*. Самые веселые вечеринки теперь там, куда не дадут визы. *Was it your place or his? Who was there?* В хрониках об этом на вселенском транслите. Кодировка существует в других системах. Но можно исповедоваться по Internet. Папа смотрит на это сквозь original Bono sunglasses. Водитель мягкой машины, куда все же ты нас?.. Мы же даже заплатили бы, ведь нам говорили, что деньги интерактивны, нет?..

Он будто и не начинал говорить, вообще не было ощущения, что он говорит,— я просто попал в сферу его мыслей, существовавшую вокруг него так же, как и его зловоние, сей рой мошкары. Он непрестанно курил, в конце я обращал на это внимание не больше, чем на его дыхание. Желтые пальцы невообразимого курильщика как напальчники — будто смазал вазелином и начнет пальпировать твою простату-пустоту. Говорил он тоже необычно, будто экономя дыхание, смешивая воздух с табачным дымом. Я узнал, что он был художником. Довольно знаменитым, пока не был забыт. Я предложил ему работу. Не слушая, он согласился.

С Elevation 2001 Tour скоро должны были поехать по миру ютушники. И он будет их рисовать. Кто еще зарисовывал (не знал Высокого жюри, поди!) рок-концерт? На который где-нибудь в Secret Samadhi, штат New India, вполне могла заглянуть Ли. А если она и не подойдет к нему отчитать за примитивные мелодии и «скурвленность» богатеев U2, то все равно это будет лучшая (еще раз? она всегда убегала, *running to stand still*) не-встреча в его жизни.

г. Москва



Дар Божий

РАССКАЗ

Так вот, я и говорю. И до семи лет никто и не знал, что девочка она ненормальная. То мать ее в подполе прятала, когда кто приходил, то отправит ее в огород — там у нее место свое было. Тихая она была такая. Ага. А как в школу ей идти, а она и говорить толком не может. Два месяца мать ее в школу за руку водила, опосля занятий встречала. А потом Сютка-то и сбежала. Ну насмехались над ней ребята в школе. Они дразнят, а она встанет, ножки внутрь, смотрит на них, фартучек теребит, а потом как завоет, словно сирена пожарная, голос у нее сильный был. А они, знай, радуются. Ну она и сбежала. В ноябре это было, как раз снег первый выпал. Мать после уроков встречает, а ее нету. У матери тогда приступ был, в больницу отправили. Дочка-то, Сютка эта, она у нее любимая была. Бог детей ей больше не дал. А и Сюта не от мужа. Любовь была у матери ее мимолетная. Ей уж свадьбу играть, а тут в станицу заехал соседкин брательник. С войны как раз, на коне да при погонах. Парень и вправду ладный был. Неделю девки на него глазели, а Сюткина мать брюхатая осталась. За то муж ее лупил, пока беременная была, и опосля лупил и бил нещадно. Напьется и лупит. Она бегаёт от него, а он протрезвеет, каяться придет, она и возвращается. Любила, стало быть. А детей-то Бог боле не дал. И Сютка дуркой родилась. Так вот, убежала она, по снегу-то первому, и на два года пропала. Матери плохо с тех пор сделалось, болела все время, корову они продали Сердюкам, ты их знаешь. А через некоторое время с окрестных сел слух пошел, что-де появилась девица, поет, как соловей. Так ее и по свадьбам, и по похоронам петь приглашали. Сначала приглашали, потом где свадьба или похороны — сама являлась. Песен тьму наизусть знала. И голосищу ее удивлялись все. А где живет, вот то сказать никто не мог. Не знали. Ну у матери ее сердце-то и захолонуло. Прослышала она, в селе одном свадьба собиралась, та далеко так. Все одно, хлеба взяла в дорогу, лошадь у соседки попросила и поехала. А как приехала, так все уж за столом, неудобно ведь, чужая да и без подарка. Так она с огорода пробралась да и в кукурузе затаилась. Август то был, а може, и июль, что кукурузу еще не убрали. Сидит она, смотрит. И увидала вдруг того-то, от кого Сютка у нее была. Тоже на свадьбе этой сидел. А рядом с ним Сюта ее вертится. Хозяева, видать, обрядили ее, как полагается, чистая вся, косы заплетены. Так вот ходит Сюта и камешки ему носит, по горсточке. А он знает, что девка-дурка, улыбается ей и камешки рядом в одну кучку кладет. Поели все, выпили, песни спевать только начали, как Сютка прыг к нему, к отцу-то своему настоящему, на колени, обняла за шею да как похоронную затянет, как заплачет вся, люди-то и обмерли. Ага. А мать ее из кукурузы выскочила, хватъ ее — на лошадь да и увезла. А отец Сюткин, настоящий, через три дня с лошади упал, да и насмерть. Кто как говорил. То ли об камень лошадь спотыкнулась, а он с седла упал, в стременах запутался, и лошадь его разнесла; кто говорит, пьяный был да и свалился. Теперь-то уж все равно. Только получается, что Сютка смерть-то его предсказала. Да. Привезла мать ее в станицу к нам, ну и ни на шаг не отпускала. Всегда с ней ходила — и по работе, и по делам. Ну, дурка и дурка, зато любимая. А вдруг однажды ночью встала — нету Сюты. Бросилась искать, глядит, сидит ее Сютка на горе — наша гора-

то, небольшая — и песню поет, нежную, жалостливую. Негромко так. А как только петухи запели, она домой. Мать за ней до калитки и проследила. Так вот Сютя каждую ночь песни петь выходила на гору. Да. Так вот и жили они втроем, отец поуспокоился даже, мать бить перестал и пил не очень. Мать по работе и по хозяйству, отец в колхозе работал, а Сютя единственно что делать могла, так это зверят из дерева вырезывать. Сядет в угол, забьется, вырезывает и глаза лупит, словно удивляется, что получается что. Мать ее бирюльки те малышне раздавала. А девка-то краса росла, кто бы видел. И фигура у ей, стало быть, уже женская, и глаза огромные карие, губы — ну все, словом, только выражение лица дурное. Ну да что поделать. Так, може б, у них все хорошо бы и было, Сютю уже пятнадцать стукнуло. Как вечером, август это был, ага, зерно давали в те разы. Так вот, добегают к Сюткиной матери Михалева жинка, кричит, что у Саросовых корова телится и дома у них никого нет, а у нее Минька уже тогда был, бросить не может. Так и просит ее, стало быть, чтобы пошла приглянула, може ж, помочь надо будет корове-то. Ну, Сюткина мать на Сютю глянула, та спит. Чего будить — пусть спит дивчина. А отца в ту пору еще не было — чуть не до петухов работала, чтобы хлеб убрать. Ну, она платок накинула да и пошла. А тут отец подвернулся до дому, да хмельной такой, что не дай Бог. Сютю-то спящую увидел, да и... прости, Господи, его душу грешную, царство ему небесное. А мать пришла до дому, видит, с девкой неладное — взъерошенная, лохматая, глаза совсем безумные стали. А Сютя, как мать увидела, как завоет, как зарорет. А мать-то чует, мать-то. Сердцем плохо ей стало, она капель себе накапала и пошла в коридорчик посидеть, а там он, прости, Господи, висит. Так в ту пору еле откачали ее. Все, думали, кончится. А станицу тогда Бог дождем наказал. Ровно сорок дней сохло все и ни капли. Земля растрескалась, с дерев все сушеное падало. И кукуруза в тот год не уродила. А с Сютюй неладное сделалось — без матери ходит — мать-то лежача с той поры стала — песни горланит, деньги собирает и пьет. И кто пить научил — неведомо. Зараз кабаки все знала и пила, а пьяной никто не видел. Напьетса, отоспитса и снова песни поет. И на гору ходить перестала. Не видали ее там боле. Ну, а что ж, зима наступила. Соседи к ним ходили, кормили чем Бог пошлет. Но Сютю в доме не видели. Пряталась она. Так соседи придут, еду на столик поставят, приберут чего, с матерью поговорят и уходили. Ну, а зимой в шубе ничего не видно, а весной, как Сютя шубу сняла, а у нее живот огромный уже. Господи Боже, что люди не говорили только, а то ж одна мать и знала, чей то ребенок. Почти до смерти никому не говорила. Да. А как ручьи побежали, так и померла она. Отмучилась. Уж сколько бедняжке на этом свете пришлось, что и говорить. А Сютя ходит, всем живот свой показывает и песни горланит. Пить, правда, с зимы перестала. Кто его знает, почему. А в апреле родила девочку. И быстро же родила — часа за три. Дуракам, говорят, счастье. Уж как я-то своих рожала, да не дай Бог кому такое. И вот как девку-то Сютя родила, так и затихла, слова от нее никто не слышал боле. За девочкой люди ухаживали, с рук на руки отдавали, а она ходила и только глаза на нее и лупила. Правда, кормить ей ее давали, молоко было. И смотрят люди, девка-то смышленная. И что главное — спокойная, почти не орала, так если мокрая, так что. Да. А как пошла, мать стала за собой водить. Тут дар у нее и открылся. Полтора года ей исполнилось, пришли они до Елены Ивановны с матерью в гости. Настя — Настюю люди называли — Сютю за руку привела, в кухне сели, и бабы с ребенком забавляются. Как раз и мать же ж ее, Елены Ивановны, старенькая там была и дочка ее. А Настя говорить и рада. Как вдруг вскричалась вся, что такое, на ноги вскочила, Сютю за руку и за двери тащит. Потом Елену Ивановну, та упирается, не понимает ничего, а Настя криком кричит, всех вытащила и умолкла. Они и сидят рядом с кухней на лавке, понять ничего не могут. Как вдруг кухня в один миг и разрушилась. Трещина пошла, стенка лопнула, ну и крыша вся внутрь упала. С тех пор верили Насте, что не скажет — все делали. Три года ей было, помню, кабана резали у Сидоренковых, гулянье собрали, шашлык жарили, а она хватает угольки голыми ручками и на грядки в огород носит. Люди смотрят, удивляются. Что, спрашивают, делаешь? Грядки, говорит,

грею. Холодно им скоро будет. И точно, холода ударили, благодаря Насте урожай спасли. Ага. Только как подросла Настя, житья от нее никому не стало. Что жизнь-то наша, не приврать же не можно. То сыном похвалишься, то как картошка уродилась. А при ней кто соврет, тот потом дня три животом мучится. Да и вообще известно все стало наперед, скучно, в общем. Все разговоры только о Насте — Настя сказала, Настя говорит. Говорила даже, когда мальчишки в огород за яблоками полезут. Обижаться, в общем, люди стали. А Настя, что, плачет, а сделать с собой ничего не может. Да. Грузин у нас один жил, Робертом звали. Почему Роберт, когда грузин, непонятно, ну да ладно. Привязался он к ней, к Насте-то, очень. Ходил к ним часто, гулял с ней. Когда однажды приходит к ним, а она плачет. Что такое? А она говорит: возьми с собой дядьку Ерохина, он милиционером у нас тогда был, да идите в лес, там палатка белая, в ней люди чужие, погубить хотят всю станицу. А оно ж война с чеченцами тогда была, так то чеченцы были. Убили Роберта. Судьба его такая была. Они с Ерохиным к палатке крадутся, а тут очередь автоматная. Роберту в грудь попало, а Ерохина ранило в ногу. Ну и он одного ранил, одного убил, а третий убежал. В палатке оружия и взрывчатки тьма была, хотели они в базарный день людей согнать в школу всех, подорвать, и станица ихняя была бы. Земля-то богата, все на ней жить хотят. Да. Так Настя станицу и спасла. А Роберта убили. В больнице он умер. Ну и не простила она себе этого. Знала же она, что он умрет, а послала его туда, потому как не вольна она даром своим распоряжаться. А не послала бы, кто знает, може б, и не сидела бы я так и не рассказывала тебе все это. Только на следующее утро после всего этого кинулись Настю искать, отблагодарить хотели, а нету их с Сюткой нигде. А в полудень прибежал до людей Коломыец, старик, сторожевал он рыбу на эмтээфском пруду, сплю, говорит, с похмелья, вдруг проснулся, еще туман над прудом висел, чуть только развиднаться стало, когда вижу, две фигуры тощие — одна большая, другая маленькая, — в пруд заходят, да медленно так. Вот, думаю, говорит, взбеленило кому-то купаться по такой холодине. Когда смотрю, а это Настя с Сюткой. Тихо так в воду зашли и растворились в тумане. А я-то что, в сон меня опять кинуло, а как проспался, так и понял я все, говорит. И ведь искали их потом в пруду люди и не нашли. Так вот. Да. А дождь какой был тогда, поперек всех правил. Девять дней небо рыдало так, что не приведи Господь. Дороги размыло, огурцы и лук посмывало, картошку наружу вымыло, вся фрукта с дерев осыпалась, вспомнить страшно. Вся станица те дни дома сидела, даже коров в стадо не гоняли, поминали их, Настю и Сютку. Так вот. А ты говоришь, сны тебе вещи снятся. Лучше не надо.

г. Москва



Нежный возраст

РАССКАЗ

14 марта 1995 года. 16 часов 05 минут (время московское).

Сегодня проснулся оттого, что за стеной играли на фортепиано. Там живет старушка, которая дает уроки. Играли дерьмово, но мне понравилось. Решил научиться. Завтра начну. Теннисом заниматься больше не буду.

15 марта 1995 года.

И плаванием заниматься не буду. Надоело. Все равно пацаны ходят только для того, чтобы за девчонками подглядывать. В женской душевой есть специальная дырка.

Ходил к старухе насчет фортепиано. Согласилась. Деньги, сказала, вперед. Она раньше была директором музыкальной школы. Потом то ли выгнали, то ли сама ушла. Рок-н-ролл играть не умеет. В квартире воняет дерьмом. Книжек много.

Посмотрим.

17 марта 1995 года.

Как меня все достали. В школе одни дебилы. Что учителя, что одноклассники. Гидроцефалы. Фракийские племена. Буйный расцвет дебилизма. Семенов лезет со своей дружбой. Может, попросить, чтобы меня перевели в обычную школу?

18 марта 1995 года.

Отец не дает денег на музыкальную старуху. Говорит, что я ничего не доведу до конца. Жмот несчастный. Говорит, что тренер по теннису стоил ему целое состояние. А может, я будущий Рихтер? Старухе надо-то на гречневую крупу. Жмот. Но он говорит — дело принципа. Сначала надо разобраться в себе.

Было бы в чем разбираться.

«А ты сам в себе разобрался?» — хотел я его спросить.

Но не спросил. Побоялся, наверное.

19 марта 1995 года.

Опять не дали уснуть всю ночь. Ругались. Сначала у себя в спальне, потом в столовой. Мама кричала как сумасшедшая. Может, они думают, что я глухой?

20 марта 1995 года.

Старуха дала какой-то древний черно-белый фильм. Сказала, что я должен посмотреть. Без денег учить отказывается.

В школе полный мрак.

Да будет свет, сказал монтер

И яйца фосфором натер.

Яйца, разумеется, были куриные. Тихо лежали в углу и светились во мраке системы просвещения.

Учителей надо разгонять палкой. Пусть работают на огородах. Достали.

23 марта 1995 года.

Интересно, сколько стоит хороший автомат? Мне бы в нашей школе он пригодился. Ненавижу девчонок. Тупые дуры. Распустят волосы и сидят. Каким надо быть дураком, чтобы в них влюбиться? Воображают фиг знает что.

Дома тоже автомат бы не помешал. Опять орали всю ночь. Они что, плохо слышат друг друга?

24 марта 1995 года.

В школу приходил тренер по теннису. Сказал, что я, конечно, могу не ходить, но денег он не вернет. Козел. Я спросил, не научит ли он меня играть на пианино.

Берешь автомат и стреляешь ему в лоб. Одиночным выстрелом.

25 марта 1995 года.

Антон Стрельников сказал, что влюбился в новую училку по истории. Лучшее бы он крысиного яду наелся. Такая же тупая, как все.

Переводишь автомат на стрельбу очередями и начинаешь их всех поливать. Привет вам от Папы Карло.

25 марта — вечер.

Прикол. Снова приходил Семенов. Уговорил меня выйти во двор. Предложил закурить, но я отказался. Сказал, что теннисом занимаюсь. Он начал спрашивать, где и когда. Я сказал, что ему денег не хватит. Тогда он уронил свою сигарету, а я взял и поднял. Он подошел очень близко и поцеловал меня в щеку. Я не знал, что мне делать. Постоял, а потом треснул его по морде. Он упал и заплакал. Я сказал, что я его убью. У меня есть автомат. Не знаю, почему так сказал. Просто сказал — и все. Достал он меня. Тогда он сказал, чтобы я не пересаживался от него в школе. Сидел с ним, как раньше, за одной партой. А он мне за это денег даст. Я спросил его — сколько, и он сказал — пятьдесят. У него откуда-то взялись пятьдесят баксов. И я сказал — покажи. У него, правда, было пятьдесят баксов. Я их взял и снова треснул его по морде. У него пошла кровь, и он сказал, что я все равно теперь с ним сидеть буду. Я врезал ему еще раз.

26 марта 1995 года.

Старуха взяла деньги Семенова и сказала, что ее зовут Октябрина Михайловна. Ну и имечко. В квартире воняет кошачьим дерьмом. Как она это терпит? Спросила: посмотрел ли я фильм?

А я даже не помню, куда засунул кассету. Не дай бог мама ее куда-нибудь зашвырнула. Она вчера много всего об стенку расколошматила. Может быть, ей купить автомат?

28 марта 1995 года.

Достали меня все. И этот дневник меня тоже достал. А не пойдешь ли ты к черту, дневник? А?

30 марта 1995 года.

Нашел кассету Октябрины Михайловны. Валялась под креслом у меня в комнате. Вроде бы целая. Неужели придется ее смотреть?

1 апреля 1995 года.

Сказал родителям, что меня выгоняют из школы. Они позабыли, что не разговаривают друг с другом почти неделю, и тут же начали между собой орать. Потом, когда успокоились, папа спросил: за что? Я сказал — за гомосексуализм. Он повернулся и врезал мне в ухо. Изо всех сил. Наверное, на маму так разозлился. Она опять закричала, а я сказал — дураки, сегодня первое апреля, ха-ха-ха.

2 апреля 1995 года.

Водил на улицу котов Октябрины Михайловны. Ей самой трудно. Они рвутся в разные стороны как сумасшедшие. Мяукают, кошек зовут. Я думал — у них это только в марте бывает. Пять сумасшедших котов на поводочках — и я. Соседние пацаны во дворе ржали как лошади.

Ухо еще болит.

Октябрина Михайловна опять спросила про фильм. Его, наверняка, снимали в эпоху немого кино. Все-таки придется смотреть. Жалко ее обманывать.

3 апреля 1995 года — почти ночь.

Пацаны во дворе помогли мне поймать котов. Я запутался в поводках, упал, и они разбежались. Один залез на дерево. Двое сидели на гараже и орали. Остальные носились по всему двору. Пацаны спросили меня — чьи это кошки, а потом помогли их поймать. Они сказали, что Октябрина Михайловна классная старуха. Она раньше давала им деньги, чтобы они не охотились на бродячих котов. А потом просто давала им деньги. Даже когда они перестали охотиться. На мороженое — вообще на всякую ерунду. Когда еще спускалась во двор. Но теперь давно уже не выходит. Пацаны спросили — как она там, и я ответил, что все нормально. Только в квартире немного воняет. И тогда они мне сказали, что если хочу, то я могу поиграть с ними в баскетбол.

Вечером в комнату приходил отец. Сидел, молчал. Потом спросил про уроки. Они опять с мамой не разговаривают.

Может, он хотел извиниться?

4 апреля 1995 года.

Вот это да! Просто нет слов. Я кассету наконец посмотрел. Называется «Римские каникулы». Надо переписать себе обязательно.

5 апреля 1995 года.

Октябрина Михайловна говорит, что актрису зовут Одри Хепберн. Она была знаменитой лет сорок назад. Я не понимаю: почему она вообще перестала быть знаменитой? Никогда не видел таких... даже не знаю как назвать... женщин. Нет, женщин таких не бывает. У нас в классе учатся женщины.

Одри Хепберн — красивое имя. Она совсем другая. Не такая, как у нас в классе. Я не понимаю, в чем дело.

6 апреля 1995 года.

Снова смотрел «Каникулы». Невероятно. Откуда она взялась? Таких не бывает.

Сегодня играл с пацанами во дворе в баскетбол. Высокий Андрей толкнул меня, и я свалился в большую лужу. Он подошел, извинился и помог мне встать. А потом сказал, что не хотел бить меня два года назад, когда все пацаны собрались, чтобы поймать меня возле подъезда. Они хотели сломать мой велосипед. Отец привез из Арабских Эмиратов. Андрей сказал, что не хотел бить. Просто все решили, а он подчинился. Я ему сказал, что не помню об этом.

Мне тогда зашивали бровь. Бровь и еще на локте два шрама.

А завтра идем играть против пацанов из другого двора. С нашими я уже со всеми здороваюсь за руку.

Отец приходил. Сказал, что я сам виноват в том, что случилось первого апреля. Не надо было так по-дурацки шутить. Я сказал ему — да, конечно.

7 апреля 1995 года.

Мама говорит, что я достал ее со своим черно-белым фильмом. Она не помнит Одри Хепберн. Она мне сказала: ты что, думаешь, я такая старая? Смотрел «Римские каникулы» в седьмой раз. Папа сказал, что он видел еще один фильм с Одри — «Завтрак у Тиффани». Потом посмотрел на меня и добавил, чтобы я не забивал себе голову ерундой.

А я забиваю. Смотрю на нее. Иногда останавливаю пленку и просто смотрю.

Откуда она взялась? Почему за сорок лет больше таких не было?

Одри.

9 апреля 1995 года.

Октябрина Михайловна показала мне песню «Moon River». Из фильма «Завтрак у Тиффани». Кассеты у нее нет. Когда пела — несколько раз останавливалась. Отворачивалась к окну. Я тоже туда смотрел. Ничего там такого не было, за окном. Потом сказала, что они ровесницы. Она и Одри. Я чуть не свалился со стула. 1929 год. Лучше бы она этого не говорила. Еще сказала, что Одри Хепберн умерла два года назад в Швейцарии. В возрасте 63 лет.

Какая-то ерунда. Ей не может быть шестьдесят три года. Никому не может быть столько лет.

А Октябрина Михайловна сказала: «Значит, мне тоже пора. Все кончилось. Больше ничего не будет».

Потом мы сидели молча, и я не знал, как оттуда уйти.

12 апреля 1995 года.

Я рассказал Октябрине Михайловне про Семенова. Не про то, конечно, откуда у меня взялись для нее деньги, а так — вообще. В принципе про Семенова. Она дала мне книжку Оскара Уайльда. Про какой-то портрет. Завтра почитаю.

Через две недели у меня день рождения. Думаю позвать пацанов из двора. Интересно, что скажет папа?

Он приходил сегодня ночью. Я уже спал. Вошел и включил свет. Потом сказал: «Не прикидывайся. Я знаю, что ты не спишь».

Я посмотрел на часы — было двадцать минут четвертого. Еле глаза открыл. А он говорит: «Вот видишь». И я подумал: а что это интересно я должен «вот видеть»?

Он сел к моему компьютеру и стал пить свое виски. Прямо из горлышка. Минут десять, наверное, так сидели. Он у компьютера — я на своей кровати. Я подумал: может, штаны надеть? А он говорит: с кем я хочу остаться, если они с мамой будут жить по отдельности? Я говорю — ни с кем, я хочу спать. А он говорит — у тебя могла быть совсем другая мама. Ее должны были звать Наташа. А я думаю — у меня маму зовут Лена. А он говорит — шлюха она. А я ему говорю — мою маму зовут Лена. Он посмотрел на меня и говорит: а ты уроки приготовил на завтра?

15 апреля 1995 года.

Вчера ходили с нашими пацанами драться в соседний двор. Те проиграли нам в баскетбол и не хотят отдавать деньги. Уговор был на двадцать баксов. Наши пацаны дней пять собирали свою двадцатку. Трясли по всему району шпану. Тех, у кого есть бабки. Раньше бы и меня трясли. Короче, высокий Андрей сказал — надо наказывать. Мне сломали ползуба. Теперь придется вставлять. Пацаны заглядывали мне в рот и хлопали по плечу. Андрей сказал — с боевым крещением.

В школе все по-прежнему. Полный отстой. Антон Стрельников влюбился в другую училку. Алгебра на этот раз. Придурок. Про Одри Хепберн он даже не слышал. Хотел сперва дать ему фильм, но потом передумал. Пусть тащится от своих теток.

16 апреля 1995 года.

Семенов пришел в школу весь в синяках. У меня тоже верхняя губа еще не прошла. Опухла и висит, как большая слива. Нормально смотримся за одной партой. Антон говорит, что Семенова папаша отделал. Примерно догадываюсь за что. Но Антон говорит, что он его постоянно колотит. С детского сада еще. Они вместе в один детский садик ходили. Говорит, что папаша бил Семенова прямо при воспитателях. Даже милиция приезжала. Но он откупился. Раздал

бабки ментам и утащил маленького Семенова за воротник в машину. В машине, говорит Антон, еще ему добавил. А Семенов из машины визжал как поросенок. «Нам тогда было лет шесть,— сказал Антон.— Мы стояли вокруг джипа и старались заглянуть внутрь. Окна-то высоко. Слышно только, как он визжит, и посмотреть охота. А воспитательницы все ушли. Семеновский папаша им тоже тогда денег дал. Да и холодно было. Почти Новый год. Чего им на улице делать? Ну да — на следующий день подарки давали — елка там, Дед Мороз».

17 апреля 1995 года.

Дома больше никто не орет. Они вообще не разговаривают друг с другом. Даже через меня. Мама два раза не ночевала дома. Папа смотрел телевизор, а потом пел. Закрывался в ванной комнате и пел какие-то странные песни. В два часа ночи. Интересно, что подумали соседи?

Октябрина Михайловна говорит, что у детей проблемы с родителями оттого, что дети не успевают застать своих родителей в нормальном возрасте. Пока те еще не стали такими, как сейчас. В этом заключается драма. Так говорит Октябрина Михайловна. А раньше они были нормальные.

Она говорит, что помнит, как мой папа появился в нашем доме.

«Он был такой худой, веселый. И сразу видно, что из провинции».

Оказывается, у мамы уже был тогда парень, почти жених. Октябрина Михайловна не помнит его имени.

Сегодня специально ходил по улицам и смотрел — сколько женщин походит на Одри Хелберн.

Нисколько.

Промочил ноги и потерял ключи. Жалко брелок. Если свистишь, он отзывается. Посвистел во дворе немного — бесполезно. Где-то в другом месте, видимо, уронил.

18 апреля 1995 года.

Октябрина Михайловна вспомнила, как папа (только он тогда был еще не папа, а просто неизвестно кто) однажды пришел на день рождения к маме в костюме клоуна. Шел в нем прямо по улице, а потом показывал фокусы. В подъезде и во дворе. Все соседи вышли из своих квартир. Она говорит — было ужасно весело. Все смеялись и хлопали.

Дочитал книжку Оскара Уайльда. Круто. Может, позвать Семенова на день рождения?

Ходил свистеть на соседнюю улицу. Губа почти не болит, но из-за сломанного зуба свистеть как-то не так. Брелок не нашелся. Вместо него появились те пацаны, с которыми мы дрались на прошлой неделе.

Еле убежал.

19 апреля 1995 года.

Сегодня приходил милиционер. Оказывается, высокий Андрей сломал одному из тех пацанов ключицу. Теперь его родители подали в суд. Я видел, как Андрей тогда схватил обрезок трубы, но милиционеру ничего не сказал. Я там, говорю, вообще не был. А он смотрит на мое разбитое лицо и говорит: не был? Я говорю — нет.

Пацаны во дворе сказали мне — ты нормальный.

Я не предатель.

Вчера приснилось, что это меня затащил в машину отец. Бьет изо всех сил, а я не могу от него увернуться. Только голову закрываю. Руки маленькие — никак от него не закрыться. Он такой большой, а у меня пальто неудобное. С воротником. И руки в нем плохо поднимаются. Я уже забыл о нем, а теперь вдруг во сне увидел. Бабушка подарила, когда мне было пять лет. А в окно машины заглядывает Антон Стрельников. Но почему-то большой. И целуется с учительницей алгебры.

Потом приснилась Одри.

20 апреля 1995 года.

Я умею играть «Moon River» на пианино. Одним пальцем. Октябрина Михайловна смеется надо мной и говорит, что остальные девять мне не нужны. Со мной и так все ясно.

Посмотрим.

Папа сказал, что костюм клоуна ему одолжил один приятель из циркового училища. Он говорит, что у него не было денег на нормальный подарок тогда.

«Какие подарки? Вообще не было денег. Пришлось корчить из себя дурака. Чуть от стыда не умер. А ты откуда узнал?»

Я говорю — от Октябрины Михайловны. А он говорит: ты где для нее деньги нашел? Я говорю — секрет фирмы.

Мама опять не ночевала дома.

21 апреля 1995 года.

Семенов сказал, что знает настоящее имя Одри. А я ему говорю — я думал, что Одри — настоящее. А он говорит — ни фиги. Ее звали Эдда Кэтлин ван-Хемстра Хепберн-Рустон. Я ему говорю — напиши. Он написал. Я говорю: а ты откуда знаешь? Он говорит — я в детстве любил прикольные имена запоминать. Первого монгольского космонавта звали Жугдэрдемидийн Гуррагча. Я говорю — врешь. А второго? Он говорит — второго не было. Можешь проверить. А первого звали Гуррагча. Сам посмотри на Интернете. Там и про Одри Хепберн до фиги всего есть. Я говорю: например? Он говорит — ну, она дочь голландской баронессы и английского банкира. Снималась в Голливуде в пятидесятых годах. А до этого — в Англии. Я говорю: а ты зачем про нее смотришь?

Он молчит и ничего мне не отвечает. Я ему снова говорю. И он тогда пальцем показывает на мою тетрадь. Там четыре раза на одной странице написано: «Одри Хепберн».

24 апреля 1995 года.

Снова рассказал Октябрине Михайловне про Семенова. Она сказала — дело в том, что мы все в итоге должны умереть. Это и есть самое главное. Мы умрем. А если это понял, то уже не важно — каков твой друг. Просто его становится жалко. И себя жалко. И родителей. Вообще всех. А все остальное — не важно. Утрясется само собой. Главное, что пока живы. Она говорит, а сама на меня смотрит и потом спрашивает: ты понял? Я говорю — понял. Только Семенов мне как бы не друг. А она говорит — это тоже не важно. Вы оба умрете. Я думаю — спасибо, конечно. Но так-то она права. Она говорит — потрогай свою коленку. Я потрогал. Она говорит — что чувствуешь? Я говорю — коленка. Она говорит — там кость. У тебя внутри твой скелет. Настоящий скелет, понимаешь? Как в ваших дурацких фильмах. Как на кладбище. Он твой. Это твой личный скелет. Когда-нибудь он обнажится. Никто не может этого изменить. Надо жалеть друг друга, пока он внутри. Ты понимаешь? Я говорю — чего непонятного? Скелет внутри — значит, все нормально. Она улыбается и говорит — молодец. А вообще умирать не страшно. Как будто вернулся домой. Как в детстве. Ты в детстве любил куда-нибудь ездить? Я говорю — к бабушке. Она в деревне живет. Она говорит — ну вот, значит, как к бабушке. Ты не бойся. Я говорю — я не боюсь. Она говорит — умирать не страшно.

2 мая 1995 года.

Высокого Андрея арестовали. Не за ключицу. За нее, видимо, будет отдельный срок. Все получилось из-за Семенова. Семенов у меня на дне рождения без конца рассказывал всякую чепуху про черных рэпперов и хип-хоп. А пацаны из двора слушали его с раскрытыми ртами. Папа мне даже потом сказал — он что, из музыкальной тусовки? Я объяснил ему насчет Интернета. Но пацаны

про Интернет не в курсе. Только в общих чертах. Они не знали, что Семенов меня заранее спросил — кто будет на дне рождения. Высокий Андрей мне на кухне сказал — классный парень. Он что, типа из Америки приехал? А я говорю — просто читает много. Интересуется. Короче, они ушли вместе с Андреем и потом, видимо, где-то напились. Я не знаю, как у них там все получилось, но к утру джип семеновского папаши сгорел в гараже. Плюс еще две машины какого-то депутата. Он их от проверки там прятал. В Думе теперь шерстят за лишние тачки. Папаша бил Семенова ножкой от стула. Сломал ему несколько ребер и кисть левой руки. Наверное, Семенов этой рукой закрывался. Но от милиции откупил. Арестовали одного Андрея. Пацаны во дворе ходят груженные. В баскетбол перестали играть. Со мной не разговаривают.

11 мая 1995 года.

Приходила мама. Сказала: можно поговорить? Я сказал — можно. Она говорит — ты какой-то странный в последнее время. У тебя все в порядке? Я говорю: это я странный? Она говорит — не хами. И смотрит на меня. Так, наверное, минут пять молчали. А потом говорит — я, может, уеду скоро. Я говорю — а. Она говорит — может, завтра. Я снова говорю — а. Она говорит: я не могу тебя взять с собой, ты ведь понимаешь? Я говорю — понятно. А она говорит: чего ты заладил со своим «понятно»? А я говорю — я не заладил, я только один раз сказал. Сказал и сам смотрю на нее. А она на меня смотрит. И потом заплакала. Я говорю: а куда? Она говорит — в Швейцарию. Я говорю — там Одри Хелберн жила. Она говорит: это из твоего кино? Я говорю — да. Она смотрит на меня и говорит — красивая? Я молчу. А она говорит: у тебя девочка есть? Я говорю: а у тебя когда самолет? Она говорит — ну и ладно. Потом еще молчали минут пять. В конце она говорит: ты будешь обо мне помнить? Я говорю — наверное. На память пока не жалею. Тогда она встала и ушла. Больше уже не плакала.

14 мая 1995 года.

Октябрина Михайловна умерла. Вчера вечером. Больше не буду писать. Не буду.

г. Якутск



Муравей моей судьбы

* * *

С чего ты взял,
Что муравей моей судьбы
Должен ползти по книге жизни
Так, как ты бы ее читал,—
Слева направо по прямой строчке,
Прыжок к началу — и все по-новой?
Знаешь, милый, все мои звери
Отличались странным характером
И пристрастием к кривым линиям —
Кроме того, ведь муравьи не прыгают...

И с чего ты взял,
Что муравей моей судьбы
Попал на твою страницу не случайно
И будет оставаться там вечно?
На ней нет ни меда, ни сахара,
Ни малюсенькой крошки хлеба,
А ты же знаешь, что муравьи
Именно за этим бродят по миру,
И, если они не найдут ничего съедобного,
Спокойно ползут дальше...

И совсем мне непонятно,
Почему ты решил, что это я
Сама послала его к тебе?
Знаешь, милый, то, что я тебе улыбаюсь,
Еще не значит, что я тебя люблю.
Почему же тогда я улыбаюсь так часто?
И почему я смотрю на тебя,
Не отрывая от тебя взгляда?
Знаешь, милый, я все же не муравей
И всякие насекомые мне не указ.

* * *

Нескромно — о себе писать,
О невозвышенности мыслей,
Хотеть, чтоб времена не сгрызли
Мой след, впечатанный в асфальт,

Зарифмовать на склоне дня
Свои дневные заблужденья,
Примеривая на себя
Не мной придуманные мненья,

И по традиции святой
Всю ночь проплакать о величье
Своих придуманных обличий,
Чужой описанных рукой,

Нескромно думать о себе,
На небо звезды класть из смальты
И целый век искать момент
Пройтись по свежему асфальту.

* * *

В моей ладони ветер и свет.
Слышишь — где-то упала тьма.
Моя завтрашняя зима
Передала мне вчера привет.

Значит, осень скоро пройдет...
У ног моих тенью снег.
Из-под сжатых для плача век
Мелко сыплется битый лед.

* * *

Как хорошо быть мертвой Беатриче,
Лежать в гробу и знать о том, что кто-то
Все небеса тебе одной подарит
И назовет их раем и что имя
Твое раскатится по всей Вселенной,
И — Беатриче! — будут повторять
Везде, где раньше говорить не смели,—
То имя, что при жизни не носила...
Что, хорошо быть мертвой, Беатриче?.

* * *

В кельтских сумерках дуб и терновник
ясень ясные очи поднял
у каштана плоды созрели
держит в лапах пушистые камни
для рябины слово не повод
ни для кисти и ни для гроздьев
Талиесин прошел по дюнам
и деревья встали на битву
ни по поводу, ни на защиту
бесполезно ветви ломались
даром сок древесный пролился
соль морская следы на дюнах
смоет и не заметит потери
кельтской арфы плач не услышат
в кельтских сумерках дуб и терновник

Циничный английский сонет об алых парусах

Море спокойно: штиль. Ни плеска, ни вдоха.
Видно, то, что рождает волны, недавно сдохло.
Что-то туманно-красное маячит перед глазами:
То ль пожар, то ль закат, то ль фрегат под алыми парусами.

Только нет ни дыма, ни ночи, ни Ассолы на пляже.
Молчанье колышет туман, как ветер — перья плюмажа.
Бутылка кагора в песке, оливки и сыр овечий.
Скорей бы в глубинах морских утонул этот вечер.

Море слишком спокойно — как бы не было бури.
После ясного дня утро часто бывает хмурым.
Почему так, Природа? Впрочем, мы же не прочь и сами
Молча — ночью — напиться в дым под алыми парусами.

Если и есть что-то в мире, кроме этого пляжа,
Нам до этого нет дела — да и кто нам об этом скажет?

Осенняя зарисовка

Черный котенок на облако,
Похожее на самолет,
Тихо косится. Тянет осенью.
А котенок грустит и думает:
Если облако скоро станет
Похожим на бегемота,
Оно упадет в болото
Или все же летать останется?

г. Москва



Палка

РАССКАЗ

1

Разные истории случаются. Вот, скажем, когда я в дурке лежал, на Серышева... (Ну это там, куда в девяностом году танк врзался и весь первый этаж в крошку раздавил) да, вот тогда истории были — любо-дорого! Что же там было-то?..

Как известно, Серышева, 1,— это общевойсковой госпиталь в Хибаровске, краевого масштаба учреждение, не какая-нибудь замурзанная санчасть. Именно сюда, в психиатрическое отделение, я и залетел в конце марта девяносто пятого года, едва-едва прослужив два месяца. А служил я не где попало, а в космических войсках.

Вы только не подумайте, что космические войска — это что-то из области научной фантастики. Совершенно реальный род войск, хотя и полусекретного назначения (чего стоит хотя бы тот факт, что раз в три месяца каждая рота несла по земным стандартам двухнедельную вахту на орбите Земли).

Безусловно, сразу после присяги вас никто не то что на орбиту, но даже к чистке ватерклозета не подпустил бы. Только после полугодовой учебы. Спросите, зачем на орбиту? Ну уж явно не за тем, чтобы спутники-шпионы сбивать. Это вы хрен угадали, Пелевина меньше читать надо. Да и вообще щенок он, этот ваш Пелевин, энтомолог-солипсист хренов. Скажем так — во время орбитальной вахты выполняются простейшие функции: непродолжительные пилотируемые полеты в глубины космоса с попыткой атаковать или уйти от атаки условного противника (глубины космоса, разумеется, не дальше Луны); выполнение заданий по военной картографии; военная же метеослужба... Да мало ли еще всякой белиберды! Вообще-то вахта — это кузница кадров. Именно из космических войск выходят потом Береговые, Леоновы, Гагарины и Джанибековы. Это, конечно, после двух лет службы, и отбор очень строгий — редко когда двух человек из батальона отбирали. Теперь, надеюсь, вам понятно, почему наши космонавты так долго могут находиться на орбите.

Но суть, разумеется, не в этом. Суть даже не в том, что у нас в части никакой дедовщины не было, и это потому, что у нас служили очень интеллигентные солдаты, сплошь выходцы с гуманитарных и естественно-научных факультетов. Были, конечно, и математики, и физики, но гуманитариев и естественников было больше, один только я затесался меж ними как не пришей кобыле хвост, будущий животновод из сельскохозяйственной академии. Вообще-то я из ненцев, оленивод во втором колене, Янгиргин моя фамилия. Как уж меня в эти войска попасть угораздило — ума не приложу. Нас ведь всех подряд чукчами зовут, мы для белых людей тупорезы тупорылые. Но все же приняли по какой-то причине.

Словом, прослужил я два месяца. Курс молодого бойца за спиной, пошли наряды, то да сё... А после присяги еще и увольнительные начались. В нашем взводе у меня — самая первая. Только где ее, эту увольнительную, провести? Наша часть находилась в двадцати километрах от Хибаровска, в офицерском городке Князе-Вяземское-7. И в городке этом увольнительная, прямо скажем, фиговая. Девчонки все — офицерские дочки, к таким не подступишь, всех развлечений — вечерний сеанс в Доме офицеров, а до него чем прикажете заниматься?! А отдохнуть-то хочется, тем паче, что весна в этом году на Дальнем Востоке была ранняя, в шинели париться не придется, парадкой посверкать перед девчонками можно! И махнул я в Хибаровск.

Иду, значит, наявряваю по центральной улице, девчонки оглядываются, штатские пацаны рты разевают, и стоит заметить, что есть отчего: черные лаковые ботинки, голубые брюки и гимнастерка, нежно-салатовая рубаха, на голове — шикарный черный берет с кокардой в виде НЛО, пряжка на ремне надраена до зеркального блеска! Не то что бледно-бурые парадки связистов или, скажем, коричневые комбинезоны танкистов. Это — элитные войска космического назначения! В кармане кой-чего позвякивает: ребята скинулись на четыре баллона «Спрайта», присягу отметить всем взводом. Эхма, дайте в руки мне баян, я порву его к...

Вот тут-то неприятности и не преминули случиться. Потому что прихватили меня шакалы, то бишь комендантский патруль. То есть я тогда по неопытности подумал, что это комендантский патруль. И от растерянности своей (а кто бы не растерялся от внезапного гласа из-за спины: «Эй, товарищ солдат, стой, раз-два!») дал этим четверым оттеснить меня в подворотню. Тот, кто был с лычками старшины, маслянистый такой жлоб с покатым лбом, спрашивает:

— Солдат, почему честь не отдаешь старшему по званию?

Здрасьте, пожалуйста! Сами со спины зашли, как я мог их увидеть? Но не нарываюсь, стараюсь уладить конфликт миром.

— Виноват, товарищ старшина.— И отдаю честь.— Разрешите идти?

А он:

— Погоди, куда тебе спешить? Сколько служишь?

А у меня на лице написано, сколько я служу. Каждый «дед» безошибочно видит «духа», и, где бы ни был, он постарается этого «духа» унизить.

Ну, думаю я, влип. Вот они, тепличные условия несения службы! С одним бы я еще потягался, но четверо!..

— Два месяца,— отвечаю я, а сам глазами ищу, куда бы дать стрекача. И, как назло, никакого выхода. Плотно окружили, сволочи!

— В увольнительной, значит.— Старшина аж раздулся от своей догадливости.— А бабки у тебя е, дух?

— Да пошел ты! — отвечаю я, пинаю его ботинком в щиколотку и пытаюсь убежать...

...Отмудохали меня, похоже, от всей души. Очнулся я в мусорном контейнере, весь в крови, уже почти вечер. Выпал я из контейнера, распугал собак и поплелся на автовокзал. Еле-еле уговорил, чтобы меня в автобус пустили, пообещал, что садиться не буду. Приехал в часть, прохожу через КПП, а мне говорят: мол, все, Янгиргин, «губа» тебе как пить дать светит, и это в лучшем случае. А так, в худшем, пойдешь на дизель, как дезертир. А сами даже посадить не удосужились, носы воротят, воняешь, говорят. Хотел я возмутиться, но тут прибегаёт мой комроты, майор Коноплев.

— Ты где, мать твою, шатался?

— Товарищ майор,— отвечаю,— моя увольнительная только через полчасика заканчивается, я не понимаю...

— Вчера! — орет он.— Вчера у тебя увольнительная закончилась! Где ты был?

Я немного сбивчиво, но все-таки объяснил, что со мной произошло, а сам думаю: едрить твою в кочерыжки, как же так?! Все так здорово было, а теперь — на «губу»?

Коноплев выслушал меня, потемнел лицом, бросился звонить в Хибаровскую военную комендатуру. Я остался на КПП ждать. А у них там музыка орет, аж зубы ноют. Местное «Радио “Модерн”», видимо. Я долго терпел, где-то полчаса, но потом не выдержал и сказал:

— Радио можно выключить? А то голова раскалывается...

А они на меня как на идиота смотрят.

— Ты,— говорят,— чего, пьяный, что ли? Где ты радио тут слышишь? У нас его еще вчера забрали.

— Ни фига подобного,— отвечаю,— я все прекрасно слышу. «Модерн», последние известия, у микрофона — Елена Тараторкина.

Но наша дискуссия была прервана Коноплевым. Он вошел, поморщился и сказал:

— Пошли к комполка.

Повел он меня к командиру полка. Входим в его кабинет. Командир мне сразу:

— Почему в головном уборе?

Я хочу снять берет, берусь за него, но от невероятной, прямо-таки нечеловеческой боли падаю на пол. И, поверьте на слово, в этот момент, когда я падал на вылизанный паркет в кабинете комполка, в голове моей громко-громко раздается: «Вечерний звон, бом-бом». Вот, думаю, и пришел мне вечерний звон. Причем полный.

И тут другая музыка откуда ни возьмись, и рев зверский, сквозь который можно разобрать: «День прошел, а ты еще жив, день прошел, а ты еще жив!» И я, видимо, так разительно в лице переменялся, что майор мой сразу подскочил ко мне... и сам чуть не упал. Тычет в мою голову пальцем и спрашивает:

— Что там у тебя?

Я потрогал. На темени как бы две шишечки, шершавые, на бородавки похожие. Только металлические. Да и ясен хрен — откуда на берете бородавки?

Стал я его снимать, а он не снимается. Как приколоченный. Рванул я этот берет изо всех сил — и вырубился.

Потом хирург мне говорил, что молиться я должен на моего майора. Молиться, конечно, не буду, но благодарен по гроб жизни — да. За то, что не дал еще в части сделать то, чего не сделали в госпитале, чего до сих пор никто не может сделать.

В общем, случилось так, что комендантский патруль таковым не являлся, и мой случай — не единственный. «Деды» какие-то забавлялись: изображая комендантский патруль, грабили солдат с малым сроком службы. Некоторых убивали. Как, например, меня. Один из них ударил меня молотком. А потом они приколотили мне берет к голове гвоздями на сто. Двумя штуками. По одному на левое и правое полушарие. Но личности их до сих пор не были установлены. Чем с ними дело закончилось — это отдельная история. Потом, если будет время, расскажу.

Меня же в бессознательном состоянии отправили в госпиталь, в Хибаровск. Первым делом мне в приемном покое отстригли с головы берет и обрили все волосы. С той поры хожу с гладко выбритой головой и ношу хлопчатобумажную кепочку, не снимая, дабы не смущать людей двумя гвоздями, торчащими из моего черепа (ну не торчащими, а слегка выступающими на один-два миллиметра). А когда я наконец очнулся, мне сообщили, что меня комиссуют по инвалидности.

— А я не инвалид,— говорю,— я себя прекрасно чувствую.

— Так у тебя же два гвоздя в башке,— говорит доктор.

Доктор, скажу я вам, был дядька еще тот. Не старый еще, но уже совсем седой, на Айболита похожий. У него даже поговорка была: «Ай, блин!»

— И что теперь? — спросил я.

— Как что? Положим тебя в психиатрию,— ответил доктор и посмотрел на наручные часы.— Ай, блин! Линейка скоро!

— Э, погодите,— запротестовал я.— Меня что, психом считают? Мне что — с придурками придется?..

— Чудак человек,— улыбнулся доктор.— Да там один дурак на сто нормальных. Косят все.

Успокоил! А вдруг меня как раз с одним таким психом в палате оставят?

— А почему не в хирургию? — не сдавался я.

— Ну подумай сам.— Доктор уселся на мою койку, в ногах.— У тебя в башке два инородных тела, так? Плюс еще два сильных удара молотком. Верно? А кто даст гарантию, что это на твоей психике не сказалось или не скажется? Поживешь пару месяцев там. А мы здесь тебя как следует изучим, может, и придумаем, как из тебя эти электроды достать.

И поселили меня в психиатрии. Точнее — в одиннадцатом закрытом отделении. Чтобы враг не догадался, где психи лежат. Правда, вместо двух месяцев парился я в этом заведении полгода, и все по одной простой причине — врачи никак не могли решиться на операцию. Раз десять мне делали рентген головы в разнообразных ракурсах (я думаю, фотографии такой фантазией не обладают, как наши врачи). Первый месяц меня обследовали каждый день. С ног до головы (голову особенно), потом реже, и последний месяц я ждал оформления документов на демобилизацию, ибо в конце концов вытащить из моей головы гвозди никто не рискнул. Мол, хрен знает, неудачно шевельнем — и пропал парень, мама-папа плакать будут. Нет, брат, живи лучше так. Только лысину время от времени уксусом протирай, чтобы шляпки ржа не ела.

С психами меня тоже поднадули.

Оказалось, что из семидесяти пациентов, пребывавших на ту пору в дурке, половина (!) была частично или полностью сошедши с катушек, как выражалась вторая половина. Процент этот постоянно менялся, и к моменту моей выписки составлял пропорцию один к десяти в пользу нормальных.

Врачи успешно делали свое дело и лечили не только здоровых, но и больных. Среди нормальных, то есть косарей, суицидников и алкоголиков, которые отходили после горячки буквально на следующий день после госпитализации, я получил прозвище Маяк. И вот почему.

Если вы помните, выше я уже описал единственный побочный эффект от «инородных тел» — я стал слышать радио. Но, как оказалось, не только я. Дело в том, что сплю я с открытым ртом. И в первую же ночь, когда меня поместили в палату с Гусем, Студентом, Мальком и Ангелом, в башке у меня застряли волны «Маяка» и работали не менее получаса. И через рот, как через плохой динамик, на всю палату транслировался концерт Тамары Гвардцидзе. Малек со Студентом татались, Гусь устроил истерику, Ангел поставил эту мою особенность на контроль и не отходил ни на минуту полтора месяца, пока его не признали годным к строевой и не отправили в часть (впрочем, он сдунул оттуда в ту же ночь, как его привезли). Но эти полтора месяца я был секретом нашей палаты.

Несмотря на дурацкую кличку, уважением среди косарей я пользовался. Как не являющийся косарем и в то же время — не псих. Опять же — радио. Всему нашему этажу, «тяжелобольным», запрещалось наличие радиоточек и т. д., и т. п. И выходить на улицу тоже... Поэтому развлечения, кроме шахмат, шашек, нарда и появляющихся иногда книжек, придумывать приходилось са-

мим. Или самим же сходить с ума, что некоторые, а в частности — Гусь и Акула, делали. А, вспомнил — еще сумасшедшие были развлечением, но это — на десерт, когда уже ничто от скуки не спасало. Но об этом разговор еще пойдет.

А в тот день, седьмого мая девяносто пятого года, меня перевели в психушку, определили к «тяжелобольным» на третий этаж. И дежурила в тот день Олечка Охмеленко.

— «Косишь»? — спросила она.

— Нет, — ответил я. — Я оленей пасу. У Печоры, у реки. Слыхали?

2

Наше отделение, психиатрия, — здание в три этажа с решетками на окнах, но первый этаж никак не используется... не использовался. Сейчас, по прошествии нескольких лет, когда я уже женат, когда у меня родились сын и дочь и работаю я чертежником в секретном КБ, мне порой кажется, что сразу после моей выписки этот дом с небольшими окнами разрушился, погребая под своими руинами и тот танк, о котором пойдет сейчас речь. Хотя... Я до сих пор получаю оттуда открытки от Олечки.

Собственно, про танк я узнал от Малька, с которым сошелся по причине нашего с ним землячества. Малек не был ненцем, его родители строили БАМ в числе первых добровольцев. Звали Малька Романом (фамилию уже забыл).

Так вот, о танке. В девяностом году в Хибаровске произошло ЧП: из Хибаровской танковой дивизии дембель угнал танк. С какой уж там целью он его угнал — доподлинно неизвестно, ходят лишь смутные слухи, что домой на танке хотел вернуться, перед девицами пофорсить. Да не получилось. То ли танк он водил плохо, то ли клаустрофобией страдал, но устроил он хибаровцам веселую жизнь. Как понесло его по Хибаровску мотать! Рынок раздавил полностью, хотя начал только с китайских лотков. Китайцы, как бисер, изпод гусениц в разные стороны так и сыпались. Не меньше ста человек потом в травматологии лежало. О смертельных исходах слышно не было, но скорей всего и без них не обошлось. Впрочем, не о том речь. Три часа гонял ошалевший дембель по Хибаровску. А как его остановить? — танк же, не «Запорожец». Бомбить нельзя — центр города, по той же причине и другие танки не ввести. Газом хотели, да ветрено в тот день было: потравили бы полгорода. Но нашелся-таки умелец, Кулибин девяностых. Не сам, конечно, нашелся, соседи про него стукнули. Есть, говорят, самородок один, хулиганов шугает. Ну и что, подумаешь — шугает! Может, он каратист! Да нет, говорят соседи, какой он каратист! Хлюпик, сопля. А хулиганов он тарелкой пугает. Какой такой тарелкой?! Подать его сюда на этой тарелке! Подали. «Это вы хулиганов тарелками пугаете? А ну-ка расскажите!» — «А че рассказывать-то? Обычный транслятор инфразвука. Доли секунды хватает, чтобы оголтелые подонки превратились в трусливых щенков». — «О, товарищ, такие приборы нам нужны, дайте-ка я попробую!..» — «Осторожней!» Какой там — осторожней! Пара секунд — пара трупов. Отрегулировать радиус действия забыли! Кулибина с его тарелкой посадили за непредумышленное убийство, но перед этим наградили; парней, что при эксперименте присутствовали, тоже наградили, но посмертно. И подбили танкиста из инфразвуковой тарелки. Въехал он в испуге на территорию госпиталя и врезался в старое здание психиатрии. Хорошо еще, что никого там не было: за день до этого один псих из «выздоровливающих», подполковник, который по случаю Девятого мая был выпущен домой на выходные, вернулся в отделение, да не один, а с подарочком — пол-литровой банкой ртуты. Как он ее умудрился пронести — хрен знает, ведь шмон на

входе в отделение как на российско-американской таможне в эпоху «холодной войны», но — пронес доблестный красный офицер мину, да как шарахнет ее об пол: получите дубль-раз, ха-ха! Всех психов в течение десяти минут вывели, то-то им праздник был — на травке повалиться! Вот, не успели психушку даже обеззаразить, в нее танк уже врзался. Видно, не судьба, видно, нет любви. Рвануло — будь здоров, не кашляй.

Расчистили завал быстро. И что бы вы думали? Сидит этот танкист, трясется весь, но — живой, и в парадной форме, как и был. Ни пылинки на нем. ОМОН, спецназ рванулись его брать, а он как заорет — и все, кто ближе десяти метров к нему был, оглохли, лопнули у них барабанные перепонки. И стреляли по нему, и травили, а ему хоть бы хны. Но созидательный труд приветствовал. Так что закрыли его со всех сторон бетонными плитами в три слоя, залили раствором, а над всем этим добром новый дурдом построили.

И, если честно, не поверил бы я в эту галиматью, которую Малек мне поведал, как страшную историю в пионерском лагере,— шепотом и с большими глазами, но время от времени, когда меня водили на рентген и осмотры, я чувствовал, что глухие бетонные стены первого этажа и фундамент под ним слегка вибрируют, будто там, внутри, работает двигатель мощной машины.

Кто же там у нас обитал-то, у «тяжелобольных»? Студент, Малек, Ангел, Гусь, Хан, до черта офицеров, генерал Малишевский — и масса невыразительных ребят, время от времени всплывающих пред очи мои. И палата № 6: Жора и Ильдус, Бобка, Серега-Акула, Молчун, Борода, Кузя... Студента, Малька и меня перевели к ним после того, как выписали Ангела. Вместе с нами в шестую палату залетел и Хряк.

Хряк покинул дурку за месяц до меня, в тот день, когда лег первый снег. Он дружил с Кузей и Студентом, сторонился «дедов» и офицеров и чаще всего читал. Книжки он выпрашивал у Ромы Селина, который был хибаровцем, и его мать часто приносила ему чтиво...

Рома попал в дурку из-за комплекса вины. Он ведь и в армию еще не пошел служить, от военкомата районного направили. Будучи боксером, Рома не знал поражений и все бои заканчивал только нокаутом противника. Однажды, на финале чемпионата Хибаровска, ему пришлось биться с чемпионом прошлого года, и на второй минуте Рома нанес своему оппоненту такой удар в голову, что тот ослеп. С тех пор Рома впал в хандру, отказался от поединков и стал писать стихи на почти старославянском языке.

— Ну что, тоже «косишь»? — спрашивает Олечка.

Высоченного и худого, похожего на жердь увальня, что неловко переминается с ноги на ногу перед ее столом, зовут Женей Кузнецовым. Он тяжело вздыхает и говорит:

— Нет.

У сестринского поста, как это всегда бывало во время пополнения наших рядов новыми персонажами, стояли якобы больные и разглядывали вновь прибывшего. Помимо роста и сказочной худобы, вновь прибывший обладал еще лошадиной мордой вместо лица и совершенно свободной от интеллекта головой. Он был блаженным. То есть, конечно, он не сошел с ума, не обколосся, не напился. Он был олигофреном. Таким, как он, Бог ума не дал, однако они всё прекрасно понимают сердцем. Не знаю, дебилизм ли у него был или идиотия... Служил он в стройбате, там же, где и Студент, «деды» издевались над ним, как над недоумком (он ведь не мог решить даже элементарной «А и Б сидели на трубе»), из-за чего он вздернулся (точнее, попытался вздернуться) на ремне. Для этого ему пришлось подогнуть ноги. В такой вот смешной позе его оттуда и достали. Из ремня. Конечно, это глупо. Но Кузе так хотелось получить «ст. 7-б» и отправиться домой! И так просто и бесхитростно прозвучал его ответ Оле, что Хряк, сидевший рядом с постом, сказал:

— Оля, ну как вам не стыдно! Вы что, не видите, что он из умственно отсталых?! Его и в армию брать нельзя было.

Олечка смутилась, потом улыбнулась и сказала новенькому:

— Ладно уж, иди... Кузя...

Так, с легкой подачи медперсонала, к Жене приклеилась его кличка.

А Кузя тут же прилепился к Хряку. Их можно было часто увидеть вместе. Время от времени вокруг Хряка собиралась небольшая компания, послушав его рассказы. Байки он травил умело, но неохотно. Из его слов я понял, что он откуда-то с Урала, вроде из Солнцекамска. Однако за свою недолгую жизнь исходил чуть ли не всю европейскую часть России и успел побывать в азиатской. Чем он конкретно занимался, мы так и не узнали.

— Везет тебе, — часто говорил Кузя. — Побывал всюду, знаешь много.

При этом он тяжело вздыхал: сам он нигде не бывал, кроме родной деревни где-то на Алтае, и были ему известны лишь прописные истины вроде того, что сахар — белый, а вода — мокрая. У Кузи была одна мечта — уйти в монастырь. Он всем рассказывал о своем идеале — святом Серафиме Саровском, но наиболее благодарным слушателем был Хряк, ибо Кузю недолюбливали у нас в дурке за его наивную липучесть. Однако открыто, конечно, над ним никто не издевался, а кто попытался обидеть — тот плохо кончил. Очень плохо. Как раз в тот день, когда Хряк покинул эту юдоль печали.

Шестая палата — штрафной изолятор. Туда отправлялись все нарушители спокойствия, и были это в основном косари, которые скучали. Развлечений, кроме указанных выше интеллектуальных игр, было крайне мало. Например, пугать нянечек-санитарок. То есть не пугать, а путать, но это равнозначно.

Как уже упоминалось, отделение наше было закрытым. Некоторые, например, Гусь, жили в нем, не выходя на улицу, целый год. Смена медсестер и санитарок длилась с девяти вечера до девяти утра и с девяти утра до девяти вечера, то есть две смены. Каждая заступившая смена пересчитывала наличие на этаже больных. Вот косари и прятались кто куда, чтобы цифры не сходились. Например, идет Клава-баптистка по палатам и пересчитывает нас, а Жора, Ильдус и Борода прячутся во второй палате под койками. Студент встает в углу, будто читает, а у него за спиной Малек прячется. И вместо, допустим, пятидесяти насчитывалось сорок семь или сорок пять. Естественно, начинался скандал. Не дай Бог упустить психа из отделения, это же катастрофа. (Дело в том, что полтора года назад из отделения ушел-таки один придурок. Бывший военный летчик угодил каким-то боком в секту, увяз и получил сдвиг по фазе. Религиозный фанатик какой-то стал. За час до смены дежурных прапорщика одного, алкаша, который над ним смеялся, побил, выскочил в коридор, разбежался — и пропал. Никто так и не понял, как это произошло. А в девять, как открылась дверь из отделения на лестничную клетку, он — как с потолка упал — толкнул санитарку, выбежал и могучим прыжком взлетел к узенькому и оттого не зарешеченному окошку под самым потолком. Выбил стекло — и был таков. В этой секте, оказывается, кроме каких-то священнописаний, изучалось ниндзюцу. Этого психа потом военные сбили, когда он пытался бомбардировщик угнать, на самом взлете.)

За такие невинные шалости, как пугание санитарок, обычно не наказывали — некому было. Репрессивным органом были врачи, работающие с десяти утра до семи вечера, а наказывать все отделение (ибо виновников переполоха вычислять не успевали — прятки прекращались) невозможно — лекарств не напасешься. Наказывали за громкий смех, за бузу, за курение. Студента, меня и Малька, а вслед за нами и Хряка репрессировали за мое радио.

Однажды, когда я долеживал в психушке второй месяц (а было это в первых числах июля), радио у меня в башке играло целый день. И во время тихого часа я открыл рот, чтобы ребята тоже послушали, что в стране делается. Разумеется, на звуки музыки прискакала Татьяна — самая злобная из санитарок. Она была очень красивой, ей было за тридцать, и лично я чувствовал в ней нечто шаманское. Хряк всегда смотрел на Татьяну с какой-то тоской и любовью, и мы поначалу думали, что он влюбился, но оказалось все гораздо проще: Хряк сказал Кузе, что Татьяна очень похожа на его мать, которая умерла. Кстати, именно к Хряку Татьяна относилась мягче всего и даже позволяла читать после отбоя. Так вот — прискакала Татьяна и сразу в крик:

— Откуда у вас радио?

— Какое радио? — говорю.

— Сейчас здесь играло радио!

— Откуда здесь радио, Татьяна Сергеевна? — с жаром вступился за меня

Студент.

— Действительно, откуда? Кто нам мог дать приемник, если у нас в Хибаровске даже знакомых нет?!

Татьяна видит, что не права, поворачивается и собирается уходить. И тут я — не знаю, откуда на меня такое озорство напало, — снова рот открыл. Как грянет музыка! Татьяна аж вздрогнула. Развернулась, а я рот на замок.

— Вот, сейчас! — ликует она.

— Что сейчас? — спрашиваю.

— Из Бизе, ария Хосе, — говорит Татьяна. — По радио передавали.

— Откуда вы можете это знать? — подхватывает игру Малек.

— Здесь сейчас радио играло, — побледнела Татьяна. Ярость уже захватила ее, руки тряслись.

— Никакого радио у нас нет, — сказал Студент. — Вам показалось.

— Как показалось? Я слуховыми галлюцинациями не страдаю, — повернулась она к Студенту.

Я вновь открыл и закрыл рот.

Татьяна в бешенстве оглянулась, но ничего, разумеется, не увидела. И тут черт дернул меня хихикнуть. Мой смешок подхватил Студент. Потом не выдержал Малек.

А Малек при всем своем маленьком росте хохотал весьма громко и, главное, заразительно. И вот мы уже ржем как кони. К нам влетают медбрат Женя и санитарка Клава-баптистка. Вот нас уже поровну: больных и медперсонала, а к медперсоналу на помощь уже поспешает Елена Александровна Ткачук, наш лечащий врач, и теперь численно и морально перевес на стороне противника. А смех не стихает. Ткачук с элегантностью генерала кавалерии прогарцевала вокруг наших коек.

— В чем смех? — поинтересовалась она у Татьяны.

— Они тут радио включили, — начала излагать свою версию Татьяна, и, когда закончила свой длинный и путаный рассказ, Ткачук все уже для себя решила.

— Всем литическую смесь. Потом переведете в шестую. — И вышла из палаты.

В коридоре, на свое горе, не спал и читал Лескова Хряк.

— Почему не спишь?

— А я обязан? — спокойно спросил Хряк. — Смеяться нельзя, читать нельзя. Что тогда можно?!

— Можно и ему литическую, — распорядилась Ткачук. — И вслед за этими.

— Есть, товарищ два майора, — вытянулся во фрунт Хряк. — Рад стараться!

Ткачук даже не изменилась в лице:

— Ну что же, придется повторить курс лечения.

И ушла.

Литическая смесь в психиатрии — это аминазин, сульфазин и магнезия в одном флаконе. Целый день лежишь, ни рукой, ни ногой не пошевелить. В таких случаях ваша порция в пищеблоке достается товарищам, а вам достается отходняк. Ходишь потом как пьяный.

Но зато мы оказались в шестой палате. А получать удовольствие там умели буквально из ничего. Особенно те, что на гражданке баловались водочкой. Умельцем, который изготавливал спирт, был Ильдус.

Сначала ставилась брага. Емкостью для нее была грелка, которую выпросил у медсестры тети Тамары Бобка, якобы для того, чтобы живот греть. На самом деле в грелку закладывались сахар, варенье, которое приносили кому-нибудь из ребят, белый хлеб. Грелку укладывали за батареею, которая грела, как термоядерная. Через неделю брага была сказочная, если верить пьющим, но Ильдус на достигнутом не останавливался, он решил гнать спирт. Как он умудрился смонтировать перегонный куб — не знаю, ибо не обитал еще в шестой палате, но я присутствовал на пьянке, что состоялась на следующий день после нашего со Студентом, Мальком и Хряком прибытия в шестую. Пили все, кроме меня и Кузи. У Кузи была больная печень (следствие гепатита), а я не пил из принципа. Нас, ненцев, всегда старались спойть. И чукчей, и хантов, и эвенков. И практически спойли. Поэтому я не пью.

В этот день, кстати, впервые я заметил эту странность в Хряке. Ну не будем забегать вперед.

Ильдус гнал спирт три месяца, и в результате к моменту нашего прибытия в шестой набралось самогона около одного литра.

Четвертого июля шестая дружно решила отметить день рождения Студента, все это время снабжавшего палату сахаром. А заодно обмыть пополнение. Справедливости ради следует отметить, что полностью весь самогон выпить они не успели — помешал Хряк. Точнее, он все завершил.

Пили из железной кружки, не разбавляя водой. Так как все были голодными, да еще некоторые проходили курс лечения медикаментами, опьянели быстро, и уже после второй порции Серега-Акула предложил дать выпить Ткачук. Мало того, он с наполненной доверху кружкой устремился в кабинет врачей, который был рядом, за стенкой. Я услышал только его «Елен-Санна, давайте на брудершафт!» — и начался конец света. Елен-Санна сбила Серегу с ног, как кеглю, и ввалилась в шестую.

— О! А вот и женщины... — икнул Бобка, но Кузя накрыл его полой халата и не дал продолжить тираду.

Факт вопиющего неуважения к режиму и порядкам психушки вывел Ткачук из себя. Вот тут она, а не Татьяна, стала похожа на камлающего шамана. На ее истерику прибежали санитарки, медсестра Ленка, врачи Тамбовцев и Никодимов. Пьяницы из шестой стали активно возражать Ткачук: мол, они не пили, это все поклеп, та верещала диким голосом, что весь июль нам будут ставить литическую (июль — не июль, а две недели ставили как с куста), и вот тут я почувствовал неладное. То ли гвозди в голове ломить начало, то ли еще что... И смотрю я не на Ткачук, не на Акулу и Жору, не на Ильдуса и Студента, а на Хряка. Он сидел рядом с батареей, спиной к стене, и смотрел со странным выражением лица на Ткачук, кривляющуюся в дверном проеме. Затем он поднял руку и указательным пальцем как бы прицелился в Елен-Санну. Никто, кроме меня, этого не видел. И в тот момент, когда я подумал, что Хряк собирается ее застрелить, прогремел выстрел.

Никто ничего не понял, началась паника, Ткачук некрасиво грохнулась на пол, сверху на нее полетели осколки штукатурки, кирпича и стекла — над самой дверью, в железной решетке, висела лампа под матовым колпаком. Именно

лампа и лопнула. Далее в общем гуле разобрать ничего было нельзя, пьяницам делали промывание желудков, медсестру трясли: кто допустил утечку спирта?! Ильдус, наиболее трезвый из всех, признался, как был получен самогон. Его лечащий врач Тамбовцев вздыхал и восклицал: «Гениально!» Литическую поставили всем, кроме меня и Кузи.

И никто не обратил внимания на то, что был слышен выстрел. И что стрелял Хряк. И промахнулся лишь потому, что был пьян.

3

Сумасшедшие тоже были кадры еще те. Взять того же Гуся. Он был старшиной, отслужил год и три месяца. Как-то решил в самоволку сходить. Переоделся в гражданку, перепрыгнул через забор... И когда его обнаружили празднично шатающимся по Хибаровску, он был уже не в себе. Врачам он объяснял, что только что из Америки.

Нашли его и вправду абсолютно голым, замотанным в американский флаг: Гусь носил его, словно римлянин тогу. При этом выкрикивал случайный набор английских слов на мотив битловского «Естедей».

В психушке Гусь пел: «Гуд бай, Америка, о!» — и стрелял у всех «чего-нибудь почитать». Все книжки, брошюры, журналы и т. п. он складывал у себя под матрасом и никому уже не давал, хотя сам не только не читал, но даже не заглядывал в них.

Лежал он до меня уже полгода. И, когда я выписывался, он тоже лежал. Он и сейчас лежит, только в гражданской психушке. Об этом мне Олечка написала, а потом и сам Гусь открытку прислал. В общем-то он мог выйти еще тогда, летом, если бы не Жора. После пьянки недели две или три прошло, когда к нам в отделение пригласили парикмахера. Пришла девица, лет двадцати пяти, крашеная, с черными ногтями, мастер своего дела. Таких красавцев из ребят понаделала, что хоть сразу на обложку журнала фотографируй. Офицеры помялись-помялись — и тоже подстригаться пошли.

Последним подстригался Малишевский. Он был подполковником, но все звали его «генералом» за спортивные брюки с широкими красными лампасами. Садится он перед зеркалом и распорядается:

— Под Котовского!

Парикмахерша подстригла Малишевского под Котовского, и тут в очередь пристроился Гусь. К тому времени он был уже почти нормальным, практически забыл про Америку и склонен был к экстравагантным шуткам. Он занял место подполковника и громко заявил:

— Под Малишевского!

Солдаты, наблюдавшие за этой сценой, засмеялись. Офицеры улыбнулись. А когда Гусю выбрили голову, Жора сказал:

— Ты бы себе еще брови сбрил, придурок.

— Ага, — подхватил Гусь, — сбрейте.

Фьюить — и нету у Гуся бровей. А если вы видели человека без бровей, то понимаете, насколько это отвратительное зрелище. Ткачук, когда увидела Гуся, так ему и сказала, мол, мало тебя, Андрюша, лечили. Тамара Анатольевна, Гуселетову сегодня аминазин, по средам магнезию.

И все, после первого же укола сорвало у парня башню окончательно. Всю ночь он плакал, начал орать — поставили литическую. Наутро уже был «чиканашкой». После этого мы с Жорой долго не разговаривали, а потом решили, что он не виноват, что так все вышло.

После той неудачной пьянки попал к нам в дурку еще один типус, капрал, залетевший по обкурке. Саша Рак его звали. Серьезно, Рак у него фамилия

была. Он жутко матюгался, третировал санитарок и божественно играл в шашки. При этом его преследовали жуткие глюки. Сидит Саша Рак у окна и талдычит нам:

— Братаны... в натуре... я дома... Я закрою глаза и считаю: раз, два, три... и я дома. Завтра я буду дома, завтра я буду пьяный. Братаны, я знаю — у них тут видеокамеры. Вон там. И вон там. Но я их расколочил. На улице меня ждут... Сегодня какое число?..

Последний вопрос он задавал очень часто. Его переклинило на Пасхе, она в тот год случилась первого апреля.

— Я знаю, сегодня первое апреля. Сегодня Пасха. Дым сигарет с ментолом. Пьяный угар качает. Я открою глаза — и я дома.

Он всегда ходил со стеклянными глазами навыкате и вызывал смешанное чувство жалости и страха.

А тут еще начал сходить с ума Серега-Акула.

Когда назначили курс лечения всей шестой, опять же после пьянки, хуже всех пришлось Сереге и Хряку, у них курс был двойной: кроме инъекций еще и таблетки. Но Хряк держался во многом благодаря Кузе: его рассказам о Серафиме Саровском и довольно оригинальной трактовке Евангелия. А Серега, ранимая душа художника в котором не могла спокойно переносить четыре стены дурки, стремительно терял связь с реальностью.

Акулой его прозвали за маленькую статуэтку из хлебного мякиша, замешанного с солью и жженой бумагой, которая называлась «человек-Акула». Я не сильно разбираюсь в искусстве, но эта работа произвела на меня большое впечатление. Ощерившаяся пасть, торчащий из спины плавник и изящно сплетенные ноги, под определенным ракурсом напоминающие акулий хвост, по сей день вспоминаются так живо, словно я держу «Акулу» в руках.

Серега начал заводиться с полуоборота, напал на Гуся, и в конце концов дошло до того, что его положили в палату для тяжелобольных, то есть для настоящих психов.

Как-то раз Гусь вывел Серегу из себя своей «Гуд бай, Америка, о!», и Серега, тощий, ослабленный лекарствами Серега вырвал дужку у койки и погнался за Гусем с криком «Убью, гад!». Дежуривший в этот вечер Женя едва успел перехватить Акулу.

Серегу привязали к койке, укололи, и на следующий день он ходил, как во долаз: медленно и плавно.

Хряк выдержал. Кроме рассказов и разговоров с Кузей, он начал рисовать. Сюжеты его рисунков были предельно просты: «Иисус и Звезда Вифлеема», «Крещение», «Поцелуй Иуды». Как-то, когда Хряк рисовал Кузе «Воскресение», я спросил просто и ненавязчиво:

— Ты что, в Бога веришь?

Хряк пожал плечами и продолжал рисовать.

— И в чуда веришь? — задал я очередной вопрос.

Тогда Хряк отложил карандаш с тетрадкой, посмотрел на меня с интересом и спросил:

— А ты? Ты сам во что-нибудь веришь?

— В себя, — дал я припасенный как раз для такого случая ответ.

Хряк задумался. Кивнул. Лицо его, совсем не походившее на свиное рыло, даже неясно, почему его так прозвали, из-за лекарств стало бледным и неживым.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Значит, всему есть объяснение, более или менее разумное, так?

Я кивнул и проглотил слюну — в горле пересохло. И тогда Хряк сказал:

— Ты молодец, Маяк, ты все правильно думаешь. Ты здесь с мая, если я точно помню?

В ответ на мое согласие Хряк продолжил:

— Тогда ты помнишь, что отопление в мае уже отключили. И если ты сейчас проверишь батареи во всех палатах, то убедишься, что все они холодные... Если тебе не трудно, проверь их, с первой по пятую.

То ли тон его заставил меня встать и пойти проверить батареи, то ли глаза его так таинственно сияли, что отказаться было невозможно, но я сделал то, о чем он попросил.

Батареи действительно были холодны, как могила.

— А знаешь ли ты,— спросил Хряк, когда я подтвердил его постулат о батареях,— что Ильдус ставил брагу три месяца: апрель, май и июнь? Проверь батарею в нашей палате.

Я пошел бы туда и без его приглашения...

К нашей батарее невозможно было прикоснуться. В ней было больше ста градусов, она шпарила, как паровой котел. Ради эксперимента я поднес к ней перышко, извлеченное из подушки. Оно начало тлеть. Однако краска на батарее не пузырилась, подоконник не обугливался. И тут, несмотря на волны жара, исходившие от батареи, мне стало холодно и зябко. Я вернулся к Хряку. Он дорисовывал «Воскресение» и, когда я тихо сел рядом с ним, сказал:

— Именно из-за того, что некоторые вещи нельзя объяснить...

— Например, как стрелять из пальца? — спросил я.

Хряк промолчал. Я решил, что он больше ничего мне не скажет, но он просто думал.

— И это тоже,— сказал Хряк,— хотя стрелять можно не только из пальца. И именно потому, что некоторые вещи не поддаются логическому объяснению, нужно хоть во что-нибудь верить. И лучше всего — в Бога. Кузя, готово!

Кузя, слегка смущенный, но счастливый, получил рисунок и долго его разглядывал. Потом он закрыл тетрадку и пошел в палату поплакать. Он всегда плакал над рисунками Хряка.

Жизнь в психушке текла своим чередом. Уколы, процедуры, каждый день похож на предыдущий.

Потом повесился косарь Аркашка. Его лицо было всем противно: прыщеватое, вытянутое, похожее на фурункул. Всякий раз, когда должна была случиться комиссия, он ходил грустный и предупреждал, что этой ночью будет вешаться. Он и вправду брал с собой простыню и шел в туалет. Санитарки уводили его оттуда, медсестра колола аминазин — и Аркашка засыпал сном младенца. Но тут что-то случилось, чего не понял никто: Аркашка никого не предупредил и повесился прямо в палате, на своих кальсонах. Его увидел ночью другой висельник, которого все звали Фазой Наебло. Это был огромный еврей, пытавшийся в части повеситься на проводах. Спасло его короткое замыкание — провод перегорел, и этот двуглазый Моше Даян рухнул с трехметровой высоты — вешался он на столбе. Он вскочил с койки, подхватил голого по пояс, если смотреть вниз, Аркашу и заорал благим матом:

— Аркашка вздернулся, суки!

Откачать Аркашу не удалось, он умер за полчаса до того, как его вытащили из кальсон. Удивительно в этой истории то, что бесшумно удавиться не может никто. Можно незаметно перерезать вены, можно травануться, даже застрелиться при желании можно без шума, а вот вздернуться в двух метрах от бодрствующей санитарки, да так, чтобы не слышны были хрипы, чтобы не опорожился ни мочевой пузырь, ни кишечник (а перед смертью Аркаша в сортире не был), — этого не может никто. Я долгое время пролежал среди специалистов, так что поверьте мне.

Однажды ночью, дня через четыре после смерти Аркаши, мы со Студентом разговаривали после отбоя. Он сказал:

— Мне Олечка проболталась. Только тихо. Вчера Аркаше письмо пришло. Там его девушка, видимо, пишет, что выходит замуж за другого, он из-за этого вздернулся.

Я хотел рассмеяться, спросить, откуда Аркаша мог знать содержание письма, если он даже не получал его, но вспомнил про батарею в нашей палате — и осекся. Наверное, действительно надо во что-то верить.

В сентябре, перед неудавшейся революцией в сольном исполнении Серёги-Акулы, выписывали Жору. Он был комиссован и демобилизован — сразу отправляли домой. В этот день поступила почта — писем двадцать, и санитарки, чтобы не создавать ажиотаж, решили сначала раздать письма и только потом выписывать Жору. Самым странным был тот факт, что все двадцать два письма из двадцати двух разных городов и адресованные двадцати двум разным именам предназначались Жоре. Почерки на всех конвертах тоже были разными.

— С чего ты взял, что все эти письма тебе? — спросила Татьяна Сергеевна, агрессивно протирая очки.

— Да во всем отделении просто нет людей с такими именами, — сказал Жора. И был прав — во всей психиатрии не было ни Вольдемара Фурье, ни Искандера Аджани, ни Хрунечка Карловитца. Жора взял письма в руки и стал вскрывать прямо перед дверью, запертой на ключ. Из конвертов он извлекал одинакового формата листки плотной бумаги. На бумажках были отпечатаны большие печатные буквы, и только однажды встретилась бумажка с черточкой. По мере вскрытия Жора раскладывал бумажки в ряд. И у него получилось: «Наконец-то тебя выписали». Двадцать два значка, если считать дефис.

Когда Жора уходил, дежурившая Олечка спросила:

— Так как тебя зовут, косарь?

— Если б я знал, — пожал плечами Жора и покинул наше отделение.

Самое странное, что в истории болезни Жору звали Серёжей Ивановичем.

А через неделю сошел с ума Акула.

В тот вечер была смена тети Тамары, Клавы-баптистки, Гульнаны Симонны и бабы Верьванны. Верьванна пересчитала больных, шестая палата опять пугала санитарок, Клава-баптистка, сухонькая, добрая, но строгая старушка, сидела с ключами у двери на наш этаж. Войти к нам можно только через эту дверь. Этажом ниже — выздоравливающие, но их этаж заперт таким же образом. А еще ниже, через пролет — выход на улицу, который перекрывает двойная железная дверь. Не здание, а сплошной контрольно-пропускной пункт. И вот Серёга решил устроить революцию. И даже уговорил психов, лежащих с ним в одной палате, поддержать его начинание. План был прост: вырвать у Клавы ключи, открыть двери — и поминай как звали. Заодно освободить всех пациентов психушки.

Серёга снова вырвал дужку кровати, пронес ее под полой халата мимо сестринского поста и, подойдя к двери, выхватил это немудреное, но в руках придурка весьма грозное оружие, после чего заорал Клаве:

— Давай ключи, сука, не то башку разобью! Это революция! Ребята, щас я вас вытащу отсюда!

Само собой, ничего бы у него не получилось. От железной двери, закрывающей выход из дурки, ключ был этажом ниже, а там в тот вечер дежурил Женя. Но все же убить Клаву Акула мог. И убил бы, если бы не Студент, который подскочил сзади и попытался вырвать из рук Акулы дужку. Какое там! Серёга держал свое оружие крепко, как, наверное, не каждый солдат держит в руках свое.

— Студент! — заверещал по-бабы Акула. — Отпусти, Студент! Они нас здесь как в тюрьме, а ты...

Студент был крупным парнем, с мускулами не столь гипертрофированными, как у качков, но стальными, какие можно развить только на тяжелой физической работе (на гражданке Студент был каменщиком), однако в одиночку справиться с маленьким и щуплым Акулой никак не мог...

— Студент! — продолжал кричать Серега. — Ты что, с ними заодно?! Предатель! Предатель!..

Потасовка длилась уже минут пять, придурки столпились вокруг и воспринимали происходящее как очередной веселый спектакль, когда дверь открылась с той стороны и к нам влетел Женя. Вдвоем со Студентом они кое-как отобрали у Сереги его дубинку, после чего тот сразу обмяк. Но это была военная хитрость... Студент тоже расслабился, Женя не успел его предостеречь, и маленький костлявый кулачок Акулы с размаху влетел Студенту по зубам. Губы лопнули, кровь брызнула в разные стороны.

Когда Акулу вязали, он пел «Интернационал». Даже не пел, а судорожно выкрикивал строчки песни, трепыхаясь в руках санитарок и Жени, как раненая птица или брошенная на дно лодки рыбешка. Акуленок. Кузя, следивший за этой процедурой с сожалением, позднее, в палате, качая головой, говорил:

— Может, и действительно... Может, и мог... На улицу...

Может быть. Хряк не разубеждал Кузю ни в чем, а я поступал, как Хряк. А Студент, который полулежал на своем матрасе с запрокинутой головой (Акула умудрился разбить Студенту и нос тоже), сказал, придерживая у носа тряпицу со льдом и с трудом шевеля разбитыми губами:

— А мог и баптистку порешить. С полпинка. А она его вареньем угощала, конфеты носила. Письма домой отправляла.

Отправить письмо из психиатрии фактически невозможно. Их вскрывают и подшивают к делу. Отправить письма можно только через санитарок, и не абы каких, а сердобольных, иначе ничего не выйдет. Баптистка действительно любила Серегу, подкармливала его, покупала ему конфеты, тетрадки, ручки. А за все это он мог разбить ей голову железной дужкой.

...Студент после удара схватился руками за лицо, и плохо пришлось бы Жене, если бы не Рома Селин, вставший на место Студента. Серега рвался, орал благим матом, лягался и пытался даже кусаться, словно в него бес вселился.

— Студент! О! — кричал Акула. — Ты предатель! Никто тебя не простит! Никто! Ты революцию пре...

Его уложили в койку и начали вязать. Зазвучал «Интернационал»...

...В ответ на аргументы, выдвинутые Студентом в свою защиту, Кузя задумался. Но потом вновь покачал головой и повторил:

— Может, и смог бы... — И через полминуты добавил: — На улицу очень хочется...

Да, больше всего, конечно, хотелось выйти на улицу. Всем без исключения. Например, я, несмотря на два месяца того времени, когда меня каждый день водили в хирургию, оставшиеся четыре месяца жил в психушке без единого выхода на свежий воздух. Раз в две недели во двор психиатрии выпускали выздоравливающих, чтобы они вытряхивали пыль из одеял, да и то лишь двоих... Психи с нашего этажа выстраивались у окон и завидовали. Не скажу, что это была клаустрофобия, но крыша у многих, и в частности у Акулы, съезжала здесь именно из-за полного отсутствия прогулок.

Остаток сентября прошел без революций. Акула ходил по отделению одиноким водолазом, запичканный лекарствами по самые гланды, но при встрече со Студентом отворачивался и плевался. Студенту это было неприятно, однако он терпел.

А первого октября к нам поступил старослужащий по имени Герман. Было в нем что-то от первобытного арийца, какими я их себе представлял: самоуверенность, чувство безнаказанности, грубая физическая сила. Он был разрядником по боксу и залетел к нам после мордобоя, устроенного офицеру. По идее, этого отморозка следовало отправлять напрямиком на дизель, но в штабе кто-то посчитал, что Герман был не в себе, и его отправили на освидетельствование к нам.

Лучше бы не отправляли...

Его положили в пятаю, но он решил самоутвердиться на всем этаже. В пятой жили «деды», в третьей — офицеры, то есть эти две палаты отпадали автоматически. Покорение психушки он решил начать с нас, с шестой.

И, как оказалось, все мы, то есть каждый в отдельности, учитывая даже наше пребывание в этом гостеприимном доме, не прослужили и девяти месяцев.

— Вы че, духи, приборзели? — начал грузить базаром Герман. — Короче, каждое утро застилаете у нас шконки, каждый вечер — расстилаете. Все!

Сначала мы оцепенели от такого потока информации. Потом каждый из нас ощутил неприятный холодок в груди, однако тут в бой вступил Студент, который был на голову выше Германа:

— А хрен тебе не завернуть в целлофан?

Голос его был спокойным, но я-то видел, как дрожат его колени. Почему мы так дрожим перед отморозками? Герман тоже заметил дрожание конечностей и пошел на Студента, чтобы показать, кто здесь хозяин.

Все произошло очень быстро. Пока Герман делал шаг, Хряк подставил ему подножку. На долю секунды «дед» потерял равновесие, но Хряку хватило и этого, чтобы перекинуть со спины Германа на его голову длинный халат из плотной бежевой ткани и нанести короткий удар коленом в солнечное сплетение. Студент и Бобка накинулись на интервента, как борзые на волка. Ильдус и Борода сидели в углу, но очень одобряли происходящее. Молчун, все еще молчавший, с энтузиазмом колошматил Германа. Через полминуты, или чуть больше, завернутого в собственный халат «деда» оставили лежать посреди палаты скрюченным. Я стоял на стреме, но опасности не было: среди бела дня в психушке обычно ничего не случается, и санитарки сидят у дверей и треплются за жизнь. Так было и на этот раз.

Халат начал шевелиться. Герман был зол и напуган и разорвал бы любого, однако мы были заодно, и он только что прочувствовал это на своей заднице. Он встал: сначала на четвереньки, потом во весь рост.

— Я... — открыл Герман рот, но его оборвал Хряк. Вид и голос Хряка заставили Германа испуганно замолчать.

— Еще раз нарисуешься — отхреначим насмерть. Всосался? Все, исчез...

Герман выполнил эту команду, хотя и не очень быстро.

— Все, — расслабился Студент. — Больше он не заявится.

Хряк скептически скривился: мол, вряд ли, — и добавил:

— Он из моей части. Таких мочить надо.

Наверное, только я увидел, как он сжимал в руках невидимый автомат. И Хряк, к сожалению, оказался прав. Герман ни в одной из палат не нашел жертв — все держались вместе. Первую палату, а заодно и вторую защищал Рома Селин, который, как оказалось, был чемпионом Хибаровского края по боксу в тяжелом весе. В четвертой был свой «дед», не до конца прогнивший и пославший Германа по всем известному адресу. И Герман решил найти кого-то одного, будущего раба. И выбрал Кузю. А чтобы сломить его окончательно, Герман решил...

...Седьмое октября. Уже вечерело, недалеко было до отбоя. Студент подвязался вымыть коридор — для разминки — и всю махал шваброй. Хряк чи-

тал, Кузя прогуливался по коридору. В это время один из «дедов» воровато подозвал Кузю к себе, огляделся и втолкнул его в пятую палату. И видел это только Молчун.

Как потом оказалось, молчал Молчун специально, чтобы все думали, что он онемел после побоев (его жестоко отметили «деды» и комвзвода, младший лейтенант). Молчуна уже комиссовали, на днях за ним должна была приехать мать, но он из осторожности продолжал молчать. Однако увидав, что собираются сделать с Кузей, он влетел к нам и просипел:

— Пацаны, Кузю опустить хотяя!..

— Блин!..— вырвалось у Хряка. Он вскочил на ноги, выглянул в коридор и увидел Студента. Со шваброй в руках.

Господи, как медленно он шел к Студенту, чтобы не привлечь внимание санитарок! Как долго втирал Студенту, что ему нужно взять швабру и ведро и идти к пятой, только не спеша. И как долго шел сам Студент.

Но он успел. Непоправимое еще не случилось. Кузя стоял на коленях перед койкой Германа, а тот со спущенными штанами стоял на коленях на койке. «Де-ды» с замиранием сердца смотрели на это безобразие. Они были «за» всеми конечностями.

— Бери его,— распоряжался Герман,— только нежно.

«Де-ды» негромко заржали. И в этот момент еле заметным движением швабры забывший о своих обязанностях часовой был заброшен на одну из шконок. Все в пятой замерли, даже Герман не изменил позы. В дверях, сжимая швабру, как автомат, стоял Хряк.

— Ты что, гнида, забыл, что в апреле было? — спросил Хряк у обомлевшего Германа.— Руки вверх, падла!

Руки Германа дернулись, но не поднялись. Он гадко ухмыльнулся:

— Ты забыл, Касьян, у тебя тогда автоматик был, а не швабра.

— Это ты забыл,— сказал Хряк, и в палате отчетливо послышался звук передергиваемого затвора.— Автоматик-то был незаряженный. Да и ненастоящий.

Видимо, Герман знал об этом, но не хотел верить. Или не мог. Однако сейчас поверил. И побледнел. И захотел что-то сказать, но было слишком поздно.

Хряк рывкнул:

— Кузя, ложись!

Кузя плюхнулся на пол, и в тот же миг рывкнула уже швабра. Выстрел был настолько громким, что в палате треснули стекла, но сквозь этот грохот я вновь услышал щелканье затвора.

Хряк не застрелил Германа, он просто начисто снес ему предмет его мужской гордости. Умер Герман через полчаса, от потери крови.

На выстрел и душераздирающие вопли Германа устремилось все отделение, но в коридор вышел Хряк со шваброй, похожий на Терминатора, выстрелил в потолок и заорал:

— Сми-ирна!

Все отделение смолкло. Вновь щелкнул затвор.

— Я только что застрелил Германа Аксенова,— хладнокровно продолжал Хряк.— Уверяю вас, что иначе поступить было нельзя. А теперь я попрошу вас, Татьяна Сергеевна, открыть дверь и выпустить нас. Обещаю, что никто не сбежит.

Татьяна стояла вся бледная, но дверь не открывала. Тогда Хряк выстрелил по двери, и на месте замка образовалась дыра диаметром где-то тридцать сантиметров.

— Никому не рваться с места! — процедил Хряк.— Все выйдем. На прогулку дается полчаса.

Мы вышли вслед за Хряком. Навстречу нам по лестнице мчался заведую-

щий отделением, подполковник Круглов. Лысина его имела цвет помидора. Хряк выстрелил у него перед ногами.

— Товарищ подполковник, — сказал он, — я собираюсь покинуть госпиталь и поэтому прошу выдать мне мою форму немедленно, до прибытия вооруженного патруля. Если, — добавил Хряк, — вы не хотите лишней крови. А пока откройте ребятам дверь. Пусть погуляют.

Круглов затравленно оглядел нас, потом о чем-то подумал — и успокоился.

Без лишних вопросов он отпер нам дверь, а сам вместе с Хряком пошел в кладовую.

Мы ждали Хряка на улице, во дворе дурки. Кто-то курил настрелянные у офицеров сигареты, кто-то просто бродил вдоль четырехметрового забора. Наша палата стояла и ловила на ладони хлопья падающего снега. Первого в этом году.

— Хорошо, — сказал Кузя. — Как дома во дворе. Только сарая нет.

Он уже начисто забыл об угрожавшей ему всего несколько минут назад опасности. Но мы согласились с ним: да, хорошо. Из дурки вышел Хряк, в форме, но без швабры. В руках его был веник.

— Многоствольная пушка, — объяснил он.

Потом, оглядев нас, сказал:

— Ладно, парни, пойду я.

И ушел, пожав нам руки и обняв на прощание Кузю. Прострелил дыру в заборе — и ушел. Мы же дождались патруля и вернулись по палатам. Снег продолжал идти, и наутро весь двор был белым.

Студент потом кое-что разнюхал. Тоже, кстати, большая странность Студента — быть в курсе всех событий. Вся информация, которая была хоть немного не для больных, просачивалась к нему сама по себе. Через пять лет после того случая Студент позвонил ко мне домой — откуда бы вы думали? — из Главного разведывательного управления. Он стал главой информационного отдела и знал практически все, что происходит в мире. В том смысле, что *на самом деле* происходит. Дали ему звание полковника — в двадцать-то пять лет! — и целый букет психов, утверждающих, что они ясновидящие.

— Ясновидящий среди них только один — я, — скромно говорил Студент. — Но они все потрясающе хорошие информационные проводники.

Звал к себе в гости. Я отказался и уже совсем собирался спросить о Хряке, когда Студент сказал:

— Не надо. Мы его не трогаем — и он пусть никого не трогает. — И положил трубку.

Хряк, то есть Владимир Касьян, служил пограничником. На их заставе среди старослужащих были только двое молодых — Касьян и капрал Дымов, оба только что из учебки. В первую же ночь, когда Дымов и Касьян спали, им устроили «дружеский прием», заставив полотенцами «выгонять зиму» из казармы. Дымов отказался сразу, за что его огрели табуретом по голове. И туго пришлось бы Володе Касьяну, если бы не висевший на стенде рядом с ленинской комнатой макет АКМ. Он сорвал фанерный автоматик со стены и открыл огонь, в результате чего погибли десять человек, то бишь половина личного состава заставы. Нашли Касьяна сидящим на полу рядом с трупом убитого табуретом Дымова. На время следствия определили в психушку.

Кузя слушал и разглядывал рисунок Касьяна.

— Он хороший, — наконец решил он. — Он со мной разговаривал. И дружил.

— Угу, — кивнул Студент. — И балду Герману отчекрыжил. Чтобы зря не болталась, ляжки не терла.

Черт его знает. Ни осуждать, ни одобрять Касьяна я не мог. И вот почему: на следующий день после прогулки под первым снегом меня повели в хирургию.

— Ай, блин, опять опаздываю! — суетился мой доктор. — В общем, Янгиргин, слушай, быстро говорю. Во-первых, документы твои будут через месяц, стопудово, кончается твоя тюрьма. Во-вторых, сынок, операция вряд ли состоится, сам понимаешь. И в-третьих: ты их знаешь? — и показывает мне четыре фотографии. Я пригляделся — ё-моё! Это ж те, что меня гвоздями!

— Нашли?! — спрашиваю.

Действительно, нашли. Лежали они рядком, все четверо, у каждого в области сердца по огнестрельному. Всё в кашу размолочено, но — ни пуль, ни гильз! А самое главное — у каждого в макушке по гвоздю.

Я, сам того не ожидая, выдохнул:

— Хряк!

— Кто?! — всполошился Ай-блин.

— Вовка Касьян. Он вчера вечером сбежал.

— Ай, блин... — только и сказал мой доктор.

...Бесовское ли племя был этот Касьян или ангел во плоти — не знаю и знать, честно говоря, не хочу. Как он их нашел? А может, случайно встретились? Я представляю себе испуганные лица моих убийц, когда обыкновенный веник стреляет по ним картечью. И лицо Хряка, освещенное вспышками четырех выстрелов...

Раз в год и палка стреляет. Да только кто эту палку заряжает? А перезаряжает?

Действительно, во что-то надо верить.

И лучше всего — в Бога.

Но Бог ли заряжал швабру?

г. Соликамск



Наталья МУРОМСКАЯ

Компьютерная мышь

Блестит луна. Шумит камыш.
Журчит в ручье вода.
Бежит компьютерная мышь
Неведомо куда.

Ей страшен виртуальный мир,
Как ястреб и змея.
Стрелки спешат в огромный тир:
Мишени — ты и я.

Строка с мольбой несется ввысь.
Ответа нет как нет.
Как уберечься, как спастись,
Не скажет Интернет.

Ты на прицеле, ты кричишь.
Такие вот дела.
На пол компьютерная мышь
Спрыгнула со стола.

Она забила под диван,
Напившись молока,
И на компьютерный экран
Глядит издалека.

Какая гладь! Какая тишь!
Компьютерный покой.
Спаслась компьютерная мышь.
А как же мы с тобой?

г. Москва



Принц Уэльский

РАССКАЗ

На ту пору явился Law...

А. С. Пушкин

Лет пять назад я очутился в Москве без копейки денег. Меня приютил дядя — комендант общежития Пролонгированных литературных курсов на улице Садриддина Айни, 4. Правда, когда я ехал к нему под дождем от метро «Беговая» (которое, по странному и смешному контрасту жизни, соседствует с «Полежаевской»), я еще не знал, что они «Пролонгированные». Да и не до того мне было. Лил такой дождь...

Однако про самого Садриддина Айни я, разумеется, слышал. Он зачинал таджикскую советскую — или, не исключено, казахскую советскую, но, моему, все-таки таджикскую — литературу. И он ее зачинал вместе с Горьким. Для чего приезжал в Москву. (Я почти уверен, что дело было именно так, а не, допустим, Горький приезжал в Таджикистан.) «Дорогой Садо,— сказал ему Горький,— сядем рядком и поговорим ладком». Этот момент изображен в вестибюле общежития во всю стену первого этажа, левее бюста Ленина, выцветшими от времени водяными красками на штукатурке. Лиц обоих классиков теперь уже не разглядеть — вместо них расплывшиеся коричневые пятна. Видно только, что и Айни, и Горький — оба в тюбетейках и что Алексей Максимович именно на этой фреске как-то особенно худ, высок и сутул.

— Ну и что же мне с тобой делать? Воды-то с тебя сколько, перемать...

— Не знаю, дядя. А только мне теперь больше некуда. Придумай что-нибудь, эта ведьма все новых денег требует! И уже только в долларах... Ну выручи. Ну пожалуйста! На три дня...

— На три дня, на три дня... — пробурчал дядя, шевеля усами и неприязненно глядя на меня. И вдруг взорвался: — Вырастили гуся! Разговаривает-то как, а? Дипломат ...ый! А через три дня родной дядя тебя должен на улицу выпнуть? Под дождь? Пришел с бедой — так и говори! Сто раз повторяли,— повернулся он к Горькому,— сто колов у этого гада на башке пообтесали, что так ему в конце концов и будет! Нет, полез... — И дядя перевел дух, словно ожидая ответа. Но так как ни оба классика, ни Ленин не торопились отвечать, а я лишь тупо разглядывал грязно-золотую надпись церковнославянской вязью «ДОРОГОЙ САДО! СЯДЕМ РЯДКОМ И ПОТОЛКУЕМ ЛАДКОМ!», дядя плюнул, еще раз внимательно оглядел нас четверых и, пробормотав: «Стихоплет!», начал действовать.

Пока я в его комнатке вытирался сухим полотенцем и пил чай, он обошел все полтора этажа (почему полтора — скажу чуть позже) и не раз с кем-то говорил. Я это знал через вентиляцию: она — стоило кому-либо в какой-либо комнате открыть рот — начинала глухо, эсхатологически гудеть, словно бы Везувий ворчал над обреченным городом Помпеи. Если б я себя получше чувствовал, мне на ум, наверное, пришло бы еще что-нибудь возвышенное:

грозовые тучи, или шум моря, или орган. Но я был голоден, и мне показалось, что старый дом вроде как что-то проглотил и теперь задумчиво прислушивается к себе, чтобы решить: стоило ему это глотать или нет, и если нет, то не пора ли от этого избавиться?

Когда дядя вернулся, по его хмурому широкому лицу я понял: пищеварение далеко не закончено.

— Ну вот что,— сказал он, пристально оглядев свой стул и затем садясь,— это все чепуха, что я ходил. Мог и не ходить. Сунуть тебя я, конечно, в любую комнату сунул бы — со мной никто ссориться не будет. И матрац найдем... Но через два дня узнает Праскухин. Ведь у всего вашего брата пер... пер...— Он сморщил лоб и пощелкал пальцами.— Слово забыл! Хорошо один ваш критик сказал недавно в актовом зале, когда речь толкал... ну, еще про стрижку такое говорят...

— Перманентная? — осторожно выглянул я из-за бутерброда.

— О! Точно. Перманентный словесный понос. До того он это прав, что я, пожалуй, запишу на память... Словом, узнает Праскухин, и мы с тобой оба под дождь пойдем.

— Что же делать?

— Не знаю!

И я сразу понял: знает. Но борется с собой.

— Я уйду,— почти искренне сказал я.— Не хочу я, чтобы вас из-за меня...

— Помолчи, Тургенев... Дай подумать.

Думал он минуты две, крутя головой, и наконец решил:

— Значит, так. Я тебе скажу большую тайну. Точнее, ничего я тебе, перемать, не скажу, а просто поселю тебя с одним мужиком. Он тебя не тронет, и ты его не тронешь. Авось поладите... Он сейчас спит.— Дядя почтительно поглядел на потолок в зеленых водяных разводах.— Ему по ночам язык чесать не приходится, у него работа тяжелая. Я ему утром поклоняюсь, чтоб пустил тебя в уголок, а там, через месяц-другой, может, поселим тебя легально...

— Дядя! Милый! Спасибо...— Я вскочил и крепко пожал ему руки.

В ту же секунду передняя левая ножка стула скользнула вбок под углом сорок пять градусов и дядя со сдавленным «Ып!» очутился на полу.

Следующие пять — семь минут я описывать не буду, да и что они меняют по существу? Это мой дядя, и другого мне не надо. Вскоре мы уже поднимались на второй этаж.

— Никто не знает, что он тут живет,— шептал дядя из темноты.— У нас с ним условие такое. Да никто бы и не разрешил: то крыло опасно для жизни. Ни СЭС, ни пожарники не велят... Если б я простенок кирпичный не сложил — закрыли бы всю общагу. Я там официально держу санфаянс и мелкий инвентарь.

— А фактически? — осмелел я.

— Увидишь...

Мы прокрались по спящему чернильно-лунному этажу к железной двери с крохотной замочной скважиной. Я ожидал, что дядя зашарит по карманам в поисках ключа. Но он, убедившись, что вокруг никого, вдавил в стену один из кирпичей, примыкающих к дверному косяку, сунул руку в темное отверстие, отодвинул внутренний засов и лишь затем пустил в ход ключ. Хорошо смазанные петли не издали ни звука.

«Словно к людоеду в пещеру»,— подумал я, и в голове у меня завертелись какие-то пилы, крючья, бочки с серной кислотой, а в центре всего, как водится, мой обезображенный труп. Но в темном гротике, где с потолка стеклянно капала вода, поэтическое воображение утихло. Здесь ничего не было, кроме груды битых унитазов, ржавых тазообразных емкостей и каких-то пыльных бутылей с темными жижами — не иначе как старыми красками и олифами.

— А где же?.. — начал я, хотя едва ли это было умно — спрашивать, где тот, кто съест меня.

Дядя обогнул пылящиеся в темноте пиреней и, подойдя к задней стене сокровищницы, пригляделся к ней. Я пригляделся тоже и увидел темную щель в штукатурке. Пролезть в нее, по-моему, могла бы разве что муха, но дядя как-то наклонился, вставил в верхнюю часть щели плечо, а в нижнюю — ногу и начал исчезать.

— Давай! — сипло бросил он мне.

Я заскребся следом, жалея о своем единственном приличном костюме, но, к моему удивлению, почти не запачкал его. При ввинчивании под нужным углом щель резко и сразу расширялась. В глаза мне ударил слабый свет, а ноздрей коснулся ароматный запах, отгоняющий сырость и гниль. Я поставил ногу на что-то сухое и мягкое и огляделся.

Мы находились в небольшой теплой комнате, оснащенной мощными электрокалориферами и с окном, закрытым явно недешевыми металлическими жалюзи. Здесь не было ни сталактитов, ни грибка, хотя желтые разводы на потолке и слабый запах плесени еще боролись за существование. Ни мебели, ни вещей. Только на полу лежал толстый пушистый ковер из волокнистого, очень нежного синтетика. В центре ковра помещался огромный матрас с подушкой, а на матрасе, укрывшись стеганым одеялом, кто-то спал. У изголовья спящего горела желто-розовым светом тайваньская лампа, и в ее овальном царстве я заметил два темных продолговатых предмета, стоящих по обе стороны подушки. «Сигнализация?» — подумал я, но сладкий и свежий запах, исходящий от предметов, заставил меня взглянуться: это были флаконы дезодорантов со снятыми колпачками.

— Ничего себе... — растерянно сказал я, сам еще толком не осознав, что именно меня так поразило, и повернулся к дяде. Но мой суровый родич, вытянув шею, как мать над колыбелью, уже склонился над матрасом.

— Петенька,— заискивающе прошептал он,— вы бы на секундочку не проснулись? А?

Высунувшись из-за его плеча — взглянуть на «Чикатило»,— я был потрясен. В розово-желтом круге света на подушке покоилась голова сладко спящего мальчика лет четырнадцати-пятнадцати. Ни в бледном лице, ни в спутанных волосах цвета свежей соломы, ни в беспомощно приоткрытых губах не было ничего не только людоедского, но даже просто уличного. Передо мной лежал школьник-аккуратист, лучшая флейта района и «кумир семьи», как гадливо выражается по поводу этих замечательных созданий отечественная педагогика.

— К... кто это? — как во сне спросил я. Мальчик глубоко вздохнул и, повернувшись на спину, открыл серые, ничего не видящие глаза.

— Это, Петенька, мой племянничек... тихий такой, ненавязчивый... Обокрали его на Киевском вокзале худые люди, последние деньги вынули, ночевать не на что... Уж позвольте ему пару ночей в комнатке за питомником голову приклонить! Я за него ручаюсь, а с вас, голубчик, брать за те дни, пока он тут, буду половинную денежку. А?

Я был так поражен лстывым дядиным голосом и «Киевским вокзалом», что окончательно уверился — передо мной лежит какое-то юное чудовище, сумевшее поработить нахрапистого деревенского мужика. И, когда мальчик, сонно глянув на меня, пробормотал что-то жалобно-невнятное и закрылся одеялом — спать, мол, дайте! — а дядя обрадованно засуетился у его ложа, я как-то не ощутил в себе радости.

— Может, и правда... на вокзал? — неуверенно сказал я.— Убыток вам причиняю...

— А ты молчи, идиот! На вокзале тебя обчистят, а убыток ты мне причинил тридцать лет назад. Вот тогда бы и каялся! Пойдем... а то проснется.

Последний довод стоил всех остальных, так что я поспешно отступил в тень вслед за дядей. Он открыл своим ключом дверь в какой-то коридорчик без окон — прямо напротив щели — и втокнул меня туда. В коридорчике царила неопишуемая гадость. Со стен свешивала сырые челюсти отставшая штукатурка, пол и потолок прогнили, удушливый запах мокрой тряпки смешивался с чем-то знакомо-сладким. Из-под ноги моей покотился сшибленный флакон дезодоранта, и, пока дядя матерясь искал его во тьме, я понял, что не меньше пяти-шести таких флаконов стоят двумя рядами на нашем пути вдоль стен.

К счастью, коридорчик был невелик. Он закончился еще одной дверью, как ни странно, сухой и чистой, а за ней стыдливо существовало такое же помещение, как и то, где спал сейчас мой будущий убийца. Это было необъяснимо, но моя комната оказалась явно лучше той, с ковром и калориферами! Окно, правда, забило досками, однако неплотно, благодаря чему здесь не пахло гнилью. И палас на полу был совсем новый... Правда, и тут почему-то я не увидел мебели — просто четыре стены. Только в углу, в нише, стоял маленький холодильник «Сименс». Десять минут спустя, разместив сохнувшие пожитки во встроенном шкафу, я уже лежал на новеньком матрасе посреди своих новых владений. Не было сил ничему удивляться и строить догадки. Я заснул и во сне долго бродил по гнилым черным коридорам, а по пятам за мной скользили два холодильника с усами и в тубетейках. Однажды я попытался открыть их и чем-то подкрепиться, но в одном из них оказался дядя, в другом — Киевский вокзал. Я почувствовал себя преступником и начал беззвучно просить пощады, однако холодильники внезапно забыли обо мне и начали ругаться друг с другом. Я напрягся и услышал: «КАК МЫ БУДЕМ ЕЕ ЗАЧИНАТЬ — ЗДЕСЬ ЖЕ НЕ НА ЧТО СЕСТЬ»... Потом оба, слегка отступив для разбега, распахнули дверцы и кинулись на меня, я завыл и проснулся.

Я был спасен, но голоден, комнату заливал слабый утренний свет, а на пороге стоял ночной мальчик и, сунув руки в карманы халата, смотрел на меня. Чувствуя себя как после тяжелой болезни, я приподнялся на локте, соображая, что бы сказать в защиту своего — уже немилого — пристанища. Едва ли меня ждала легкая беседа, учитывая, что дядин договор был заключен со спящим человеком. Следовало для начала понять, с кем я говорю, и, так как я неплохой физиономист, я тоже уставился на моего нового хозяина.

Прежде всего никакой это был не мальчик. Меня подвели слабый свет лампы и, так сказать, обманутое ожидание страшного. Передо мной был молодой человек лет двадцати двух, может быть, даже двадцати пяти, с тонким, живым и совсем не злым лицом. Вдобавок он был сейчас умыт и тщательно причесан, что придавало ему благообразный и даже несколько изнеженный вид. Впрочем, это ему, пожалуй, шло. Но, конечно, контраст с ночным впечатлением сильно поразил меня. А через несколько секунд, когда портрет молодого человека в халате и шлепанцах был готов и моя — хм — невыспавшаяся третьяковка смогла замечать еще что-то, я удивился двум вещам.

Во-первых, халату. Сколько он стоит — это пускай решают в Лужниках или в иностранных секциях ГУМа, но я просто никогда такого не видел! Он был, как... груда страусиного пуха, которой не страшны никакой сквозняк, никакая общага. Да что там! Зимой на улице он мог бы заменить шубу. Словом, мечта Обломова, и юноша буквально утопал в нем, выглядывая из него, как из верхнего этажа своего дома.

А во-вторых, меня удивило, как он меня разглядывал. В его лице не было ни малейшего неудовольствия или, наоборот, приветливости. Он смотрел на меня серьезно, вдумчиво, как математик на сложную теорему, вынырнувшую

вдруг посреди его будничных расчетов, и хорошо это или плохо — он еще сам без понятия. Я тогда не знал, что эта сосредоточенная и даже трогательная серьезность — одно из главных свойств его характера, но почувствовал, что он, как и я, подчиняется первому впечатлению и что если мы сейчас не поладим друг с другом, то не поладим уже никогда.

Он улыбнулся и хрипловатым после сна голосом сказал:

— На чем же вы здесь будете сидеть?

— А вы? — осторожно вступил я, как и он, опуская приветствия.

— А мне не нужно. Я или бегаю, или сплю. Позвольте выразить вам сочувствие.

— За что? — поперхнулся я, и в мозгу пронеслось: «Выгонит?!»

— Как за что? Вас же ограбили. Мне ваш дядя сказал.

— А, да... Спасибо! Это был просто ужас, знаете ли...

— Надеюсь, их поймают,— продолжал юноша.— Вы хотя бы успели их разглядеть?

— Мм... мельком. Они были такие... худые,— сказал я.— Они это с голоду, я думаю. Да и деньги-то были небольшие. В общем, ерунда, и не стоит говорить.

— Так вы, значит, совсем без средств?

Он спросил это с искренним сочувствием и так, словно мы были старыми приятелями. Я окончательно понял, что выдержал экзамен, и решил не врать.

— Что вы, что вы! У меня все в порядке. Вот только с жильем...

— Я не возражаю,— сказал юноша.— То есть, в принципе, я очень возражаю, у меня с вашим дядюшкой условие такое: никого постороннего. Я, видите, здесь от фирмы, с ценностями дело имею, и получается как бы... нелегальная субаренда, о которой никто не должен знать. Но вы — дело другое. Вы родственник, у вас беда, и потом я вижу, что вы человек порядочный. Вы же не будете шуметь ночью?

Я горячо заверил, что не шумлю, не пью и даже не курю и что буду незаметнее мухи.

— Не слишком удачное сравнение,— усмехнулся молодой человек.— В общем, живите! Я вас не тороплю. Мне здесь и скучновато одному, честно говоря. А если еще честнее — мне ваше присутствие даже выгодно.

— Это как? — насторожился я.

— А вот так. Я дяде вашему плачу кругленькую сумму за каждый день. Шутка ли — полэтажа! А с вами — вполовину меньше. Так что если будете на мели — не стесняйтесь. Выручу.

«Добрый»,— подумал я. Впрочем... его фирма, наверное, не узнает ни обо мне, ни о половинной стоимости субаренды. Бумаг-то никаких! И эту разницу ночной мальчик может преспокойно положить в карман своего страусинового халата. Вследствие чего не просто мне всегда одолжит, но и едва ли напомним об одолженном. Нет, все равно мне, кажется, повезло с соседом! Но где же я его видел?

— Знаете,— не выдержал я,— я вот все думаю, где мы с вами могли встречаться? Я не мог вас видеть у знакомых литераторов?

Он внимательно и серьезно посмотрел на меня, словно ребенок в детсаду на сомнительную манную кашу.

— Если вы меня и видели,— веско сказал он,— то я вас — никогда. Да и где вы могли меня видеть? Я сюда недавно из Владивостока. Пойдемте завтракать?

Я поблагодарил и хотел отказаться, но мне вдруг стало любопытно, что кушают подобные господа. Да и не объем я его, это очевидно. Я спросил, где тут умыться, и пообещал, что через четверть часа буду готов. Он кивнул и направился к себе.

— Да,— спохватился я и сообщил ему в спину: — Меня зовут Виктор. А вас?

— Ох, извините... Я тут и правда одичал уже.— Он слегка поклонился: — Шелковников Петр Иванович, торговец эксклюзивными насекомыми.

Так началась моя совместная жизнь с Петенькой. «Иванович» отпал сразу, «Петя» — дня через два. Я быстро понял, чем Петенька добился лилейного отношения моего дяди. Не деньгами — хотя деньги тут были, и хорошие. Уступчивостью? Да, конечно. Но ведь уступчивых людей не так уж мало, особенно когда вы им нужны. Нет, Петенька брал не этим. Просто, знакомясь с ним, человек сразу чувствовал его дружелюбие, свободное от всяческих расчетов и готовое забыть на этом пути свои интересы. Мало того, Петенька умел взбудоражить вас, как никто, азартными рассказами о своем прошлом, настоящим и будущем и о том, каково могло быть ваше грустное прошлое, прокисшее настоящее и неизвестное будущее, если бы вам повезло встретить его хоть чуткою раньше; причудливым бытом, где сочетались блеск и нищета без середины; и даже вкусной, диковинной едой на желтой и потрескавшейся дядиной посуде.

Однако что окончательно добивало жертву — это почти религиозная серьезность, с которой он о чем-либо рассуждал. Я до сих пор не знаю, где он подцепил столь избирательное чувство юмора. Он мог, конечно, отпустить и острое словцо, и едкое замечание, но вряд ли был способен заметить комизм собственного поведения. О том, чтобы посмеяться над присутствующими, не было речи — они автоматически находились под Петенькиным протекторатом и за одно это прощали ему все. Словом, если не считать того, чем он с утра до вечера занимался, это был настоящий джентльмен.

Чем же он занимается, какими насекомыми торгует — я сразу решил не лезть к нему с вопросами. Захочет — расскажет. Тем более что он, кажется, не скрытен. Уж какое это общежитие ни есть, я достаточно уважаю литературу, чтобы не строить непристойных догадок, да и кому на рынке нужны тараканы, блохи, вши? И это не эксклюзивы... по крайней мере в Москве.

На завтрак в тот первый день не оказалось ничего особенного — вчерашняя греческая пицца, впрочем, весьма недурная. Зато к ней Петенька угостил меня чудесным голландским фруктовым ликером «Мисти», крепким, согревающим и приятно кружащим голову. Мы уселись на моем паласе, поджав ноги, и я всячески уговаривал себя, что не нарушаю приличий. Но когда он выудил из холодильника огромную гроздь испанского винограда, я заерзал.

— Невкусно? — спросил он. — Вы уж простите, все вчерашнее, но я не знал, что у меня будет гость. А вот на ужин мы что-нибудь придумаем...

— Спасибо, все очень вкусно, но... у меня нет денег так питаться.

— Не забывайте, что я у вас в долгу.

— Может быть, все-таки я буду готовить себе отдельно.

— Тогда давайте утром и вечером вместе пить кофе,— предложил он, и я тут же согласился.

Потом он ушел на весь день, надев двубортный костюм, солидный горчичного цвета галстук и взяв пузатый портфель с номерным кодом — все как полагается. Пришел вечером, изрядно усталый и снова напоминающий подростка, напялившего для солидности взрослый костюм.

— А у меня кенгурятина есть,— сказал он вместо приветствия.— В гостинице «Россия» дали. Нет, я вам не навязываю! — вдруг спохватился Петенька, слегка покраснев.— Но, может, просто попробуете... из любопытства?

И я понял, что он действительно вовсе не хочет унижить меня своими деликатесами или поставить в неловкое положение, а просто любит удивить и обрадовать, и, наверное, раз двадцать прикинул по дороге, что он мне скажет, и что я отвечу, и как себя вести при триумфе или отступлении, но отказаться от

такого жеста в принципе — выше его сил. Я горячо заверил, что всю жизнь мечтал отведать кенгурятины, а вот лягушачьи лапки — хоть в тесте, хоть без — обойдутся без меня. Кенгурятина по вкусу напоминала телятину, я поел с удовольствием, но главное, с этого момента мы окончательно «притерлись» друг к другу. (Петенька, правда, честно предупредил, что в далекой Австралии такое мясо... гм, не то чтобы не деликатес, а просто... не всегда предназначается для человека. Я ответил, что по российским понятиям я как раз не человек, и мы хорошо посмеялись.) С тех пор то он мне что-нибудь скармливал, то я ему, а кофе с ликером пили всегда вместе.

Все это было прекрасно, но где же я его видел? Где?

Чем он торгует, я узнал уже на следующий день, чуть не отправившись при этом на тот свет. Всё произошло внезапно: я сидел по-турецки на своем паласе и вкушал так называемую «быструю» лапшу с чайком, как вдруг дверь из коридорчика распахнулась и на пол моей комнаты с придушенным свистом рухнул Петенька в своем умопомрачительном халате. В первую секунду мне показалось, что у него падучая, и я, закашлявшись, кинулся на помощь. Но тут же понял, что свист исходит вовсе не из Петенькиного горла, а из странной не то колбы, не то клизмы, зажатой у него в руке. Это была, пожалуй, их помесь — пластиковый сосуд с длинным носиком и эластичными стенками, всасывающий воздух от нажатия на них. С воплем «Замрите!» Петенька начал шарить этой клизмой у моих ног, а мне теперь и впрямь было не до него. Я жестоко подавился и зашелся судорожным кашлем, согнувшись в три погибели, так что пришлось уже Петеньке, оставив свои ползания, устремиться мне на помощь. Минут пять он стучал меня между лопаток, отпавивал водой, рассыпавшись в извинениях, и отнял-таки у смерти. Придя в себя, я, разумеется, простил его и не без досады спросил, что он ищет.

— Одна вырвалась! — с еще большей досадой сказал он.— Но она где-то здесь. Надо только посидеть минуты две тихо, она решит, что погони больше нет, и опять засветится. Они, как люди, — глупые, но хитрые.

Я не успел спросить — да кто она-то? Петенька вдруг окаменел, и только левая рука его с зажатой клизмой начала жить бесшумной, вкрадчивой жизнью. То есть сначала правая, свободная конечность вдруг стала вытягиваться в его тело, а левая, как у куклы, соответственно удлиняться. Было даже страшновато смотреть, тем более что ни головой, ни телом он двигать не решался. Ноги же в конце концов двинулись, и боком, как краб, он сместился влево. Китайский балет закончился неожиданным прыжком, коротким «пфф!» и довольным вздохом.

— Поймали?

— Да!

— А... где она?

— Вот,— усмехнулся он, показывая мне пустой сосуд с носиком, уже закрытым сетчатой насадкой.

— Я не вижу,— сказал я осторожно, хотя на розыгрыш все это не походило. (Петенька и розыгрыш — это несочетаемо.)

— Айн момент.

Он поднес фиал к моему лицу, щелкнул ногтем по стенке, затем вдруг резко переместил клизму так, чтобы на фоне зеленых обоев она оказалась между моими глазами и тусклой люстрой, освещающей комнату. И вдруг в центре пустого зеленоватого пространства вспыхнул огромный изумруд великолепной огранки — изумруд, о котором могли бы только мечтать Алмазный фонд или сокровищница Виктории! Но этот камень был подвешен к крошечному прозрачному существу, к ничтожнейшей из козявок величиной с виноградную косточку, плавающей в воздушной толще. Я ахнул.

— Теперь глядите! — гордо улыбнулся Петенька и осенил клизму рукавом халата. На месте изумруда тут же расцвел алмаз, в сравнении с которым знаменитые «Сентинери» и «Звезда Африки» показались бы стекляшками. Тогда Петенька схватил с моего матраца книжку, которую я читал, и сделал синий фон. Алмаз превратился в сапфир.

— Муха Тренча,— сказал я.

— Да. Муха Тренча. Пойдемте, вернем ее к остальным.

Мы вышли в коридорчик, и Петенька, остановившись на середине его, где под слоем грязи в стене можно было различить давно заколоченную дверку, открыл в ней замаскированный дощечкой глазок. Я заглянул в него и увидел пустую, полузатопленную гнилыми водами комнатушку, со стенами и потолком, покрытыми таким отвратительным грибом, что у меня к горлу подступил комок.

— Вряд ли подобное соблазнит вора, а? — засмеялся мой ночной мальчик. — А ведь оно-то и есть самое ценное. Это не грибок, это их личинки. Н-ну-с, последняя перемена декораций...

Он щелкнул выключателем слева от дверки, загорелась жалкая лампешка под потолком заколоченного склепа, и на фоне грязной серо-голубоватой стены вспыхнуло созвездие из тысяч бериллов или, может быть, аквамаринов чудовищной величины. Они дрожали, плавали, ползали по стенам, скользили по темной луже, заливавшей пол... Я был как во сне.

Петенька сдвинул стекло глазка, сорвал с носика священного сосуда насадку, сунул носик в отверстие, и под слабое пфуканье, напоминающее открывание шампанского, сбежавшая муха была водворена на место.

— Пойдемте выпьем в честь поимки,— сказал гордый владелец, у которого, видно, тоже возникли схожие ассоциации.— Мне недавно подарили бутылку коллекционного бургундского двадцать первого года. Случай того стоит...

— Только немного. А то я размякну и завтра просплю.

— Да я и сам не пью. Просто надо же иногда расслабиться...

Мне, конечно, хотелось узнать детали, хотя многое я теперь понимал и сам: например, почему Петенька ночует в худшей комнате, а не в моей, тупиковой? Это ж какие деньги, а?! И какая дерзость — сделать тайный мухопитомник в литературном общежитии! Есть ли у него хотя бы оружие, у этого сумасшедшего?

— Э-э... сколько стоит одна мушка? — спросил я, не утерпев до выпивки.

— От трехсот фунтов... По сортности. Их тут всего две тысячи пятьсот двенадцать взрослых особей, так что питомник сравнительно небольшой. Но для нашей страны — вполне приличный...

Мы уселись на обеденном паласе, налили себе, надломили плитку шоколада, и юный хулиган поведал мне свою повесть. Она того стоила!

Кое-что, я, правда, уже знал из отечественной периодики, но, конечно, не так подробно, как Петенька. История началась с ядерного взрыва малой мощности, произведенного Штатами два года назад в районе атолла Джонстон. Взрыв был хорошо рассчитан и не имел бы никаких особых последствий, если бы подобные вещи вообще поддавались прогнозированию. В данном случае карты американской военщине спутал налетевший циклон «Лаура», который погнал радиоактивное облако на юго-запад, к берегам Австралии. В результате чего над некоторыми — к счастью, малонаселенными — районами штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс выпали соответствующие осадки. Шум в мировой и австралийской прессе был, но не очень большой; в нашей — куда больший. США с Австралией быстро помирились и вместе порадовались, что напасть обошла Золотой Берег; а то бы...

Действие второе. Через полтора месяца после описываемых событий уэльский фермер Рон Робинсон, живший в Голубых горах, проходил жарким декабрьским вечером по берегу торфяного болотца, направляясь в свое бунгало, и вдруг остановился, с трудом веря глазам. На фоне болотных зарослей, над золотистым ковром сфагнома, все ближе придвигаясь к берегу, плясал рой ослепительных изумрудов, затмевающих любого местного светляка, как солнце затмило бы горящую спичку. Вообще-то мухами австралийца не удивишь; разве что их отсутствием. Они — такой бич природы, что даже в шуточном варианте национального гимна воспевается страна отчаянных, «где мух с орлов размерами не счесть, не перечесть»... Взять хотя бы соседний с Голубыми горами штат, о коем местный поэт сказал:

Ты, Квинсленд, мух кусачих край
И для москитов сущий рай.
Вокруг меня кружатся, черти,
Искусан я почти до смерти.

Но Рону не пришлось заниматься «австралийским салютом» и отгонять кровопийц. Сказочные существа, чей ореол лишь подчеркивал ничтожные размеры их прозрачных телец, не обращали на него никакого внимания — скорее всего просто потому, что он не разлагался. Почудилось? Рон — протестант и трезвенник — не стал тратить времени на бесполезный самоанализ. Он сбегал домой, принес старую газету, вымазанную патокой, и положил на берег. Несколько изумрудов тут же облепили ее и сразу погасли, а за ними, как по команде, погасли остальные, и можно было ручаться, что воздух чист.

Разумеется, все это было сущим варварством. Нежнейшие в мире создания почти мгновенно задохнулись в клейкой массе. Лишь двум мухам удалось выжить в погребке Рона, украсив его летающим черным жемчугом, и остатки свиного пойла, разбавленные болотной водой, их вполне устроили. Подумав и посоветовавшись с учителем из соседней деревушки, фермер на день ускорил свою поездку в Сидней, где ему повезло. Каких-то три часа расспросов и ожидания — и в пустой аудитории университета ему показали Эвела Тренча, председателя Восточноавстралийского энтомологического клуба, сутулого брюнета, похожего на озабоченную кукабурру. Рон, предупрежденный учителем, что ему не поверят, приберег для разговора очень веский аргумент. Он выложил перед Тренчем не очень толстую, но все-таки достаточно серьезную пачку долларов и сказал:

— Они до сих пор светятся — там, в погребке. Если я вру, профессор, оставите эти деньги себе. Только побыстрей, пока они не подохли!

Тренч поглядел на бородастую физиономию и раздраженно ответил обесмертившим его пассажем:

— Уберите это, я вам, к сожалению, верю. Мне послезавтра ехать в Лондон, и совершенно не до болотных светляков. Сейчас об этом речи быть не может! Сколько езды до вашей фермы и где ваш «лендровер»?

Еще пять часов спустя они уже спускались в погреб Робинсона. А десятью минутами позже, когда встревоженные чем-то мухи согласились вспыхнуть и их стало видно, столичный гость торжественно заверил хозяина, что мировая наука никогда не забудет этой комнаты и находящихся здесь сегодня четверых существ. Но ни полуграмотный Робинсон, ни известнейший ученый пятого континента Тренч, разумеется, не представляли себе и сотой доли последствий своего открытия...

Отловив на болоте еще четырнадцать мух с помощью приспособлений, делающих честь скорее человеческой хитрости, чем добросердечию (это, кстати, были первые и последние особи, полученные кем-либо в естественных условиях), Тренч объявил в университете, что у него для Лондона есть нечто

лучшее, чем прежний доклад, и что ему нужен еще месяц. И ушел в исследования. Надо было хоть примерно понять, что такое муха Тренча. Муха ли она? И Тренч ли был ее крестным отцом, или же конкуренты еще объявятся?

На последний вопрос не мог бы ответить даже отец мировой диптерологии Иоганн Вильгельм Мейген, доживи он до XX столетия. На первый Тренч ответил быстро и твердо:

— Муха! Отряд двукрылые, подотряд мухи, семейство... Изящным строением тела немного похожа на зеленушку, однако не зеленушка. Среди сорока тысяч видов известных науке мух нет ничего подобного. И почему она так машет своими двумя крылышками, что кажется, будто их миллион? Если я это пойму — ключ в моих руках!

Понимать тут, казалось, было нечего: у болотной красавицы чудовищно гипертрофирован аксиллярный аппарат. Прямо крылатый кентавр какой-то! С такими крыловыми мышцами легко достигается и огромная амплитуда взмаха, и его поистине невероятная частота. Если у рекордсмена-бражника она достигает 90—95 герц, то у этой твари — 210—215! Ну а дальше и школьнику ясно: при общей утере пигментации муха Тренча приобретает окраску любого цветового фона, и поскольку она ко всему еще и светится, то бешеные колебания крыльев создают красивейшую в мире рефракцию. Но... откуда же все эти отклонения от нормы у существа, которое, не будучи хищником и питаясь разной падалью, вовсе не нуждается в подобной маневренности?!

— Мутант,— в десятый раз сказал себе Тренч.— И какой... Что ж, я определенно знаю, кого за него благодарить.

Он поднял газетные подшивки, однако память давно подсказала ему историю с «Лаурой» и взрывом у атолла Джонстон. Доклад в Лондоне об уэльской мухе с демонстрацией красочных слайдов и трех живых особей стал мировой сенсацией. Интерес к Австралии — особенно к тому в ней, на чем можно заработать,— был традиционно силен в английской прессе с тех самых пор, когда газетная империя Руперта Мэрдока, земляка Тренча, подмяла «Таймс». «Воздушная Клеопатра! Flying diamond!» — надрывались газеты. Сейчас уже трудно установить, кто первым додумался сажать муху Тренча в хрустальные шарики и делать из них украшения; но первая пара серег, купленная на аукционе «Сотбис» герцогиней Йоркской, стоила пять тысяч фунтов. Возникли питомники, малочисленные и требующие немалых затрат: одна муха в течение жизни откладывала всего лишь двести — триста личинок. Мизер! И большинство из них по неясным причинам погибало. Клиенту требовались не только серьги, а и клетка, где муха могла, так сказать, расправить крылья и прийти в себя от заточения, и пакетики с кормом взамен вонючей мерзости, которой она питалась на воле, и пневмооборудование для перемещения объекта из одного резервуара в другой. Но тем дороже стоил выплод, оставшийся в живых, и тем моднее становилась затея...

— Да, но вы-то как попали в это дело? — спросил я.— Не очень вы похожи на торговца.

И Петенька рассказал мне о себе.

Он был сыном учительницы английского языка и инженера — оба из Приморья, люди вполне советские и никогда не стремившиеся к особым деньгам. Сам Петенька пошел учиться на истфак, но на втором курсе по совету и примеру друга забрал документы. «Времена не те,— убеждал его друг.— Ты готов мыкаться в нищете всю жизнь? И детям врать придется еще почище, чем литераторы врут, с каждой переменной идеологии. А перемен теперь будет не счесть»... Он свел Петеньку с знакомыми парнями из некоей фирмы, и тот, к ужасу родителей, начал работать у них бесплатно, за процент с будущих прибылей... Словом, знакомая история. Многих она, конечно, вывела «в люди»; но Петенька был особый случай. Ему казалось, что стать бизнесменом — то же,

что сменить один факультет на другой. Он наивно полагал, что этому можно выучиться по книжкам, нужно только побольше послушания и исполнительности. Пионеры всей страны курсу доллара верны; если бы отечественный бизнес нуждался в речевках, символике и атрибутике, то я знаю, кто бы его всем этим обогатил... А лет через пять, думал Петенька, когда всё в стране утихомирится и «новые русские» утолят первый голод, мы потихоньку станем догонять Запад, вернувшись к человеческим нравам и обычаям. Не пил. Не курил. Продолжал много читать и ходить на выставки. И никак не мог понять, чем он так раздражает свое начальство. Надо бы сменить фирму, найти более приличных шефов, чем эти волки, которые вдобавок почти совсем не платят...

Шефы чудом не успели помочь ему в благом порыве. Над миром вспыхнула муха Тренча, фирма же в числе другого-прочего занималась сувенирными насекомыми и была предприимчивой перекупщицей. (А кем еще-то? Отечественных питомников нетути!) Надо было ехать в Мельбурн к мировым производителям, но один соучредитель, порезанный в «разборке», лежал на тайной квартире, другой, по его выражению, «душился» с налоговой и дал подписку о невыезде. Прочая пьянь могла продать их обоих: конкуренты не дремали, также подбираясь к австралийцам. Позвали Петеньку и, кривясь, велели брать билет.

— Давай, заслоняй амбразуру,— сказал шеф.— А что? Может, тебе-то и повезет... Угощать будут — много не пей. Хотя... тут, пожалуй, можно не беспокоиться.

И Петенька улетел. Для него Австралия впрямь стала страной чудес. Сразу! Во-первых, в Мельбурне он попал к самому Большому Боссу, а не к его заместителям. Во-вторых, Петеньку уже опередили непорезанные и недущающиеся гости «фром Раша». Целых два. Но контраст между ними и Петенькой был, видно, столь велик, что Босс... как бы это сказать... удивился? Нет. Подобрел? Но в делах им едва ли когда-нибудь руководили доброта или злоба. Его, во всяком случае, Петенька не раздражал. Он распорядился, чтобы русскому бизнесмену выдали лучшие сорта мух, сделал ему хорошую оптовую скидку, долго с ним беседовал (с проблемами, но без переводчика, о чем Петенька, вернувшись домой, гордо доложил маме), наконец, свозил его ужинать в Турэк (тихий пригород Мельбурна, где в мраморных двухэтажных «хрущевках» живут ненавязчивые эксплуататоры) и познакомил со своей семьей. Предложил даже в письме к Петенькиным шефам упомянуть о трех лишних днях, которые ему якобы нужны для обдумывания сделки, чтоб у молодого человека было время посмотреть Австралию.

— У меня денег нету,— признался Петенька, бестрепетно роняя честь фирмы.

— Ерунда, я вам одолжу, потом пришлете... На моих личинках вы заработаете кучу денег, так что я не беспокоюсь. Странно другое: что вы так мало их берете. Мы сейчас позвоним моим друзьям в туркомплекс, они дадут вам сопровождающего и посоветуют, где побывать. Раз вам так нравится наша страна, было бы глупо уехать, не повидав ее... Только никаких казино!

Петенька не смог отказаться. И чудеса продолжались...

— Если у вас все пойдет нормально,— сказал Босс, прощаясь,— то я об этом буду знать. Вот нужные телефоны, здесь и в Москве. Через год сможете стать моим дилером.

Правда, он не пожалел о своей любезности. Опьяненный ласковым приемом, Петенька по личному почину подписал с ним договор на сумму втрое большую, чем был уполномочен... Эйфория прошла в самолете, и приземлился он в холодном поту. Однако все было очень буднично. Шеф только стеклянно глянул на него и проворчал:

— Подписал так подписал... Знали, кого посылали. Но учти: если эта «вошка» не окупится... Ты понимаешь.

Петенька понимал. Да у него и денег не было выкупить свою посредническую жизнь. «Вошка» окупилась сам-шесть. В валюте. А валютная мода в данном случае — фунты стерлингов. После чего шефы, стиснув зубы, заступили к амбразуре и взяли все переговоры с пятым континентом на себя. А заветные визитки продолжали лежать у Петеньки во внутреннем кармане домашней куртки. Никто, правда, уже не рыл ему могилу, просто решали, что с ним делать.

В итоге его бросили на периферию, то есть в Москву.

Москва поначалу ошеломила его. Громадные здания, человеческие моря улиц, гигантские проезды, режущее метро, фирмы, банки, игрушки церкви, растущие под боком у небоскребов, как грибы у лесного пня... В людях этого города странно сочеталась самая дикая, самая дурацкая спесь с неистребимой, хотя и постоянно выпальваемой кем-то приветливостью к приезжим. Поняв, почему москвичи такие, он их сначала презирал, а затем принял и вскоре уже не представлял себя без всего этого. Здесь было куда труднее работать, хотя заработать было легче.

— Как это? — не понял я.

— А вот так,— усмехнулся Петенька.— Тут всё на взятках. И эти взятки надо платить из своего кармана. Иначе никто не даст шелохнуться. Ведь официально мухи Тренча нет!

— Это как? — не понял я.

— А очень просто,— усмехнулся Петенька.— Для всего мира есть, а для нас — нет! Она ведь мутант.

— Но как же так? — сказал я.— Ее можно признать обычным сувенирным насекомым. Тем более что она не фонит.

— Тот, кто это делает, возьмет на себя ответственность, что вредных последствий не будет,— отчеканил Петенька.— А если они будут? Да еще у самых состоятельных лиц города и государства? Вы что, смеетесь?

— Это они вам так говорят?

— Ага,— сказал он нормальным голосом и улыбнулся.— Нет, ну правда: вы когда-нибудь на ком-нибудь видели мою мухоту по телеку? На официальном приеме? В интервью? Бабью-то наплевать, но есть еще мужья...

— А у кого нет мужей? — засмеялся я.

— А у кого нет, те сами вроде мужика! Вот и одалживаю без конца то сотню баксов, то две...

— Но у вас же есть эта самая... «крыша»?

— Да. Есть. Но «крыша» не для этого. Она — для незаконных наездов. Спокойной ночи!

Ночь и следующие дни прошли спокойно. Мухи сидели смирно, а я, что называется, вошел в колею. Утром, выпив кофе и поболтав с Петенькой, я выскальзывал по лестнице черного хода на первый этаж, а оттуда через малозаметную дверь — в смердящий проулок, где никакое местное писательство не могло попасться мне навстречу. Вечерами возвращался, варил лапшу, играл с будущим — если не теперешним — миллионером в карты или шашки, смотрел всё с тем же лицом программу «Время» по его портативному телевизору и беседовал «о делах наших скорбных», как выражается артист Джигарханян в культовом сериале. Увы, я даже не очень усердно искал себе новое жилье, хотя понимал, что это свинство по отношению к дяде.

Иногда я видел, как Петенька пишет письма домой, а раза два мне показалось, что стихи. Но он об этом не говорил, я не спрашивал. Вообще он, видимо, имел какое-то отношение к нашей братии — не случайно же свил себе

гнездо именно здесь? У нас с ним оказался ряд общих знакомых, словом, я временами даже забывал, кто он. И почти никогда я не видел, чтобы кто-то ему звонил по сотовому (сам он звонил без конца) или приходил. Но однажды, войдя к нему, я увидел у него женщину лет сорока пяти, хорошо одетую, со смуглым хитрым лицом и тяжелыми золотыми серьгами в ушах...

— Моя помощница Дилором,— представил ее Петенька.— Или, по-домашнему, Дрель.

Дама довольно улыбнулась. Судя по всему, она гордилась своим прозвищем. Я же несколько удивился: чтобы вежливый Петенька в глаза так грубо кого-то звал? И даже сказал ему об том, когда дама, покачивая серьгами, удалилась.

— Да она сама так придумала! — засмеялся Петенька.— Она... всё может! Покажите ей любую, самую закрытую фирму, любой, самый жуткий банк с чеченскими капиталами, где пропуск может выписать разве что директор за час до ареста,— и она завтра же будет пить чай с начальником охраны, а послезавтра там появлюсь я. А какое у нее чутье! Верите ли, с ней идешь по городу и видишь где-то вдалеке — еле из-за угла выступает — шикарный какой-нибудь домик в мраморе, где кофе подают исключительно с лимоном. И только тронь ее за локоть, она этак оглядится...— Петенька оловянно повел глазами,— и молча пойдет в нужном направлении. А ты стоишь на углу, смотришь, как она приближается... к этому дому и входит в вестибюль так, словно она тут генеральный директор, а они все — ее шестерки... Нет, это надо видеть, а не меня слушать!

— Отчего же? Вы прекрасно рассказываете. Считайте, что я увидел. И послезавтра там появитесь вы.

— Да! — с вызовом сказал он.

— Что же будет потом?

— Потом? Хотите знать? — Петенька гордо подмигнул.— Работа небольшого учреждения будет парализована в считанные секунды. Большого — в течение получаса. Огромные концерны мне, правда, не остановить, но всё то женское, что сидит за компьютером в радиусе трехсот метров, будет думать только обо мне и не сможет качественно работать. Точнее, не обо мне,— поправился он со вздохом.— Оно будет думать, как светится на черном бархате муха Тренча, раздражаемая слабым током... Знаете, иногда меня больше радует мысль о причиненных мной убытках, чем о зарплатке!

— Ненавидите тех, кто богаче вас?

— Да! Но не за это... Они все — все! — такие, как мои шефы. Если бы остался с ними в Приморье, они бы меня давно уволили, не глядя на прибыль... А после, когда схлынут зеваки — бухгалтерия, плановики и другие,— придут те, кто мне нужен. И эти уже будут покупать. Покупать и заказывать! А вы, если хотите посмотреть, как я работаю, пойдете завтра с нами. Мне-то помощник не нужен, у меня багаж легче перышка, но Дрель хочет использовать мою связь и сделать выставку эксклюзивных бабочек и жуков. Мы ей поможем тащить коробки. Вряд ли, конечно, купят... Лежалый товар.

И он добавил, что бедная женщина мается с этими эксклюзивами давно. Дрель вышла из подземного перехода у метро «Проспект Мира», где безысходно торговала пауками-птицеядами. Может, ей не везло, а может, птицеяд нынче не тот, но в нищете своих дней она уже помышляла о торговле живой натурой, когда явился Петенька. Он быстро понял, что таланты Дилором заключаются не в сидении на месте, вокруг которого разложена мореная нежить, а в живом слове и деле. Сперва Дрель работала у него псевдосекретаршей, затем просочила Петеньку в две-три знакомых организации и, поднимаясь всё выше, нашла себя в буйном посредничестве. Добро она помнила и к Петеньке относилась очень тепло. Даже иногда надоедала советами — не есть у метро хот-доги и что попало,

носить с собой разные дурацкие бутерброды и т. д. Он же доверял ей, как себе, за что опытные торговцы его высмеивали.

— Она-то тебя и кинет,— говорили ему убеленные и умудренные.— Она тебя и обует. Как рекса... Нельзя доверять. Никогда. Никому! Это же бабки, дура...

Петенька убеленных и умудренных слушал почтительно, хотя ночами от их советов изрядно пованивало, но Дрели продолжал доверять. Он раз двести мне рассказывал, как Дрель, выведав у близких генеральши Меликян, где она, настигла ее в Шереметьеве за час до отлета в Испанию и буквально у трапа всучила этой фанатичке дорожную муху! Меликян давно забыла о давнем заказе, но Дрель поклялась ей, что Мадрид и Хуан Карлос будут в восторге. И потом генеральша в открытке домой просила выслать налоговым платежом еще контейнер с личинками, потому что все действительно были в восторге. До сих пор ждет, но шиш ей!

— А вы зачем такие дорогие вещи возите без предоплаты?

— Предопла-аты?! — фыркнул Петенька.— Еще чего! Это же бомонд! Кто мы такие, чтобы не верить на слово Кикиным, или Манджуро, или Борисоглебским, или Улыбышевым-Мясоедовым? Дать-то они вам дадут, не волнуйтесь, но больше не пригласят! Никогда.

— У кого же прием завтра? — осторожно спросил я.

— О, у самой лучшей клиентки! У Матусевич. Как говорил один мой начальник, к этому дому на хромо́й козе не подъедешь. Идете?

— Кто я такой, чтобы не пойти?

Я и впрямь решил сходить. Помимо того, что я Петеньке обязан, любопытно же... Литератору всё в похлебку. Назавтра около шести пришла Дрель — еще наряднее, чем вчера, но в джинсах — и доложила, что такси ждет левее мусорных баков. Мы осторожно выскользнули из темного, угрюмого здания, словно бы придавившего к земле все окрестности под слабо светящимся вечерним небом, сели в машину и поехали на Пречистенку.

Один начальник был прав. Двухэтажный особняк с зеркальными окнами и черепичной горбатой крышей походил скорее на банк, чем на частный дом. Выйдя из машины, я подхватил два больших баула, оставив мелкую кладь розовому от возбуждения Петеньке. Он разглядывал обстановку блестящими глазами так, словно видел ее впервые. Я с любопытством и какой-то неясной жалостью смотрел на него. Генерал перед битвой... Чего ему нужно здесь? Денег? Острых ощущений? А может, чего угодно, лишь бы не монотонной повседневной колеи, ждущей большую часть людей от рождения до смерти? Баулы оказались совсем не тяжелыми, и у меня появилось чувство, что Петенька позвал меня с собой вовсе не ради них. Что ж, я сделаю для него все, что смогу...

Мы вошли в холл, и два бритоголовых охранника в красных пиджаках с блестящими пуговками, помахивая рациями, тут же направились к нам. Видно, они не смели докучать главным гостям, уже гудевшим наверху, и не подошли к ним, когда те приехали. К Петеньке же подойти было можно, хотя они явно его узнали,— и подошли. Но даже не дослушали, что он им шептал, а, кивнув, сели в угол.

Петенька указал Дрели на стеклянные столики у широкой лестницы, покрытой ковровой дорожкой и ведущей на второй этаж. Мы принялись торопливо распаковывать баулы и раскладывать застекленные коробки, внутри которых, распяты на иголочках, притаились диковинные существа — горбатые, рогатые, радужные, волосатые, безобразные и прекрасные. Вот рядом с огромным, омерзительно раскинувшим лапы пауком безбоязненно цветет черно-голубая бабочка неземной красоты. «Папилео Улиссес, Папуа», — прочел я. Дрель поймала мой взгляд и улыбнулась.

— Мне вот эта больше всех нравится,— сказала она, протирая замшей футляр, где застыло еще одно — на сей раз черно-зеленое чудо.— Папилое Блюме, Индонезия.

— Так вы их любите?

— Ну как... Жить-то надо.

Я огляделся и увидел, что Петенька исчез, а охрана нежится в креслах за лестницей, потеряв к нам всякий интерес. Дрель неподвижно возвышалась над рядами коробок, словно Сивилла, готовая прорицать, если кто-нибудь придет и отличит ее от колонны храма. Я решил так и сделать и спросил:

— А где Петр Иванович?

— Работает. Он вас позовет, если нужно.— И, отмирая, добавила: — Нам долго ждать. Часа через два разъедутся.

Я ждал около часа, говоря себе, что Петенька мог бы меня и предупредить; я бы хоть взял книгу или журнал... В зале наверху мерцал свет, что-то шептало и звенело, но ни одна живая душа не выглянула к нам. Охранники травили анекдоты.

В очередной раз поглядев на Дрель, я увидел, что она спит. Бесшумно, без храпа. И вдруг меня охватила злость. Почему я должен тут сидеть и изнывать от скуки? Что я им, лакей? Уйти некрасиво: я обещал помочь с баулами. Светское общество наверху мне даром не нужно, но вот Петеньке не мешает напомнить, что еще большой вопрос — кто у кого в долгу! Я покосился на охрану, встал и не торопясь зашагал к лестнице. Остановят — скажу, что к хозяйке. В конце концов имею я право найти того, кто меня пригласил?

Но на меня теперь обращали не больше внимания, чем на жука из Дрелиной коробки. Я поднялся на второй этаж, к бархатному занавесу, за которым, судя по звукам, находился банкетный зал. Зайдя за огромную фарфоровую вазу с карликовым деревцем, я заглянул в щель меж портьерами, хотя что-то говорило мне, что Петеньки в зале нет. Действительно, среди мужчин в смокингах и нарядных дам, сидевших за длинным столом, его не было. Зато в углу, на крохотной сцене с микрофоном я увидел одного своего давнего знакомца. Это был очень известный поэт и телеведущий в серьезных передачах о культуре. Он что-то читал гостям — видно, из новых стихов, судя по листкам в его руках, полузакрытым глазам и мерной жестикуляции. Слов я не слышал из-за расстояния и гула голосов, вовсе никем не приглушаемого. Мне показалось, что поэта вообще почти никто не слушал, все были увлечены едой и беседой; но когда он закончил, все громко зааплодировали.

— Вам кого?

Я оглянулся. За моей спиной стояла молоденькая горничная в беленьком фартучке и с накрахмаленной наколкой в волосах.

— Э... я к госпоже Матусевич.

— Вы приглашены? — недоверчиво спросила девушка, скользнув по мне взглядом.

— Я по делу... с господином Шелковниковым.

— А-а, мухи! — оживилась она, блеснув глазами.— Пойдемте, я вас провожу.

Я понял, что ей самой очень хочется взглянуть на мух, и она рада предлогу. И, следуя за ней по анфиладе неосвященных комнат, я с мелким удовольствием подумал, что Петенька, видно, пользуется тут кое-какой популярностью.

Шли мы недолго. Перед одной полуоткрытой дверью, прячущейся за очередной портьерой, девушка остановилась и осторожно заглянула в кабинет.

— Заняты...— разочарованно вздохнула она.— Сейчас докладывать нельзя. Вы подождите, кто-нибудь из них выйдет, и тогда можно. А мне придется вас оставить! Там гости... До свидания.

И она исчезла.

Это, конечно, уже что-то. Но ведь мне их закон не писан... Я тихонько раздвинул портьеры, намереваясь воспользоваться любой паузой в разговоре, чтобы напомнить о себе. В небольшом кабинете все было прекрасно видно и слышно за исключением меня. Окна отсутствовали, и свет давала лишь неяркая люстра над столом черного дерева, да еще под бронзовой курильницей в углу тлел огонек. По периметру стола были расставлены пузатые фигурки каких-то божков, не то китайских, не то индийских. Самая большая фигура — многорукой Кали — возвышалась на книжном стеллаже, под которым в кресле сидела госпожа Матусевич, дама лет пятидесяти, с некрасивым, оплывшим и не менее неподвижным лицом, чем лица ее божков. Нежно-сиреневое вечернее платье с черными кружевами у рукавов, из которых вытекали два морщинистых водопада пальцев с торчащими на них камнями всех цветов... Что напоминает ее платье? «А! Папилио Улиссес», — подумал я. В ту же секунду дама шевельнулась, и в ее ушах вспыхнули слепящим голубым огнем хрустальные звезды, в центре которых плавали крохотные точки.

Я посмотрел на Петеньку, сидящего слева от увядшей бабочки, — и не узнал его. Да и не мог узнать, ведь это был не он! Вместо живого, подвижного, полудетского лица застыла такая же деревянная маска, как у всех «присутствующих»; глаза остекленели, и, что-то говоря, он слегка раскачивался.

— Муха Света, — тянул Петенька низким, грудным баритоном, совершенно не похожим на его обычный звонкий тенор. — Муха Земли, Муха Неба. По воле Тримурти вы слились бы воедино, когда бы не были едины всегда... Когда Вайшья Прадат Шандарахкапур вселил себя в ведические мантры, он еще не знал... — Петенька сделал паузу и требовательно покосился на госпожу Матусевич.

— Еще не знал... — глухо откликнулась та, опустив веки.

— Он еще не знал, что на него указал Палец.

— Палец... Какой Палец? — боязливо спросила дама, задвигавшись в кресле.

— Палец Кармы! Махатма Вайшья увидел в пустыне Гоби голубой светоч над барханами и поспешил на его зов. И обрел... — Пауза.

— Обрел... — донеслось из кресла.

— Обрел Муху Неба. И ее устами с ним наконец заговорил гуру Шри Карандашрати! — Петенька вдруг сменил тон и заговорил своим обычным голосом, вполне буднично и по-деловому. — Теперь вы понимаете, Зося Аполлинарьевна, чего мне все это стоило. Я, как и Вайшья Прадат, достиг седьмой степени самосозерцания, и лишь после этого мне было позволено видеть Муху и говорить с ней.

— Да все я, Петенька, понимаю, только... дорого уж больно. Скинь мне, — робко шепнула дама, придвигаясь к нему.

— Зося Аполлинарьевна! — только и сказал Петенька, отодвинувшись и глядя на нее с укором. Дама покраснела. — Не говоря уже о святости Мухи, вспомним, что мне угрожало! На меня вышла непальская мафия... Они в ярости. Звонят мне с утра до вечера, угрожают расправой за разбазаривание национальных святынь! Как будто я не знаю, что не святыни их волнуют, а то же, что и многих других корыстных людей, меряющих все деньгами! (Дама потупилась и придвинулась. Он отодвинулся.) Скажу больше. Там у них есть один брахман — сволочь, попросту говоря, — его дух вхож к Иисусу Майтрейе и потому решил, что ему все дозволено! Он грозит лишить мой дух нирваны и уже трижды ломал над ним сухой бамбук...

— Гос-споди! — ахнула Зося Аполлинарьевна.

Петенька стеклянно глянул на нее и удовлетворенно продолжал:

— Но это мы поглядим. Я его самого лишу нирваны, если вид Мухи не смягчит меня. Нельзя быть слишком добрым сегодня! Возьмите же ее, я беру с вас не шестьсот фунтов, а пятьсот, и перечислите уступленное мной храму Махадэвы. Счет я укажу, и... Отодвиньтесь от меня, пожалуйста! — вдруг вырвалось у него.

— Есть он у меня, этот счет, Петенька, есть, в сумочке ношу...— заверила дама, не отодвигаясь.— А я — войду к Иисусу Майтрейе?

— Вы больше скидок, скидок просите! — фыркнул он.— Ну ладно... Я буду молить за вас.

— Кого, Петенька? — со сладким ужасом спросила дама.

— Ананду Махабхарату! Просить, так уж Высшие Силы. И не забудьте нужд моего теперешнего воплощения,— добавил Петенька, быстро покидая кресло после нового приближения дамы.

— Ему нужно есть...

— Только знаешь что? — тоже меняя тон, вполне по-земному заговорила Зося Аполлинарьевна и погляделась в индийское зеркальце с ручкой, изображающей что-то многорукое и танцующее.— По-моему, левая муха мне не идет. А?

— Да,— энергично сказал Петенька, слегка побледнев.— Да! Я просто не успел сказать. Возьмите другую, у меня в контейнере — сколько угодно воплощений... — Теперь он был сама любезность, даже угодливость.

И они вместе принялись рыться в алюминиевом футляре, напоминающем канистру с бензином, и долго чем-то звякали.

— Вот! — Петенька вдруг торжествующе поднял над головой хрустальный шарик — по-моему, тот же самый, что и прежде,— и щелкнул по нему ногтем. Шарик вспыхнул, но не голубым огнем, а рубиновым. Петенька досадливо поморщился и щелкнул снова. Рубиновая звезда стала нежно-зеленой.— У, зар-раза!..

К счастью, дама, видимо, не услышала. Зато увидела.

— Нет, ну какая же это Муха Неба? — заявила она совсем уже металлическим голосом...— Это, наверное, Муха... Тростника или несвежего чего-нибудь... Что же у меня — одно ухо будет голубое, другое — зеленое? Ты уж, мальчик мой, поищи получше!

— Да какое это имеет значение?! — с мукой сказал Петенька. — Всё равно они одним светом будут гореть только на едином цветовом фоне, а стоит вам отойти от стены или занавеса, и каждая из них загорится так, как ее левая нога захочет!

Это была правда; даже я это знал. Но дама капризно нахмурилась:

— А я хочу, чтоб у меня Мухи были самые лучшие, молитвенные!

— Они молитвенные...

— Они зеленые! Как крапива... Или ищи нужную Муху, или я таких серег не надену!

Петенька с отчаянием наклонился над контейнером, утирая пот со лба, но я видел, что он лишь делает вид, будто роется в нем, а сам лихорадочно о чем-то думает. Вдруг — не прошло и десяти секунд — он поднял голову, криво ухмыльнулся и бодро сказал даме, непреклонно уставившейся в потолок:

— Почти нашел! А вы пока достаньте ту бумажку со счетом. Могут быть изменения...

Дама открыла сумочку. Ей тоже потребовались считанные секунды, но Петеньке их хватило. Зажав пальцем отверстие для воздуха в том шарике, где сидела непокорная Муха Тростника, он поднес шарик к самому огню курильницы за своей спиной. Несчастное насекомое ответило на попытку серией вспышек всех цветов спектра и погасло. Петенька резко отвел шарик от огня и приблизил его вплотную к серьге с Мухой Неба, горящей спокойным голубым

огнем. Миг страха и надежды — и обе серьги засветились одинаково. Закрепляя эффект, победитель поспешно нагнулся к даминому шлейфу, лежащему под креслом, приподнял его и, ласково улыбнувшись госпоже Матусевич, поднес ей серьги, окутанные голубой тканью.

— Ах ты, развратный мальчик! — пропела Зоя Аполлинарьевна, щелкнув его по носу.— Скажи спасибо, что у меня шлейф такой длинный, а то бы я тебе задала перцу... Или задать?

— В другой раз, Зоя Аполлинарьевна! А пока... меня ждут... да и вас, наверное... — пробормотал Петенька и прикрыл глаза. Воспользовавшись этим, дама вlepила ему в губы поцелуй. Затем, поспешно отодвинувшись от побагровевшего молодого человека, она заявила:

— Это я тебя благодарю за Мух Неба. Нет, нет, молчи, а то не скажу что-то важное! Для твоей фирмы — важное...

— Ну и не надо! — буркнул Петенька, видимо, борясь с собой.

Дама пропустила его слова мимо ушей и, улыбаясь, закончила:

— А ведь у меня, голубчик, сегодня и денег нет...

И тут я убедился, что Большой Босс не ошибся в Петеньке. Удар, который должен был его уничтожить или хотя бы сломить и бросить под копыта врагу, его даже не затронул. Он долго и спокойно рассматривал госпожу Матусевич во всех ракурсах, а затем, покосившись только, горят ли мухи как надо, изрек:

— Мне, пожалуй, пора. Надо ответить на звонки.

— Ну, ты сразу... Мы позавчера с Юкатана, мог бы понять... Нет, с этими мушками я уже не расстанусь, ты меня слишком долго тер-рзал! Поищи там, в гостиной, чего найдешь — твое, а меня, поди, гости потеряли. И не забудь, позвони мне через неделю, устроим радение у Кикиных...

— Черно-голубое крыло смахнуло Мух Неба в сумочку, и старая тропическая бабочка мигом очутилась у двери. Я еле успел отодвинуться и закрыться занавесом. Теперь я был внутри, а госпожа Матусевич, наверное, уже осеяла своим полетом банкетный зал. Бледный Петенька, сидя в кресле, тихо дышал и разглядывал меня, видимо, вспоминая, кто я такой.

— Принести вам воды? — спросил я.

— Спасибо... у меня есть.

Он вяло пошарил в матерчатой сумке, лежащей на полу возле контейнера, достал бутылочку пепси, открывашку и даже два пластмассовых стаканчика.

— Я не забыл о вас, не думайте...— сказал он, попив и глядя на меня поверх стаканчика.— Хотел пригласить сюда как ассистента, но хозяйка была против.

— Я ее понимаю. Я все слышал. Значит, не совсем еще выжила из ума.

— Она-то? — Щеки Петеньки слабо порозовели, он явно возвращался к жизни.— Что вы... Она еще не самый тяжелый случай. Вот у меня есть одна профессорша-философиня, так мы с ней как-то с полудня до пяти вечера отчуждали себя в формы инобытия, пока она купила большую муху. А Зоя Аполлинарьевна — умнейшая из светских дам.

— Даже так?

— Из светских,— подчеркнул Петенька и встал.— Вы можете мне найти деньги?

— А почему их надо искать? — раздраженно спросил я. Мне всё больше хотелось поскорей уйти из этого дома.— Разве мы воры?

— Какой вы всегда суровый! — засмеялся он, опять садясь и расслабляясь.— Вы такой смешной бываете... смешнее меня. Мы не воры. Это хозяева — воры. Они тут очень жадные и взбалмошные и платят мне, пожалуй, не столько как торговцу, сколько как актеру. Я же хорошо с ней душился, правда? Вы, может, решили, что я ей врал насчет храма Махадэвы и подsunул свой счет? Нет, это его счет, вполне натуральный, я нашел в рекламной книжонке. И она это, не волнуйтесь, проверила... неизвестно зачем. Просто госпожа Матусевич никогда

не переведет на этот счет ни цента, и мы с ней оба это знаем! Ей нравится, когда я ей священную лапшу вешаю на уши, и нравится играть в щедрость и делать вид, что она отдает последнее, и чего она уже не перепробовала, чтоб не рвать себе душу и не отдавать денег в руки... Но прислуге не доверяет она, а почте — я, да и какая со мной может быть почта! Там, в гостинной, лежит ровно пятьсот фунтов, которые эта сарделька вычислила еще вчера. Нам надо пойти найти их, пока она не передумала.

— А почему бы ей передумать? — не удержался я.

— Вы же всё видели,— просто ответил он.— Ладно, хватит, я устал. Ну... раз, два, три! — И, встряхнувшись, зашагал к выходу. Я скрепя сердце последовал за ним.

Гостинная, где Петенька, видимо, уже не раз бывал, решая разные творческие задачи, оказалась большой комнатой со столами, столиками, мягкими стульями, стенкой и пузатыми божками, которые тарасились на нас из всех темных углов. Неплохое место, чтоб спрятать труп, но вряд ли подходящее, чтобы поскорее рассчитаться со скромными мухоторговцами, думал я, пока мы выдвигали ящики, зажигали лампы и заглядывали под диванчики.

— Ваша мадам не издевается над нами? — хмуро спросил я минут через пятнадцать.— Где деньги?

— Ищите, и-щи-те...— шепнул Петенька, одобрительно глянув на меня.

Нашел, конечно же, он. Но с моей помощью. Разозлившись вконец и давая себе слово никогда больше не лезть во всё это, я отшвырнул со стенки на тахту статуэтку кабана Бако, пожирающего дурные сны, как позже объяснил Петенька. По-моему, этому кабану следовало начать со своей хозяйки; но, ставя его на место, мой спутник заметил, что покрывало на тахте слегка бугрится, пошарил своей узкой кистью и через секунду держал в руке то, за чем мы пришли.

— П-паундз,— пропел он, разглядывая купюры.— Все-таки я их вышколил, моих баб! Какую валюту требуют, такую и дают. А молодцы эти англичане,— повернулся он ко мне с несколько натянутой развязностью.— Вот смотрите, большинство стран на своих купюрах рисует массовых убийц, да? А тут — сцена из Диккенса... сам Диккенс... Фарадей, ставящий опыт. Здорово, правда?

— Да, — медленно сказал я.— Пойдем отсюда.

Я колебался между глубокой жалостью и не меньшей неприязнью к этому хамелеону. Почему колебался? Ну... я как-то не умею полноценно испытывать оба чувства сразу. В моем возрасте и при моей профессии — если, конечно, возраст чему-то учит, а профессии вы соответствуете — пора уже избавиться от привычки побивать ближнего камнями. А потом, относится это к делу или нет, у меня никогда не было ни братьев, ни сестер. Вот я и стал со временем относиться к Петеньке немного как к младшему брату. Тут надо или порвать с ним, или молчать и не мучить его, или... искать какой-то третий, человеческий путь. Если он есть. Но не сейчас! Сейчас этот человек устал, и ему гораздо хуже, чем мне.

Гости только что разъехались, и Дрель начала собирать товар. Я заметил, что ни Папило Улиссес, ни Папило Блюме среди коробок не было, а глаза Дрели горят торжеством. Паук, однако, был на месте — большой, мохнатый, уверенно расставивший лапы, словно это ему хозяйка коллекции была обязана уменьшением своих запасов...

Прошло два месяца.

За это время наши с Петенькой отношения потеряли былую ясность. То в них царил холодок, то я старался быть к нему внимательнее и мягче, чем когда-либо,— смотря по тому, что мне вспоминалось. Но, как я уже говорил, у меня

лучше получается второе, чем первое. Если на бумаге приятно воспитывать и наставлять на путь истинный, то в жизни это удовольствие ниже среднего. Не претендуя на правоту, я только надеюсь, что и ко мне мои ближние когда-нибудь отнесутся так же.

Да и чем я, нищий и бездомный, мог поманить его, преуспевающего и сытого? Если считать мораль главным золотым запасом, так сказать, Форт-Ноксом любого общества (у меня как-то язык не поворачивается сказать «Центробанком»), то не разграблен ли наш Форт-Нокс дочиста? Что у нас осталось? Какие вечные ценности? Ведь Петенькин друг-соблазнитель сказал ему в свое время чистую правду! «Уж наверно,— говорил я себе,— Петенька давно подготовил путь к respectable будущему. За таких, как он, волноваться нечего — мне бы лучше о себе подумать. А эти его похождения... еще немного — и всё будет кончено».

Нас никто не тревожил. Петенька звонил, исчезал, возвращался — кажется, почти всегда с добычей,— а самому ему позвонили только раз: «Дрель, ты? Здравствуй... Да, по двести двадцать. Рашида? Какая Рашида? Племянница? Почему против, пусть помогает... Только с условием: ко мне не водить, и чтоб даже не знала, где я нахожусь. Дай ей пару образцов подешевле. Привет!» Словом, мы жили спокойно, пока в его комнате и в моей не рухнул потолок.

К счастью, нас обоих дома не было, и мухопитомник также не пострадал. Дядя пригнал знакомых шабашников; те прохрипели, что за неделю управятся.

— Ништяк,— сказал нам дядя.— Сделаем навесные, лучше прежних. А вы до тех пор поживите по-советски, со всеми. Праскухин ничего не скажет. Он у меня теперь вот где! — И перед моим носом возник торжествующий кулак с побелевшими костяшками.— Будете по-прежнему вдвоем, в полулюксе...

Если бы он сказал — «в недолюксе», было бы точнее. Но против истины не погрешь: нам досталась единственная во всем общежитии комната с ванной и даже душем, откуда раз в неделю почти текла нехолодная вода.

Петенька сначала был очень недоволен, но потом смирился и даже обрадовался новому обществу, быстро перезнакомившись со всеми литераторами. Если мне он своих стихов не показывал (думаю, не хотел предстать передо мной в столь странной ипостаси), то им показывал: они ведь не знали, кто он. И, конечно, моя первая встреча с Петенькой на самом деле была не первой, просто ему было неприятно в этом сознаваться. Только одному человеку он проболтался насчет мух — и как раз тому, кому не надо бы: Глызину. Вообще этот Петенька был какой-то странный! То соблюдал миллион предосторожностей, то сразу доверялся понравившемуся собеседнику. Все-таки он занимался не своим делом.

Впрочем, я неточен. Глызин был слишком примитивен, чтобы понравиться Петеньке. Просто Глызин его обнадежил. Он был действительно популярен в изданиях определенного пошиба, а так как сей пошиб стал почти всеобщим — шел в гору и мог помочь. Лично я бы с ним никому не посоветовал связываться, но раз уже Петенька совершил ошибку, то с литературными мечтами пусть разбирается сам. Нет, я сказал ему пару раз, но хитрый Глызин держался с «богатеньким Буратино» довольно осторожно и раскрыл свою глызинскую сущность не сразу. А Петеньке, как я понял позже, очень хотелось найти другой выход... а не тот, который ему рисовался, и он всячески пытался обмануть себя, убедить, что он встретил того, кто ему нужен. Вот они с Глызиным и кружили друг возле друга, и каждый пытался извлечь свое. (А вообще Глызин тоже с завихрениями: напирал на то, что он выходец из низов и крестьянская душа, напившись же, посылает в Интернет сообщения, что он — свояк Луи Арагона.)

Их итоговый разговор я услышал благодаря нашему недолюксу. И при этом всю его проклиная: когда полчаса стоишь в чем мать родила, клацая зубами, и растираешь по телу жалкую струйку воды, убеждая себя, что

принимает душ, тут не до благодарности. Меня было даже не слышно, так жалок был напор; а они решили, что в номере никого нет. Под конец их беседы я уже оделся и мог выйти, но каюсь: стало интересно дослушать.

Сперва это было звяканье.

— Когда пьешь пиво,— раскатисто гудел Глызин, садясь и, видимо, продолжая начатый на улице разговор,— советую снять носки и ботинки. Вот так... Ступня — залог здоровья. Налить?

— Нет, я буду ликер,— сказал Петенька, садясь тоже.

— Учись пить с людьми, Петруха! Это тоже залог. Пускай не здоровья, но кой-чего... посерьезнее. Я вот не зря говорю, что ты не совсем наш человек.

— А почему это? (Явно звук отвинчивающегося колпачка фляги с ликером.) Кто тебе, собственно, нужен?

— Мне? Мне никто не нужен,— заверил Глызин, глотая (и в этот миг будучи самым правдивым человеком на свете).— Но уж если ты поглядываешь в сторону наших курсов, то полгода у станка или хотя бы туши говяжьих поразгружать тебе было бы оч-чень нелишне... Все большие люди с этого начинали — у нас по крайней мере.

— Туш я вижу достаточно,— мрачно сказал Петенька.— Вообще мне кажется, прошли те времена...

— А ты перекрестись, когда тебе чего-нибудь кажется,— благодушно посветовал Глызин.— Сразу помогает.

Пауза.

— Почти как у Пушкина,— вновь заговорил Петенька.— «Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов»... Только навыворот.

— Пушкина я читал,— очень серьезно сказал Глызин.— Представляешь? Другие им восторгаются, а я взял и прочел... Всего. Интересно стало: вправду ли он так велик, как говорят? Ты никогда никого не пробовал читать с целью проверки, а?

— Что ты хочешь этим сказать? — с интересом спросил Петенька.— Проверка не удалась? (Он, видно, уже не ждал от Глызина чего-нибудь интересного. И напрасно: Глызин совсем не глуп.)

— Пач-чему же?.. Удалась. Умный мужик! — (В щелку я увидел, как Глызин, зажмурившись — не то от Пушкина, не то от пива,— мотает бородой.) И вредный... Я только тогда и понял, Петяша, почему наш русский царизм сто лет спустя полетел к чертям. По доброте своей. Я бы на месте Николая не декабристов раздавленных повесил, а в первую голову его... Пушкина.

— Ты... что? Серьезно? — пролепетал Петенька.— Ты... что?

— Выпей пива,— еще раз предложил Глызин,— лучшее средство от обморока. Я ж сказал: на месте царя. А не на моем. Я — скромный Глызин и никому не желаю зла! Предлагаю смочить этот лозунг...

Звяканье.

— Но это только половина дела,— подчеркнул незлобный выпивающий, откинувшись на спинку стула.— Царь его не просто пощадил. Он его назначил первым поэтом России, что было второй ошибкой. Знаю, знаю, не вякай, глас народа и всё такое... И все-таки царь мог не признать этот глас. А он признал. А раз признал, значит, назначил. Заверил, так сказать.

Глызин глотнул пива и продолжал:

— Библейские времена... патриархальные... «Дай мне голову Иоанна Крестителя на блюдечке»... Нам бы туда, а? Умница Бенкендорф пытался не устраивать скандала с Лермонтовым — куда там... тогда еще никто не дорос до великой диады: «Уничтожай или не замечай». И Советская власть не доросла. А в итоге мы сегодня имеем массу проблем, которых могли бы не иметь.

— «Мы»? Кто это — «мы»?

— Серьезные люди,— вот кто. С тех самых курсов, куда ты метишь... Да вот хоть меня возьми! Я написал роман о жизни русских эмигрантов в Америке...

— А ты разве был эмигрантом? — наивно сказал Петенька.— Мне кажется, это такая тема, что нужно самому хлебнуть...

— Чего нужно хлебнуть, я те уже битый час твержу, премудрый пескарь! Ты слушай дяденьку да мотай на ус... У меня на двести пятьдесят страниц текста восемьсот шестнадцать раз употреблено слово «дерьмо».

— За исключением названия?

— Само собой... Подели-ка! Рекорд, которого русская проза еще не знала! И здесь, вот в этом самом здании, создатели нашего салона мне аплодировали стоя! Но ведь то элита, а ты возьми простого, неискушенного читателя. Ну врач, учитель, ИТР... Откроет он мою книжку, почитает, потом в Пушкина полезет или в Булгакова какого-нибудь и начнет квакать: «А так не говоря-ат... А нас так не учили...» Нет у них пока смелости поглядеть правде в глаза.

— Давай хоть я погляжу...— сказал Петенька.— Ты это о чем?

— Всё о том же! Поравняйся на улице с любыми мужиками, которые даже не ругаются, не машут руками, не бьют себя в грудь, а просто спокойно базарят. Что ты услышишь?

— Мат,— сказал Петенька.

— Мат! — повторил Глызин, крикнув.— Наш, исконный, корневой! Без которого тот же Пушкин не признавал русской речи!

— Это где же он такое говорил?

— А в «Онегине» своем: что без грамматической ошибки, мол, речи русской не люблю... Что такое мат с точки зрения официально-бюрократической? Ошибка! И только дурак не поймет, что где грамматическая — там и лексическая, и какая хоть... Так что классика за нас. Но всё равно и Пушкин, и вся его команда — от Лермонтова до Чехова — нам сегодня в прежнем, устаревшем виде не нужна... До сих пор мешают, представляешь? А теперь представь, как же они мешали несчастным властям при жизни! Их надо вернуть народу! Переработать все эти запылившиеся Полные собрания в новом стиле. Тогда и нам легче будет... Понял идею?

— Кажется, да... То есть ты предлагаешь...

— Я уже договорился с рядом ребят. И спонсора найдем! Тут есть один приезжий, Сэм Афанасьев из Калифорнии, он через недельку открывает подписку в Штатах для нашей программы... Я думаю, он еще свои вложит... Придет время, мы ему отслужим.

— Да,— спокойно сказал Петенька, подумав,— я думаю, Америка заинтересована в том, о чем ты говоришь... И не только она... Язык-то ракетами не прикроешь... Торговый дом «Русский мат», оптово-розничные операции! Звучит...

Глызин польщенно хохотнул.

— Я же говорил, что ты толковый парень... Ну насчет торгового дома — это у тебя буржуйская закваска проявляется, н-но... суть ты ухватил! Сегодняшние словари бранной лексики — это же нищета, заговор! Я один, не вставая с этого места, могу больше написать великорусских выражений, чем все эти писаки в манишках... Вот сейчас парень с первого этажа просит шесть тысяч, чтобы насытить нужной лексикой всего Чехова и Достоевского. Это немного. Не дашь на святое дело, а?

— Не могу,— вздохнул Петенька.— Меня мама на порог не пустит. Она любит Чехова.

— Мама? Хорошо... Возьмешь Бунина и Набокова. И смотри, будешь тянуть, достанется тебе какой-нибудь Мельников-Печерский, не жалуйся потом. Это что! Я хочу создать Всеобщий словарь современного русского литературного мата — сокращенно ВССРЛМ.

— Не будут путать с известной организацией?

— Не!.. Словом, вноси пай и бери разделы. Не любые, конечно. Что получше — извини, уже пристроено...

— Что же ты мне дашь? — спросил Петенька так спокойно, что я, с одной стороны, улыбнулся, а с другой — решил, что пора одеваться и быть наготове.

— Ну... «Е — Ё» будет мне, сам понимаешь... «Х» мы делаем напололам с одним профессором, а «Б» пришлось отдать ему же, потому что у него связи среди издателей еще больше моих... Но я ему, пауку очкастому, это припомню. А ты возьми «М», «Л», даже, может быть, «С», если подкинешь денег... Тряхнем ВМПС имени Тургенева, как остроумно сказал один современный писатель.

— Что тряхнем?

— Ты что, в школу не ходил? Великий, могучий, правдивый и свободный... Усек?

— ...и свободный,— повторил Петенька.— Вот, значит, как... Ай да писатель...

— Самый что ни на есть писатель,— причмокнул Глызин, выставив из-под стола пораженную грибок ногу.— Он, кстати, с другой стороны нам помогает: насыщает язык иностранной лексикой. Прямо экскаваторными ковшами сыплет — вперемешку с матом! Блеск! Мне это напоминает... смыкание кольца под Сталинградом.

— А мне — под Ленинградом,— сказал Петенька.

— Ну под Ленинградом. Нет, наша и так возьмет, без этих всех программ, ты не думай... Слишком многим это улыбается. И тут не в политике дело, что хорошо! Коммунисты, демократы, почвенники, западники — у всех глаза загорятся, стоит намекнуть. Это ж... язык Пушкина! Толстого! Такого куска на всех хватит! Поначалу, конечно... — поправился он.— И если я тебя приглашаю, то один раз, и только потому, что жаль твоего будущего. Учти, потом сам прибежишь, да не пустим! Наши курсы, дорогуша, они ведь не только пролонгированные, но и пробабилитные... Вероятностные, по-старому... Может, кончишь, может, нет. Как себя поведешь!

Я, видимо, рано встревожился. Петенька решил выяснить всё до точки.

— Мы отвлеклись,— сказал он.— От главного. Пушкина с Лермонтовым кто на себя возьмет? Ты?

— Ну не ты же! Ишь... не успел прийти, а туда же... И дело это тонкое. Надо готовить почву. Для начала дадим три рубля какому-нибудь доценту, их у метро много ходит, а он нам книжонку, что, мол, весь Барков — это Пушкин неопознанный. Или еще проще — найдены новые пушкинские стихи и статьи, где красная нить — что российское могущество прорастать будет матом... Они сейчас голодают, все эти очкарики. И пусть попробуют пикнуть!

— Но есть еще массовый читатель. Он любит Пушкина. Он не смолчит!

— Любит, говоришь? — усмехнулся Глызин.— Ох, Петруха... ты простой, как моя жизнь! Ничего, оно даже полезно, что ты сомнений на таишь... Смотря перед кем, конечно... А что это такое значит — «любит»? А?

Петенька молчал. Было ясно, что Глызин ехидничает не зря и что именно этот пункт беседы почему-то разбередил его всерьез.

— Молчишь? Я тебе скажу. И это все, кроме тебя, знают, только вслух не говорят. Любовь к великому поэту и вообще любая любовь — занятие обязывающее. Да еще как! Ты вот, например.— Он отогнул мизинец в сторону Петеньки.— Тебе нравится, когда тебя к чему-то обязывают?

— Мне? Н-нет...

— Вот и мне — н-нет... И всем остальным тоже — н-нет! Чтобы настоящему любить Пушкина или Лермонтова, надо быть самому хоть в чем-то — и в чем-то серьезном! — таким, как они. Раб никого не любит. На то он и раб.

Сколько людей сбежалось, когда Пушкин помирал,— это ты всюду прочитаешь. Много, да? А сколько из-за Пушкина в ссылку пошло? Один гусар... Так вот он и имел право говорить, что любит Пушкина. А любить того, за кого тебе пятерку в школе поставят, или книжку твою издадут, или степень тебе присвоят — на это много ума не надо... Я ж тебе говорил — у нас не любят, у нас назначают. В каждой стране по-своему. У англичан, к примеру, Байрон был — что твой Наполеон, знаменитее его мир не знал. И что? Вышел из моды, приличий не соблюдаешь — никакой ты нам больше не лорд, и до свидания! Там назначений нет... И вот поэтому мы сделаем и с Пушкиным, и с Лермонтовым всё, что захотим, и никто не посмеет нам мешать. Мы ж не снимаем с должности! Мы осовремениваем.

Он вдруг резко подался вперед, так что Петенька отшатнулся вместе со своим стулом.

— Ну а хочешь, Петр Иванович, я тебе скажу еще кой-чего? И вот это в любой газете печатай, нарасхват пойдет. У нас за всю историю России по-настоящему любили только одного человека. До тягучей слюны! До дрожи в коленках! Сильней родителей! Крепче милой! Жарче деток... А то и себя. Дураки и умники, несудимые и социально близкие, те, кто еще не сел, и те, кто уже созрелся! Что, спорить будешь?

Петенька молчал.

— И не зря...— сказал Глызин, переводя дух.— Он заработал. Нет, не талантами какими-то. Он даже посмел быть нерусским, говорить с акцентом! У него за душой было только одно, но зато самое нужное, самое заветное... Он ОБЕЩАЛ. Всем и всё. Заместил Бога небесного, который далек и невидим. Сам на крест не пошел — послал всех, кроме себя! Зато снял со всех ответственность за светлое будущее и страшное настоящее. Никто, никогда столько не ОБЕЩАЛ, сколько он ОБЕЩАЛ! Ни у кого результат так не отличался от обещанного! Но ведь им было нужно не обещанное, а чтобы им ОБЕЩАЛИ и чтоб самим ни за что не отвечать. Они ему простили кровь своих детей, а это тебе не пушкинские чернила. Они и сейчас такие же, только жаднее. И мы сделаем с ними всё, что захотим.

Петенька молчал.

— Ну, чего молчишь? Давай, защищай своего Пушкина! Только как ты будешь это делать, если Пушкин НЕ ОБЕЩАЛ, а тот ОБЕЩАЛ? Поэты не обещают — им не до этого... Они там себе думают, шутят, плачут, живут, чтоб, значит, мыслить и страдать... И ты решил, что кому-то захочется составить им компанию? — Глызин откинулся на спинку стула и взмахнул рукой.— Да если бы ко мне с неба спустился ангел — прямо сейчас! — и сказал: «Хочешь, Алеха, я тебя за всё вознагражу? За все твои унижения? Тебя будут любить, как Пушкина, нет — как молодые любят Лермонтова и даже еще больше?» А я бы ему на это — шиш... Ты хоть и не ангел небесный, а погляди... Больше-то некому показать! Я б ответил: «Раньше надо было приходиться! А сейчас я без такой любви обойдусь. Мне она пуще всего, что было, унижительна — такая любовь! Ты мне дай их всех вот сюда, в кулак, и чтоб не надо было притворяться, что я хотел бы всю эту Русь-матушку осчастливить, да вот неполадки с электричеством...»

Я давно ждал, когда же Глызин полетит со стула. Это соответствовало законам физики и хоть как-то разрядило бы атмосферу. Но, казалось, даже мебель нашего общежития признала в немало весящем Глызине своего господина и не думала рассыпаться. Атмосферу отрегулировал сам Петенька, и, каков бы он ни был, с этих минут мое отношение к нему определилось.

— Кстати, об очкариках,— сказал он.— Раз они тоже в плане, и притом далеко не Пушкины, почему не начать с научного языка? Да и манер! Вот,

скажем, защита степени... На трибуну выносят большую пальму в кадке, а на пальме сидит соискатель. И хотя он в пиджаке и галстук, но, прежде чем начать защиту, пускай минут десять... ладно, пять... поищет у себя под мышками и... съест банан. Официальный повод — сближение с братским Востоком. А?

— Язвишь? — погрозил пальцем Глызин.— Язви... пока молодой. Да идеями не сори. Ты вот думаешь, что ты пошутил, а я тебе скажу, что это смелая и оригинальная мысль! Не зря я с тобой вошкаюсь... Просто рано еще. Дай ты нам годиков двадцать, может, даже десять... и мы к этому обратимся. Только никому эту придумку не отдавай!

— Я тебе отдам,— быстро сказал Петенька, глядя на него с суеверным чувством.— Со всеми авторскими правами...

Глызин подумал.

— Нет! — решительно сказал он.— Спасибо, ценю, но у меня хватит порядочности не воспользоваться твоей щедростью. Это твоя идея! Мы иначе поступим. Когда придет черед, я тебе сделаю промоушн и буду твоим придиссесором...

— Приди... с кем?

— Ну, ты село таежное, а?! Английский в школе не учил? «При-ди-ссе-ссор!» Это по-великорусски вроде как «Предтеча»... Почву тебе, дураку, готовить стану... словно у меня своих забот не хватит! Ладно, засиделся я с тобой, да и пиво кончилось. Давай, говори, какой ты вносишь пай и какие берешь участки работы. Ты у нас торговец, много где бываешь, много кого видишь и оценишь наше доверие как надо...

Я всё еще гадал, выходить мне из укрытия или нет, но Петенька уже встал и прошелся по комнате.

— Да...— Он остановился перед окном и попробовал зарыться подбородком в халат, что всегда делал в нервные минуты, но вспомнил, что халата на нем нет и, вероятно, что я вообще не советовал ему надевать этот халат в нашей общаге.— Я много видел... Однажды при мне — пусть на бумаге — обокрали школу-интернат для детей-инвалидов. Я видел и банкиров, и воров, и — наверняка — убийц, и депутатов... Но такого дерьма, как ты, Глызин, я, наверное, не встречал. Ты действительно элита, и ты заслужил, чтобы тебе аплодировали стоя. Только не я...

Глызин тоже грузно поднялся, постоял, посопел.

— Ну что ж...— Голос у него был глуховатый, достаточно злобный, но и достаточно безжизненный, как у автомата.— Спасибо за пиво. Я думаю, что на наших курсах тебе делать нечего. Думаю даже, что ни на каких... Торгуй дальше своими мухами... принц Уэльский!

Хлопнула дверь. Я выглянул. Петенька стоял, закрыв лицо руками. Я почувствовал, что не надо сейчас к нему подходить, и тихонько вышел в коридор. Первым делом я распахнул окно и начал жадно дышать.

И все-таки я был рад.

Очень рад.

Прошло еще несколько дней...

Однажды в неурочный час позвонила Дрель (впрочем, что значит «неурочный»?) и доложила, что Петеньку требует к себе Зося Аполлинарьевна. В смысле «покорнейше просит».

— Что случилось? — спросил я, увидев его досадливую гримасу.

— Что, что!.. Левая муха сдохла! Перегрел я ее! Или еще почему-нибудь...

— А каков гарантийный срок? — спросил я с бывалым видом.

Он воззрился на меня, как мальчуган на взрослого идиота.

— Такой же, как у любого летучего дерьма в мире! Извините... я становлюсь похож на Глызина. Нет у них никакого срока... Это же для очень богатых людей, иногда на два-три вечера... Но вопрос отношений остается, и весьма нелегкий. Придется задабривать, а то и компенсировать... Ничего, не в первой!

— Верю в вашу победу! — весело сказал я. Он не ждал этого и благодарно улыбнулся.— Да, Петенька, у меня всё вертится в голове... что такое «радение»?

— А... Это моя шуточная терминология, которой я заразил своих клиентов. Я различаю три вида розничной торговли: впаривание, или финансовый экспромт, организованную распродажу, которую вы фрагментарно видели, и радение. Последнее — для фанатичек вроде Кикиных или Кудряшовых. Распутина на них нет! Гасят свет, зажигают свечи, слушают музыку и мой всякий бред, медитируют, слезы льют...— И, поколебавшись, добавил: — Малоприятное зрелище. Вам не стоит видеть.

— О, всё, что мне нужно, я уже видел...

Вернулся он поздно, и таким я его еще не видел. Без ужина лег на свою койку и повернулся к стене мрачный, как туча, укрывшись всем, чем можно, в том числе страусиным халатом, извлеченным из тумбочки. Но все равно его слегка знобило. Обычно в тех редких случаях, когда у него было плохое настроение, он съедал что-нибудь вкусное, смотрел фильм «Один дома» — и мир приходил в порядок. Но сейчас он был не в своих апартаментах, а в общежитии пролонгированных и пробабилитных литературных курсов... Я подсел к нему.

— Петенька, что с вами? Вы не больны?

— Нет.

— Пришлось вернуть деньги?

— Нет... Но верну!

— Не горюйте. Вы же мастер своего дела... Чаю хотите?

— Нет.— И он выразительно посмотрел на меня: «Что ты ко мне пристал? Пять минут выждать не можешь?» Я отвернулся, и минуты через три он прошипел:

— Если бы я горевал из-за каждой дуры, которой сам же решил вернуть деньги, я бы уже давно был на Ваганьковском...

— А там хоронят еще?

— Не знаю... За хорошие деньги везде похоронят!

Тут уже я пошел греть чай и принес ему. Он выпил три чашки.

— У нее столько связей! — простонал он вдруг.— И каких... И я всего этого лишусь!

— Почему? Вы же вернете деньги.

— Да не нужны ей мои гроши!!! — вдруг завопил Петенька так, что я, испугавшись, отпрянул.— Стоит ей захотеть, и я вообще смогу никогда не торговать! И кое-кто будет чистить мне башмаки...

— Что же для этого нужно? — вздохнул я, хотя всё и без того было ясно.

Молчание. Он сидел со слезами на глазах, уставившись в стенку.

Я не выдержал.

— Послушай,— сказал я, взяв его за руку,— все это нужно прекратить сейчас же! Посмотри, ну посмотри на себя, до чего ты дошел.

— Мне нужны деньги,— сказал он с тупым стеклянным блеском в глазах.— Много денег. Или хотя бы сорок тысяч фунтов на первое время.

— На первое время где? В Англии?

— Нет. В Австралии.

— А... У Большого Босса.

— Да, у самого большого, больше не бывает...

Пауза.

— Я не вернусь! — настойчиво произнес он. — Знал бы ты, что я видел...

— А ты расскажи, — предложил я. — Хоть послушаю сказку на ночь.

— Думаешь, от этого лучше спится?

— Пока не знаю... Как она называется?

И Петенька рассказал мне.

Сказка о большой черепахе

Атлантический океан подтачивает наши берега... Гранитная стена на взморье — от Сен-Валери-на-Сомме до Ингувиля — подрыта; обрушиваются огромные глыбы, вода перекатывает горы валунов, заливает камнями и затягивает песком наши гавани, заносит устья наших рек. Ежедневно отрывается и исчезает в волнах клочок нормандской земли. Титаническая работа, затихающая ныне, некогда внушала ужас. Лишь огромный волнорез — Финистер обуздывал море.

Виктор Гюго

Когда к берегам Восточной Австралии по Коралловому морю идут цунами — они бывают здесь нечасто и не очень сильны, но всё же бывают, — их стремительные усилия редко достигают цели. В восьмидесяти милях от Таунсенда, в тридцати — от Кэрнса и в одиннадцати — от мыса Мелвилл перед ними встает со дна вертикальная стена кораллов, размеры и мощь которой трудно охватить даже воображением человека. Она тянется на две тысячи триста миль от Торресова пролива между Новой Гвинеей и Австралией — до Санди-Кейп, что равняется расстоянию от Копенгагена до Гибралтара.

Это Великий (или, как называют его русские географы — Большой) Барьерный Риф, самый большой на нашей планете. И вместо того, чтобы достигнуть мелководья, подняться во весь рост и подмять под себя длиннейший в мире пляж, эвкалиптовые леса, людей и зверей, стена воды разбивается о стену кораллов. Почти беззвучно и незаметно!

Ширина этой подводной цитадели на севере — две, на юге до ста пятидесяти миль; она занимает площадь в двести десять тысяч квадратных миль, на которой могли бы разместиться Англия, Шотландия и Уэльс. Из воды поднимается более двух с половиной тысяч островов, островков, отмелей, дюн и морских утесов, а в часы четырехметрового отлива обнажаются еще тысячи. Если смотреть с вертолета, летящего туристическим маршрутом из Глэдстона на остров Херон («Цапля»), кажется, что в темно-фиолетовом мареве кто-то утопил бесконечную нитку дрожащего, как насекомое, жемчуга. Границы отмели, в сотни раз большей, чем суша, и самой суши можно заметить только по прибою — так прозрачна вода.

Бескрайняя полузатопленная страна... Только столкнувшись с ней, человек вспоминает, какая же он еще пылинка перед океаном несмотря на свои корабли и самолеты. Что же говорить о минувших столетиях? Голову этого подводного великана в начале семнадцатого века нашел Торрес, но лишь скупно обмолвился о «самом скверном фарватере в мире». Не стоило трезвонить о найденном проливе и приваживать англичан. Бедный капитан Кук на трехмачтовом барке «Индевор» в 1770 году благодаря штормам, пригнавшим его к Австралии, познакомился с хвостом и туловищем Левиафана. Риф два с половиной месяца играл его кораблем, как огромный дог — загривком слепого щенка, пробил ему днище коралловым обломком, и все 360 лиг, что прошли моряки, они не

выпускали из рук лота, не смыкали глаз и много раз были уверены, что их смертный час наступил. Вдобавок Кука пугали местные летучие мыши (размах крыльев — до пяти метров), которых он принял за чертей. Земля Опасностей, Мыс Невзгод — вот названия, оставленные им на своем пути. Командир «Индевора» тоже не сказал в своих реляциях ни слова о Большом Барьерном Рифе, предупредив только, что плавать в этих водах крайне опасно. Чуть позже побывал в этих местах Уильям Блай, командир мятежной «Баунти»; капитан Флиндерс пробовал составить их карту, но разбил свой корабль о рифы в начале XIX века. Берега у Кэрнса, где подводная гряда непрерывна, усыпаны останками погибших судов. Когда читаешь «Труженики моря» Гюго, так и видится несчастная Франция, уносимая волнами в океан; лишь башни Нотр-Дам еще виднеются над пучиной... Какими же тирадами разразился бы достойный мэтр, увидев зубы Большого Барьера, справедливо прозванного Кладбищем кораблей! Но следует честно признать, что если красоту гигантского гребня, воткнутого в волосы океана, могли бы передать Конрад и Мелвилл, то его грандиозность — разве что Гюго.

Лишь в начале XX столетия коралловое государство начали изучать. В конце 60-х уже раздался клич: «Спасите Большой Барьерный Риф!» Еще через десять лет Бьелке-Петерсен, премьер-министр Квинсленда, разрешил бурить дно в этом районе: уран, железо, нефть, газ... Скромный политик умолчал о личных акционерских интересах, но, поскольку скандал разразился не в той стране, на которую с любовью смотрит вся планета, дело не выгорело. Еще десять лет — и ЮНЕСКО объявляет риф международным природным резерватом. Но туристы все равно пытаются устраивать подводную охоту, выламывают и собирают редчайшие черные кораллы и красивые раковины. Писатель-фантаст Артур Кларк — первый подводный турист тех мест — в книге «Коралловый берег» сравнил гигантские древовидные кораллы Херона с кактусами Аризоны и Нью-Мексико. Таким нечего бояться за спокойную жизнь на дне. Но ведь есть столько куда более нежных полипов! Только у кораллов Асторга — 250 видов: «оленьи рога», «столы», «книги», «изгороди»; а кроме них — кораллы-«мозговики» — коричневые кольца с белой сердцевинкой...

Этот мир еще плохо известен человеку. На внешнем краю Барьера — всегда большие волны и ветер, во внутренней Большой лагуне до самого материка — тишина и спокойствие, беспрепятственное скольжение судов. На большинство островов высаживаться запрещено — да и небезопасно. Яхты и моторки держатся подальше от малых рифов с их острыми и хрупкими краями. Ходить по такому островку в часы отлива можно только в прочной обуви. Здесь палящее солнце, сильный запах гуано и ни капли пресной воды. В бесчисленных лужах, ямках и озерах кипит жизнь. Смыкают свои створки раковины-ловушки, когда человек наклонится над ними. Оторвешь такую от ложа — и моллюск пустит тебе в лицо гейзер воды. Двухметровые раковины с огромной уродливой клешней рака-отшельника у входа; раковины-убийцы с ядовитым хоботком; «морские огурцы» — трепанги, похожие на метровые слизистые сосиски, черные и желтые, которые выпускают шелковистые нити или выбрасывают внутренние органы, пугая врага; неотличимая от полусгнившего коралла, зарывшаяся в ил бородавчатка, или рыба-камень, чьи ядовитые шипы пропорют тонкую обувь и мгновенно убьют любого, наступившего на нее... Всё это кишит вокруг любопытного, пока по ломким кораллам он пробирается на край островка к бурунам и шумящим при отливе водопадам. Прилив прозевать нельзя — в это время к острову устремляются акулы. Их в Коралловом море хватает: тигровая, «белая смерть», «серая нянька», «голубая монахиня»... и иже с ними.

Но главная жизнь, конечно, кипит под водой. Самые красивые краски можно увидеть на глубине до десяти метров: глубже они меркнут, тускнеют, да и на мелководье узор калейдоскопа мгновенно меняется при малейшей перемене погоды. Косой луч солнца — и вспыхивают подводные сады, равных которым нет в мире; все оттенки розового, голубого, фиолетового, карминно-красного, горчичного, белого... Нигде на Земле нет такого количества разных рыб, морских животных и птиц, собранных в одном месте. Даже дюгонь — морская корова, единственное травоядное млекопитающее, живущее только в море, еще встречается в водах Квинсленда. Бесчисленные подводные существа, «не созданные для человеческого глаза», как выражался Мэтр, либо равнодушны к аквалангисту, либо опасны. Кроме барракуд и акул, мелькают в толще воды страшные с виду, но безобидные скаты-манты размером с лодку. Над мантой, шевелящей трехметровыми крыльями,— мелкая свита, под брюхом же — рыба-лоцман копирует малейшие движения хозяйки. Скот любит тереться о якорную веревку или шланг водолаза, спасаясь от блох, и может утащить лодку на несколько миль в море; по временам, повинувшись неясной прихоти или хорошему настроению, эта крылатая подушка выпрыгивает из воды в воздух, как летучая рыба. Голубые и черные морские звезды, питающиеся кораллами и съевшие уже многие километры их,— злейшие враги рифа; чтобы убить такую звезду, нужно впрыснуть ей в серединку рыбий яд. Прячется под водой морской еж с тонкими длинными иглами и осторожный осьминог; хрупкая офиура на длинных паучьих ногах спешит в укрытие под пучки водорослей, спугивая самое красивое существо на свете — голожаберного моллюска. Спинка у него черная с желтым обводом, вдоль спинки — две голубых полосы, красные рожки — как у улитки, а жабры напоминают красный цветок... Морские иглы, морские ангелы, хищные групперы, королевские окуни и макрели! А вот это напоминает бизнес, да по сути им и является: ядовитая актиния, или анемон, метровое животное-растение шевелит щупальцами и ждет добычу. Рядом вертится подловатая рыба-клоун, приманка, на которую яд не действует. Подманив на погибель мелкую живность, она питается ее остатками, а то и отнимает добычу у актинии. Но пора на поверхность, и спасибо кристально чистой воде: приближается мгновенная смерть — страшная медуза-оса с десятиметровыми щупальцами...

На больших островах океан разрешает жить животным и даже людям. Выглядит такой остров, как пирог с зеленью: синяя гладь воды, белая лепешка песка и шапка густой тропической листвы. Везде одно и то же: отмель, пляж, мангровые заросли, лес. На отмелях кишат прозрачные песчаные крабы, поедающие добычу, которую выбрасывает волна. В мангровых бухтах обитает илистый прыгун — рыба, победившая мироздание: она прыгает по суше, качая воздух к жабрам, пьет из луж, ест мелких рачков, крабов и мокриц и нагло взбирается по мангровым корням за насекомыми. Если же говорить о корнях, да и о зелени, то всем этим особенно богаты острова Каприкортн и Банкер в 40—80 милях от Глэдстона. Там растут и бананы, и кокосовые пальмы — их орехи приносят море, и, прорастая, они дают жизнь новым деревьям. Крупная, круглолистная пизония и турнефорция, прямые, изящные стволы пандануса на конусе из воздушных корней, длинные плакучие листья казуарины защищают землю от раскаленных лучей солнца...

Но, может быть, главные хозяева больших островов — клювы и крылья? Здесь живут голуби, белоглазки, морские орланы; рыхлый песок изрыт норами тонкоклювого буревестника и птицы-овцы. На лесистом Хероне нет крачек и чаек, зато их тысячи на Мастхеде и Уан-Три-Айленде, где много трав и кустарников. Олушей на островах Каприкортн нет, однако восточнее, на островах Банкер, живет коричневая олуша; кое-где попадают

серебристые чайки и крачки Берга. Утром по некоторым тропам больших островов Барьерного Рифа проходит к воде до тридцати тысяч птиц в час. На закате, устраивая визг и бедлам, возвращаются с моря ночевать изящные коричневые крачки — нодди; семь-восемь гнезд их из листьев, склеенных пометом, виднеется на каждом дереве. На часок наступает тишина, нарушаемая лишь слабым «плонк» — это рифовая цапля хватает зазевавшегося краба, — а затем ночь взрывается хриплыми воплями. Вернулись буревестники! Их толстые тела плюхаются на песок, и быстрыми шаркающими шагами птицы торопятся к норам кормить птенцов, а те уже приветствуют их пронзительным визгом.

Однако никакой гвалт, даже этот, не может продолжаться вечно. Понемногу опять наступает тишина. Риф засыпает... Застыли на деревьях ночные гекконы, еле слышно воркуют в кронах горлицы. Вьются над цветами тюльпанного дерева и гибискуса желтоклювая нектарница и сине-зеленый зимородок, карабкается по стволу полуметровый варан. Замерли в листве и валежнике изумрудные квакши, крупные коричневые сцинки, скорпионы и сколопендры, заснул, казалось бы, в паутине между деревьями крупный длинноногий паук — нефила. Кажется, уже ничего не должно произойти до утра...

Но вот появляется в море во время ночного прилива гигантская горбатая тень, выползает на берег и движется по отмели.

Медленно, как во сне, бредет это морщинистое существо — королева рифа, готовая к битве и закованная в рыцарский панцирь. Когда она не в воде и весит почти двести килограммов, двигаться по песку — мучение. Но уже конец октября, и надо идти. Надо отложить яйца.

Так будет еще не однажды. Может быть, пять раз, а может, и семь — до конца февраля... Черепаха бисса не уйдет далеко от берега. Сорок или пятьдесят метров. Но каких! Она уже устала, а ведь нужно еще рыть яму метровой глубины. И она роет. Всеми четырьмя лапами; когда же приступает к камере для пятидесяти белых яиц размером с теннисный мяч — только задними: передними надо придерживать осыпавшийся песок с краев ямы. Через десять с половиной недель появятся на свет черепашата.

Им предстоит куда более тяжелый и страшный путь к морю, чем их матери: сквозь строй чаек и цапель днем, крабов-привидений и акул — ночью. Лишь четверо или шестеро черепашат из вылупившихся за сезон двухсот достигнут воды. Хорошо еще, что нет двуногих врагов: охота на зеленую черепаху, черепаху бисса (настоящую каретту) и логгерхед (ложную каретту) давно запрещена. Бисса уже не платит жизнью за черепаховый рог, фактория на Хероне по его переработке закрыта, и суп из черепахи сварят разве что браконьеры... Но почти никто из потомства все же не уцелеет.

Это будет потом. А сейчас яма закопана, маскировочная траншея проделана, и надо как-то доковылять до воды. И она ползет, пуская слюну от страшной усталости.

Ползет уже сто миллионов лет.

Петенька замолчал и закрыл глаза.

Я тоже молчал. В окна сырого, прогнившего общежития смотрела глубокая ночь.

— Да... — сказал я. — Понимаю. Но что ты будешь там делать?

— Займусь подводными съемками. Буду оформлять альбомы для разных издательств. А главное — устрою образцовую черепашую ферму. Такие есть, и давно! Компания «Caribbean Conservation» накрывает ямы с яйцами проволочной сетью, собирает в нее молодняк, самолетами отправляет его в охраняемые районы и выпускает у берега. — Петенька возбужденно сел. — Черепаху можно

держат в тазу, в ванне — ничего сложного! Надо только дважды в день менять воду, давать свежий корм и не забывать про антигрибковую мазь. А некоторые «абос» — аборигены — даже и воду не меняют.

— Ленятся?

— Да нет... Выставляют клетки на отмель, а прилив и отлив все делают сами. Ты не хочешь поехать со мной?

Я закашлялся.

— А что такого? — энергично продолжал Петенька, с надеждой глядя на меня. — Конечно, к этой стране на хромой козе не подъедешь, но... Семьи у тебя нет, карьера явно не светит, временную визу я тебе всегда устрою. А дальше посмотрим... При их безлюдье и просторах стоит сделать один шаг в сторону от цивилизации — и пробабилитность того, что кто-то когда-то спросит у тебя документы, равна нулю! Даже в туземную лавочку гонять на моторке буду я. И фермой моей власти будут довольны... А может, мы тебя со временем и легализуем. Пиши себе, читай в тишине... А?

— Заманчиво, конечно... — сказал я. — Спасибо, Петенька. Ты только какой-нибудь чушке вроде Глызина не расскажи свою сказку. А то поднимут они с Сэмом Афанасьевым архивы, откопают утаенное инородцами завещание Миклухо-Маклая в пользу ЗАО «Русич» со штаб-квартирой в Сан-Франциско... и твоих черепашат никакое ЮНЕСКО не спасет. Он, кстати, не знает, где твой мухопитомник?

— Не волнуйся. Так что, едем?

— Нет.

— Почему?

— Не хочу становиться в позу, но я привык к своей стране. А потом, кому там нужно то, что я пишу?

— А здесь кому? — Он криво улыбнулся. — Посмотри на себя.

— Нет, лучше ты на себя...

— Родители меня отпускают. А остальным наплевать, наплевать, что бы ты там ни говорил о родине! — крикнул он.

— Хорошо. Мне не наплевать.

— Тебе? — Он широко раскрыл глаза. — Я тебе нужен?

— Но я же тебе, оказывается, нужен...

Мы долго молчали, не глядя друг на друга. Потом он опять нахмурился.

— И что нас ждет рядом с глызиными? Любоваться на них всю жизнь? Ну нет!

— Я тоже не могу им помешать как надо бы. Но пытаюсь.

— У тебя есть свой Риф?

— Да. Единственное, что реально осталось.

— Покажешь?

— Конечно. Ты, Петенька, хорошо учился в школе?

— Прилично!

— Я был уверен. Значит, ты найдешь его на карте в два счета. Скажи, откуда этот отрывок?

Я сунул руку в тумбочку, набитую книгами, и вытащил не очень толстый зеленый томик с цифрой «5» на корешке.

— Вот, слушай: «Все похоже на правду, все может стать с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее, на могиле напишется:

«Здесь погребен человек!» — но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости...»

Он сделал движение, словно хотел закрыть лицо руками.

— Я никогда этого не слышал,— тихо и уверенно сказал он.— Я бы не забыл. Кто это?

— Гоголь. «Мертвые души». Если хочешь, возьми с собой.

Он взял.

— И это они хотят заглушить матом...— Петенька вдруг оживился.— Знаешь, что я сделаю? Позвоню завтра, раскошелюсь — на святое дело не жалко. А потом придут двое ребят... один повыше и с залысинами, у другого сломан нос... и оставят от этих курсов груды мусора!

— Ну вот... Не все же здесь такие, как Глызин! Оставьте кучу беделог без крова — и все. А дядю моего хорошо отблагодаришь? Нет уж, Петенька, хуже, чем они сами себе делают, им никто не сделает. Решай лучше свою судьбу!

— Я еще ничего не знаю,— сказал он через пару минут, вздохнув.— Мне надо подумать... Но, наверное, с завтрашнего дня я начну сворачивать дела.

Однако завтрашнего дня не оказалось.

Я появился в нашем недолюксе около семи вечера и сразу почувствовал: что-то случилось! Будучи примерным мальчиком, Петенька никогда не разбрасывал своих вещей, а сейчас они валялись как попало, словно кто-то совершил жадный и стремительный обыск. Самого Петеньки нигде не было, хотя я был уверен, что он рядом. Я заглянул в ванную, во все туалеты, наконец подошел к знакомой железной двери и увидел невероятное: она была приоткрыта... «Ремонтируют»,— подумал я со слабой надеждой, хотя ремонт был почти закончен. Миновав пещеру унитазов, я внедрился в щель и проник в бывшую Петенькину комнату.

Она была пуста. Но дверь в коридорчик кто-то распахнул, и оттуда слышались хриплые, возбужденные голоса. Я двинулся туда, дверца мухопитомника была также распахнута, и под его мерзкими сводами, среди луж и кала стоял Петенька в двубортном костюме и при галстукке. Но галстук съехал набок, костюм был грязен, а лицо его я никогда не забуду — дикое, перекошенное, зверское. Перед Петенькой на коленях и чуть ли не в луже коленями стояла плачущая Дрель, протягивая ему сорванные с ушей золотые серьги, но он не замечал ее... И ни одной мухи!

— Что случилось?! — закричал я.

Петенька, очнувшись, повернул ко мне меловую маску лица и прохрипел:

— Рашида... племянница ее... выследила! Готовилась...— как в бреду, бормотал он.— С машиной... с контейнерами... с напарником! Жестоко найду... страшно...— Лицо его стало почти человеческим.— Страшно,— повторил он уже не угрожающе, а жалобно, как ребенок, которому рассказали плохую сказку.

Я отвернулся и вдруг услышал за спиной нервный смех.

— Петенька, ты в порядке?

— Это я над тобой смеюсь,— сказал он, глядя на меня.— И над Дрелью... Видишь, какая я... мразь!

Все-таки он был сильный человек.

— Ее поймают,— сказал он вяло,— но мне это не поможет. Шефы будут рады дать мне пинка... Или закабалят на всю жизнь. Надо выиграть время, пока никто не узнал...

— Время? Для чего?

— Спасибо тебе,— быстро продолжал он, не слушая,— успокой Дрель, она не виновата, а мне нужно быстро, сейчас же, триста фунтов! Со счета не снять — догадаются...

— Кто догадается? О чем?

— Ладно, я знаю, кто мне даст.— Он по-прежнему не слушал.

— Только не на Пречистенку! — в ужасе сказал я.— Слышишь?

— Ах, да хватит уже меня воспитывать! — рявкнул он, покраснев.— Захочу — к таким мерзавцам пойду, что ни тебе, ни Глызину во сне не снились!..

Примерно через час на безлюдной набережной мы обнялись и расстались. Мне не хотелось возвращаться в свою комнату. Прислонившись к парапету, я долго смотрел на темную воду, электрический космос другого берега и высотное здание напротив меня. В этом доме не горело ни одно окно, только небольшой прожектор на крыше, и там, в неярком конусе света, на огромной высоте кто-то стоял и следил за нами. Ему, наверное, видна была половина Москвы — тысячи бетонных прямоугольников, тысячи черных и горящих точек, неподвижных и медленно ползущих в ущельях улиц. Кто он, рабочий, сторож?.. О чем бы я спросил его, если бы мог? Когда исчезнут эта темнота и тишина? Но ведь я сам знаю, что завтра утром... Откуда-то долетел бой часов, конечно же, по радио. Кремль был отсюда слишком далеко. А тот, на крыше, все стоял и не шевелился. Мне вдруг стало тоскливо. Я повернулся и пошел в общежитие.

Больше я никогда не видел Петеньку. Я даже не уверен, что хочу его видеть, хотя нам было хорошо вместе. Может быть, потому и не хочу. Мало ли, что еще окажется при новой встрече? Впрочем, стоит ли так уж сомневаться, что он восстановит утраченное и, приумножив его, доберется рано или поздно до своей цели... Я давно переехал на частную квартиру и, переезжая, конечно же, оставил дяде свой новый адрес, чтобы Петенька мог прийти ко мне, или написать, или позвонить. Но пока его нет.

Картина, которую я легко себе представляю, всегда одна и та же: много белого песка, по которому к темной, дрожащей черте воды не спеша идет человек. За ним, переваливаясь, двигаются овальные тени: одна, три, десять, пятнадцать, пятьдесят. Это ползут дети, и, замыкая шествие, подгоняет отстающих морщинистая бессловесная мать — гигантская черепаха бисса...

г. Челябинск



Иван ПАЗДНИКОВ

ЖИЗНИ ВОЛОСОК...

Из цветоведения

*...Белеет парус одинокий
М. Ю. Лермонтов*

Белеет парус одинокий...
Но нет — не должен он белеть,
Обязан цвет среды иметь:
В лазури чистой — голубеть,
В грозу — хоть капельку синеть,
В закате огненном — краснеть...
А он решил свое посметь —
Рефлексов вовсе не иметь!
В стране родной, в стране далекой,
Законам вопреки — белеть!
...Немудрено стать одиноким.

Музыкальная картинка

Музыкант естественно двигается за инструментом —
развивается, как растение,
расцветает кодой —
и становится колеблющимся постаментом
групповой композиции
слушающего народа.
Музыкант поднимается, себя вырывает с корнем,
кланяется, увядает,
осыпается руками.
Композиция рушится овациями, колется
и... разбирается на детали
входными дверями.

* * *

Гора стоит. Туман влечет.
Звезда, нема, летит.
По руслу тела жизнь течет.
Душа на дне стоит.

Бульвар лежит. Окно глядит.
А улица пошла.
Ждет дверь. Играет аппетит
На краешке стола.

Листок забыт. Кора молчит.
Вершина и Луна.
Уснула крыша. Флаг торчит.
И синий свод без дна.

Стоит гора, а на горе
Такая жизнь идет:
Звезда жучком сидит в коре,
Туман в горшке цветет!

*Лучше синица в руках,
чем журавль в небе
Пословица*

* * *

Держал синицу,
Слышал журавлей.
А у синицы контуры жирней.
Крючками перьев небо бороздя,
Журавль летел —
Под брюхом два гвоздя.

В руках синица —
Радости комок.
Домашний взгляд и округленный бок.
Она чирикнет, а журавль простонет,
И звук
В бесстрастном воздухе потонет.

Смотрю на небо,
На ладони вниз.
И спора нет об участи двух птиц —
Пущу одну и обниму другую.
Я выбор в жизни
Только так толкую.

Человек

Мою руки с мылом,
Изготовленным из костей животных.
Ем мясо в борще, котлете, плове.
Ношу яловые сапоги, перчатки, шубу...
Это и многое другое
Взял от терпеливой скотины.
...Откровенно смотрю на небо:
Пожалуй, Козерог, Овен и Буйвол
Уже нагуляли хорошее тело...

Песочные часы

Мир задуман ненадолго:
Изливается песок.

Пять минут — пустая колба,
Прерван жизни волосок.
Только сверх часов, помимо —
Времени беспечен ток.
Емкость жизни устремима
Опустеть в кратчайший срок.

* * *

Как патефонная иголка,
Торчу, внимая следу дня.
Жизнь длится долго, долго, долго,
Ломая и тупя меня.

Поэзия — чугунный рупор
Уставших сердца, мозга, губ...
И это больно, это глупо —
Был тонким, а теперь огруб.

А время кружит, кружит, кружит,
Являя битых истин блеск.
И надо б музыку наружу!
Но вы заказывали треск.

*г. Каменск-Уральский
Свердловской области*



Триптих с тремя неизвестными

РАССКАЗЫ

ТАТЬЯНА ОНЕГИНА

Но как я сяду в поезд дачный
В таком пальто, в таких очках?..
В. Н.

Странствование, странствие — на таком местоположении настаивал мой рассказ, не в обиду другим имеющимся в литературном пространстве, склонным к оседлости жанрам. Так уж оно выходило, так уж вырисовывалось: трехстворчатый складень, три картинки, могущие быть сложенными в единое поле сюжета — без попытки сделаться отдельными, так сказать, ключевыми вехами пути. Всего-то один путь-дороженька...

Вот только путешественники попадают разные.

Но путешествие и странствие тоже рознятся, хоть и совпадают иногда по времени. А иногда не совпадают вовсе, и тогда твой «свободный ум» ведет тебя совсем не туда, куда ноги. Агрессивно-впечатлительному большинству, впрочем, трудно понять, куда именно, как и простить странствующему внезапность его маршрута, кажущееся отсутствие целеполагания. Наш гражданин, посетитель турагентств, отлично знает и конечный смысл, и эстетическую пользу, которую можно извлечь из грядущего путешествия, не говоря уже о пунктах назначения. Жадный дегустатор, он готов обглодать чужое пространство до нуля, сохраняя при этом приличествующую моменту лесковскую «позу рожи», полную национального достоинства. Втайне он, конечно, надеется на родство со своим романтическим предшественником, открывавшим мир как собственную судьбу — для самого себя. Но мир девятнадцатого века уже поделен, открытия внесены в реестр, реституция — нежелательна.

Странник ничего для своей личной выгоды не ищет, никакой такой экзотики не жаждет. Человек странный, *странний*, он позволяет себе и странничать, то есть чудить, вплоть до полной предрасположенности к чуду; готов он и странствовать-страдать, напрашиваясь на милость встречных и поперечных, испытывая их на *страннолюбие* как на особую человеческую прочность.

«Странные люди пришли!» — оглашается в пьесе страннолюбца русской сцены Островского. Пришлому люду его театра, всем этим нищим паломникам и худым прорицателям, по идее тут же должна явиться встречная милость-копеечка, вечный хлебушек жизни... Несмотря на уверенность Феклуши (это уже из другой пьесы), что на свете есть страны, где «все люди с песьими головами». Странничанье и есть прямой, наикратчайший способ опровержения этого чудного факта, попутно обнаруживающий песьи головы у своих же соотечественников.

Выходит, можно странствовать, не удаляясь от родных пенат. Чему подтверждением лучший странник нашей культуры — А. С. Пушкин. Что бы мы де-

лали без его Африки, без Адриатических волн и Бренты, без Испании и Рима, без всей его Руси Великой и тихой украинской ночи в придачу, без плывущей по Мировому океану бочки, в глубине которой, как в родной утробе, мать с младенцем дрейфуют меж сказкой и житием? А осуществлялся сей дрейф или из *Одессы пыльной*, или из засыпанных снегом и листвой Михайловского — Болдина, или из гранитного Петербурга, под протяжную песнь гребцов с Невы, жужжа-нье веретена, *Парки бабье лепетанье...*

...Приходящую женщину звали, как это ни странно, Татьяна Онегина. Мне рекомендовала ее с лучшей стороны одна знакомая, когда я разыскивала кого-нибудь себе в помощь по хозяйству.

Звук имени выплыл из водянистой глади мимолетного взгляда незнакомки, сопровождаясь ускользящим рукопожатием, — и я опешила. А потом рассмеялась. А потом внутренне как-то напряглась. Получалось, что бессмертный пушкинский образ (даже его двойной посланник) будет мести у меня полы! Но хозяйство есть хозяйство, оно нуждается в постоянном поддержании порядка. А звук — что ж?.. Звук может быть и случайным, и напрасным — нам ли не знать. Тать-тать... тья... на... О-не-е... ги-на-а-а... Волшебство фонетики, вяжущей язык, протяженность таинственной пустоты.

Она являлась регулярно раз в неделю, чтобы разгрести мои авгиевы конюшни, и мы пили чай-кофе в завалах кухни, ведя долгие-предолгие беседы, пока пыль, медленно плавая, совершала свой естественный кругооборот, укладываясь в нужные ей места. Пыль нельзя было тревожить раньше времени. Да и разговор наш сам должен был прийти к какому-нибудь естественному концу. Тогда Татьяна бралась за палку, тряпку, и начиналась уборка. Попутно шлепала босыми ногами по моему паркету — разряжалась и заземлялась.

В процессе уборки оказывались отключенными все электроприборы, начисто вырубались телефон и домофон, ножи и вилки исчезали из обихода, вазы покрывались сетью трещин, а на семейных иконах вырастал дополнительный временной налет. Это были как бы уже не вещи, а культурный слой, исчезающий и мной, не скрою, оплакиваемый.

Но Татьяну никак нельзя было назвать нерадивой или неряшливой, а тем более заподозрить ее в злонамеренности. Напротив, она отличалась крайней душевной и физической чистоплотностью, будучи самой рьяной прихожанкой церкви — там она служила и молилась, поверьте, тоже не корысти ради. В свободное от работы время занимаясь распределением вещей для бедных в церковном благотворительном фонде. Особенно ценя обувь. Потому что, как говорили распределяющие, без одежды еще туда-сюда, а без обуви никуда.

По этому случаю все мои туфли, штиблеты, «шузы» постепенно гуськом переходили на общий перекресток коллективных больших дорог.

Туда же уплывали и паруса простыней.

Я не роптала, собственноручно платя дань.

Признаться, после посещения Татьяны, похожих на татаро-монгольское нашествие или небольшой торнадо, у меня всякий раз возникало особое чувство — гармонии, что ли. Или некоторой примиренности, так, пожалуй, можно было это назвать. Смирненное сердце не даст попасть в сети к нему, к врагу человеческому, — однажды прошелестело из клубов выдуваемой пылесосом пыли... А потом что-то звякнуло, зазвенело-затрепетало: смирение... самоукорение... молитва... обязательно на ночь; молиться хоть десять минут, но со вниманием...

Я пробовала со вниманием молиться на ночь. И действительно, электро-связь вскоре восстанавливалась, телефон начинал трезвонить с неистовой силой, от домофонных же домогательств вообще отбоя не было. Исчезнувшие вещи материализовались, хотя и в самых неожиданных точках. Как будто налетевший смерч всосал их, помучил да и выплюнул. Причем с некоторым даже избытком — в виде подсыхающих роз, кукушкиных слезок и гераней, бездомных

котят, птиц в дивно прозрачных клетках, песочных часов, некомплектных пар совершенно не нужных мне тапочек из собачьей шерсти, мелких камешков бюрзы, а иногда даже предметов культа... Мой указательный палец с тоской проходил по тумбочке возле кровати, по малиновому глянцу обложки — смахнув вечную пыль, я открывала Книгу, там лежащую, на той самой странице, которая почему-то была мне нужна в данный момент. Жизнь продолжалась, но чувство гармонии исчезало.

А вот от совместного чая оставался какой-то влажный парок, слабый след, от длинных наших разговоров и споров на пустом и не пустом месте, от теплящейся лампадки и в постные, и в скоромные дни... Трапеза любви выше поста, — снова прозвенело мне и смолкло...

Но почему, почему все-таки Татьяна Онегина, недоумевала я? Зачем так буквально переведено на язык нашей «прозы жизни» пушкинское поэтическое волхование, — чтоб вместо имени-дара получилась бледная копия? Оригинал ведь утрачен безвозвратно. Он, как известно, давно подменен мифом, да к тому же еще и чисто литературным, хитрыми моделями игры для самодовольно выигрывающего читателя, разными концептуальными полуфабрикатами — бросай себе на авторскую сковородку и жарь!

Я, ей-богу, не знала, зачем на мою голову послана Татьяна Онегина! Хотя уже не отделаться было от навязчивого хода: ну, пусть эта героиня (реальная моя собеседница, уверяю, ни в какие героини не лезла)... пусть она будет как бы следствием «метапсихоза»: пушкинская Таня удрала такую штуку и не замуж за генерала вышла, а, допустим, стала первой писательницей-феминисткой, взяла псевдоним Онегина и, путившись в странствия, написала роман. Но не в стихах, а в прозе... А затем, спустя столетие, ее душа перекочевала в тело моей современницы, чтобы там жить и стариться. Потому как тот, Татьяны милый идеал, согласитесь, совершенно невозможно представить себе в салопе и чепце, а только с пером в руке, вечно пишущей свое письмо... Вечно машущей и машущей своей тряпкой... Уфф!

Размышление набирало обороты. Татьяна с легкой пушкинской руки навсегда была обречена хранить под девичьими лепестками живую, изменчивую человеческую суть. И, глядя на чистый пробор посреди густой, уже седеющей гривы волос, на низко скрученный на шее пучок, не сравнимый со спасительной луковкой, на выцветающие светло-водянистые глаза и иконописный нос над острым подбородком, являвшие какой-то хищный и изможденный оскал, я думала вовсе не о черных локонах и вечной любви, а о том, кто же все-таки она такая, *эта моя* Татьяна? И не является ли вполне заурядная видимость, без всяких лепестков и девственных капель росы в сердцевине цветка, всё тем же, что и сто лет назад, — покровом для сохранения тайны?

— Ну что, начнем наш «тэйбл-ток»? — осторожно спрашивала я пришедшую с мороза.

Пока она разоблачалась в прихожей, снимая какую-то старую овечью доху, на стол ставились чашки.

— Начнем, — живо отзывалась Татьяна, вовсе причем не настаивая, чтобы наш «тэйбл-ток» был великопостным «фэйсом об тэйбл». Трапезу украшали и колбаска, и сыр, и шоколадные конфетки.

— Слыхали ль вы?... — разливая чай, начинала я, почти как у Пушкина. Как будто *невец любви и печали* мог быть слышен не только за рощей, но и в пределах отдельно взятой квартиры. — Слыхали ль вы, что по отцу генеалогическое древо Пушкина восходит к прусскому выходцу, некоему господину Радше? Согласно некоторым, впрочем, не вполне достоверным источникам, этот господин являлся по происхождению шведом. Няня же великого поэта, Арина Родионовна, кладезь русской премудрости, источник и составная часть пушкинской словесности, — есть такие сведения — была тверской карелкой. Поскольку сам Радше — отчасти тоже пушкинский миф, почему бы и нам не пойти дальше, в ту

же мифическую сторону, и не добавить к всемирному лику «потомка негров безобразных» еще и норманно-варяжские и даже финно-угорские вкрапления? Да и московскому «мещанину», который предпочитал в своих письмах изъясняться на языке Европы и ставил французскую подпись Poushkine, такие черты были бы вполне к лицу. Жажда путешествия, побега, путеводных пересечений оказывалась у него прямо-таки в крови. Слава богу, ни один из национальных «генов» не возобладал окончательно, иначе благодарные потомки давно бы уж передрались за русского, эфиопского, шведского Пушкина, отвоевав его у малого отечества Москвы и Петербурга в пользу чьей-нибудь Большой Земли. Что же нам бы осталось? Образ «двойного изгнанника» — Африки и России, на одной родине вынужденного тосковать по другой? Впрочем, «под небом Африки» своей поэту так и не суждено было греться. Зато, сидя в Михайловском и за неимением возможности по-настоящему путешествовать совершая эскапады и в сторону кружки, и в сторону сказки, вольно ему было странствовать по свету. Если ж рядом попадался еще и какой-нибудь ручеек, или речушка, или *реки сверкающий поток*, странствие и вовсе становилось увлекательным. Отсюда совершенно особое отношение Пушкина к водной стихии: через воды Невы и Ладоги — к северным морям и далее, далее, мимо острова Буяна...

Замечали ль вы, что мироощущение человека, живущего близ большой воды, вообще отлично от, так сказать, сухопутного? Ведь само движение пушкинской образности, эта скользкая легкость перехода от одного фрагмента пространства к другому — при едином душевном настрое, — чисто «водное», волновое. Покачивание, скольжение — по земле, посуху так не движутся, там похаживают и посматривают, вставляя спички впечатлений, чтоб веки не закрылись со страха иль от скуки. А здесь глаз совершенно по-иному раскрывается, дыхание по-другому захватывает. И звук по воде распространяется иначе — приходит издалека и уходит вдале, а в эхо звука еще стоящего уже вторгается новый: в рожок и песню удалую — напев Торкватовых октав. Да и вечная Лета, в которой плывет и не тонет пушкинская строка, по сути дела, то же единое водное пространство, что и Нева, тихий ручей или озеро, бродя над которым пугал он стаю диких уток. Кто знает, не мечтал ли сам Пушкин о какой-нибудь бочке, в которой бы его за мнимые и настоящие грехи столкнули в воду, — и был бы он прибит к любому берегу? На роль «бочки» вполне годилась и сума, и тюрьма, и женитьба на чудо-бабе... Только вот где ж она была, та всеохватывающая материнская плоть, и та Лебедь, чудеса из рукава мечущая, и куда задевалась среди золотых скорлупок живая белка поэтического вымысла?..

Я вдруг запнулась и смолкла. Татьяна, сделав обжигающий глоток, закашлялась и перекрестилась на икону, висевшую в углу кухни.

— Мне вспомнилось новгородское житие святого Антония, родившегося во граде великом Риме. Когда он стал отпадать от веры христианской, то положил в бочку все свое оставшееся имение и пустил ее в море, сам же пошел в дальнюю пустыню, к монахам, и принял постриг. И вот молится Антоний на камне у берега моря, как вдруг буря отрывает этот камень и несет его по теплым волнам в Неву, а затем в Волхов. Через два дня Антоний уже был в Новгороде. Представьте себе изумление местного люда при виде иноземца, не знающего ни слова на их родном языке да еще лепечущего какую-то странную молитву! Лишь потом, когда Антоний начинает изъясняться по-русски, он является перед епископом и открывает свое происхождение. Тогда дают ему землю для основания монастыря, а выловленная бочка с драгоценностями, приплывшая, о чудо, к тому же берегу, доставляет средства для построения храма во имя Рождества Богородицы. Первого настоящего монастыря с каменными зданиями во граде. Чем не зеркальное отражение той же истории с бочкой?..

В другой раз мы пили чай с липовым медом, а может, даже и с пастилой.

Семейство мое в данный момент находилось на даче и никак не могло отвлечь нас от этого занятия, настойчиво попросив ласки, уважения, подать яиц

всмятку и одновременно вкрутую — к завтраку, найти вчерашнюю газету, потертые очки и прошлогодний учебник географии — к обеду, а также дав мне множество наставлений и ценных советов по жизни, ни одним из которых я не могла воспользоваться именно в силу отсутствия ее, этой самой голубки-жизни. В общем, ничто не служило мне живым укором, и я смело доверяла свои сердечные мысли сидящему передо мной другому человеку. Вернее, переадресовывала. Вернее, не человеку, а как бы персонажу, потому что звали его, как мы знаем, Татьяна Онегина: псевдоним из прошлого, готовый к странствиям сегодня...

Как-то во время чаепитий даже придумалось одно общее «путешествие» — на дачу, к семье. Воображение уже рисовало и поезд дачный, на всех парах несущий нас к заветной цели, и набоковский «крап берез сквозь рябь рябин», и наш одиночный крен небес в пыльном, полуоткрытом окне. Я видела (это в промозглое-то московское утро!) теплый, еще не напоенный комариным пением летний денек и наш песчаный карьер с небольшими серыми домами-бытовками, уютящимися среди золотых откосов.

Когда-то здесь была огромная гора, велись ударные разработки, в результате которых Подмоскovie оказывалось полностью снабженным высокосортным песком. Теперь вместо горы образовалась глубокая чаша со склонами, прорастающими по вертикали зеленым узорочьем. Мы жили на самом дне чаши, ниже всех уровней, где-то на линии бывшего здесь в допотопные времена моря, и гуляючи по дну, как по чреву гигантской рыбыны, частенько находили драгоценные камни-лилии и другие неведомые дырчато-резные породы, похожие на морские губки и звезды; цветных же камней было не счесть. Все окрестные жители собирали их буквально ведрами и устраивали у себя на участках сады камней вместо растительности, которая росла здесь чахло и медленно, — такие небольшие мертвые садики, где по восточному календарю можно было предаваться созерцанию, собиранию и достижению *праны*, *дао* или чего там еще, в общем, дать окружающей энергии самопроявляться. Перераспределяться, так сказать, по линии гармонии. Вдруг что-нибудь такое на самом деле образуется — цветы на песке, сельди в дождевой бочке... И мы тоже предавались, перераспределялись. Пока однажды не обнаружили на своем куске земли дивно-серый, похожий на мягкую детскую туфлю предмет. Долго гадали, что же это такое, как вдруг в туфле зажужжало, заклоуилось, и из нее тучами повывлетали осы, насмерть искушавшие нашу собаку. Она лежала с распухшей в результате осиных укусов мордой, и по лицу ее текли слезы. Гнездо до самой осени провисело под сводами шалашика, который сколотили себе наши дети. Никто не рисковал приближаться, хотя ос там уже не было.

Зимой дети и вовсе были в безопасности.

Сад камней растащили для саун окрестные меценаты; здешний народ любил ценности — курочка с золотыми яичками в курятнике, яйца Фаберже в банке.

Дети спокойно катались себе на лыжах с крутых склонов карьера. Мы же — мороз и солнце, день чудесный! — пили чай в городе: я и Татьяна. Под окнами баловались из духовых ружей чужие дети.

Так мы никуда, ни на какую дачу не поехали, выброшенные случайной волной на пушкинский берег-брег.

— А знаете ли! — воскликнула я. — Мне кажется, что и Татьяна была для Пушкина той же бочкой, по волнам жизни плывущей, заплывающей и в косматый поток древних преданий, и из Москвы в Петербург, и даже в будущее. — Я покосилась на выбившиеся из-под рабочей косынки Татьянины седые космы, на лихорадочно зардевшееся вдруг лицо. — Татьяны-бочки идеал искал он всю жизнь, а попадались все мадонны, беззаконные кометы и донны Анны, за которыми по пятам следовали всевозможные бесенята да статуя Командора-царя!..

— Признаться, я никогда не понимала, как это можно книги выдумывать! — тоже с горячностью перебила меня Татьяна. — Если б я была настоящей пи-

сательницей, я бы ни за что не занималась выдумкой, а лишь сердцу своему доверяла сочинительство...— Она прихлебнула чайку и даже не обожглась, у нее вообще была манера без разбора глотать и горячее и холодное, влажная бороздка заблестела на подбородке, каплей стекла на шею, которую невозможно было представить ни в кольце удушающих страстей, ни схваченной волосатым вервием юродивых и поэтов-правдолюбцев.

— Так вы совершенно отвергаете вымысел? — Я почти с умилением глядела на эту безвинную шею с бьющимся прямо посерединке пульсом сердца. Может, оно действительно прошло, время содранных глоток и витийствующих помыслов, песен и победных фанфар,— и уцелела одна лишь мысль человеческого сердца, как бы мне хотелось, о как бы...— Ну, вот вам самая что ни на есть правдивая история.— Тут я рассмеялась.— Мой сын как-то раз поймал зайца, да-да, истинная правда, голыми руками самого настоящего зайца! Вернее, зайчонка. Он что есть силы хлопнул по нему бумажным мешком из-под цемента, и зайчонок попался. Сынок посадил его в большую коробку на балконе, набросал туда травы и морковки, а сверху, чтобы животное не сбежало, придавил большой банкой с красной краской, которую только что купил муж, чтобы покрасить тамбур. А тамбур тот, заметьте, как раз находился под балконом... Ночью раздался страшный грохот. Когда мы выскочили на балкон, то увидели пустую коробку, опрокинутую банку, выкрашенный в результате протечки краски тамбур и убегающего в темноту огненного зайца. Слава богу, живой остался...

— Нет-нет! Я совсем не то хотела...— запротестовала Татьяна слишком уж поспешно, и я поняла, что и сама слишком спешу. Ведь и без меня было известно, что только воображение, идущее от сердца, а никак не от разума, даже самого высокого, дает право литературе-выдумке требовать к себе внимания, а тем более сочувствия. С какой это стати читатель будет к тебе благосклонен, если ты позволяешь себе, опережая его собственную фантазию, то и дело совать ему под нос плоды своего разума? На то ты и умный человек, чтоб тебя никто не понимал. Но Татьяна, к счастью, была далека от всех этих хитростей, она вообще не занималась литературой, так что сам ее посыл звучал чисто умозрительно, как у Пушкина: «Кабы я была царица...» Что из этого предположения вышло, все помнят.

Однажды, впрочем, она принесла мне какой-то высокаторжественный духовный стих да еще разок попыталась отредактировать мое, уже напечатанное в журнале произведение путем более правильной расстановки точек и запятых. Что я пресекла самым решительным образом. Впрочем, как говаривала моя мама: каждый человек единожды в жизни может написать книгу, хотя бы о ней, о своей жизни. Сама мама так ничего и не написала. Царство ей небесное, вечное, бессловесное... Теперь мамин уход озвучивает семейка нищих из лиц кавказской национальности, обосновавшаяся вблизи кладбищенского памятника. Страшный черный старик, пожилой джигит и два ребенка (мамаша отлучилась на рынок приторговывать могильными цветами). Они с акцентом просили подаяние, приговаривая протяжно, чисто по-русски: «Ради Христа», и «Спаси тебя Бог», и «По гроб жизни, сестра!» Я давала каждому в отдельности, хотя это явно была одна шайка, и демонстративно, у них на глазах, сыпала на сырую землю мелкие красно-желтые гвоздики, даже не подрезая стебли, и клала согнутый в венок ельничек — в конце концов если и украдут, это их грех.

Семья смотрела жадно и приметливо, но голос старика был хрипло певуч. Сестра... По гроб жизни... Нельзя ведь из могилы *петь во имя*, потому что сердце умершего не возрадуется, язык не возвеселится. Чужим дыханием теперь был полон воздух, но у меня не было сил последовать за ними дальше в какую-нибудь их пожизненно снимаемую хрущобу-хворобу, чтоб вдыхать сладкие запахи их тяжелой пищи, весь этот дым и чад, и слушать глупый гортанный ропот, как нельзя было и туда, к маме, в ее бессловесный покой...

— Ничего такого я не полагаю,— зачем-то продолжала оправдываться Татьяна.— Хоть и считается, что воображение — область дьявольская, я не противница, нет.

Она чуть покашивала светлым глазом, потряхивала седоватой гривой, не то чтоб порицая, но и не присоединяясь, а так, значит, смиряясь. И в эту неожиданно образовавшуюся брешь я тут же попыталась впихнуть другое изображение, позволила себе вообразить: после своего письма Татьяна и в самом деле ожидала от Онегина не «да» или «нет», а только того, что случится. Что и случилось в романе. К примеру, у Пушкина написано: «поток засеребрился», в смысле заря настала,— и он действительно засеребрился.

...Река, почти невидимая ночью из девичьей, с первыми лучами солнца засияла, будто ее отчистили от патины, и вернула весь свой блеск распахнутым окнам. Вслед за рекой стали течь дни, где «я к вам пишу», конечно же, осталось без ответа,— и один день протек, и другой, и третий... Наступили холода, нужные, кажется, лишь для того, чтобы окна, в которые летом гляделась река, теперь стали «стеклами холодными». И на них могла дышать уже не утренняя свежесть, а влюбленная девица. Чтоб чертила она «на затуманенном стекле» свой заветный вензель. А сам он, этот ОЕ, как в воду канул! Утек вместе с водой. Лишняя влага застряла лишь в «томном взоре, полном слез». Все остальное сделалось безводным, скованным морозами. Но в этой застывающей глубине и откристаллизовывается будущий образ Татьяны: одиночество, зеркальце под подушкой, полное звериных морд, столица, модный паркет, по которому, как по льду, скользят танцующие пары... Схваченная смертью Россия... Судьба... Смотрите, как вьется, как скользит мысль, прочерчивая путь: морозы трещат — как в огне трещат дрова — и серебрятся среди полей — как тот, иссякший поток,— и вдруг читатель почему-то «ждет уж рифмы розы» (да кому ж такое в голову придет посреди торжествующей зимы?!) — «на, вот возьми ее скорей». Кажется, не читатель, а она, Татьяна, примет в свое сердце Слово-Розу. Оно, пушкинское слово, возьмет и закольцует ее лепестками бессмертного символа, цветущего и на окнах средневековых соборов, и в русских соловьиных садах.

Но и тому, вензелю, кое-что перепадет. «Ванна со льдом». Волшебная струя шампанского. Значит, есть еще возможность им встретиться друг с другом там, в глубине? Их еще могут соединить гадание в сочельник, воск в блюде с водой, хор согласно текущих светил, кусочек стекла, наведенный на месяц. И все соединится, но героев не соединит. Как сказали бы теперь, информация передается от воды к зеркалу, от снега к стеклу, через зеркало в сон, через сон снова — на мерзлое стекло комнаты... И там, и тут Онегин предстанет — Медведь. И уже не вода, а кровь потечет, читатель помнит и знает... Но слово не может окаменеть, как сельский памятник поэту у ручья. Автор, словно раздвоившись, ныряет вслед за этим словом в «омут жизни», вслед за Татьяной тащится в Москву. Там ничто не течет, не изменяется. В этой московской жизни вообще нет ни одной текучей или отражающей поверхности. Даже зеркала на балах молчат. Свет пустой... Плен и прах. Отсутствие перемен. Но тут и появляется она, родоначальница движения и роста,— Татьяна-Роза. *Вироза*... Это она сама теперь скользит, движется, она сама — как движение вод. Силой одного сердечного воображения переносимая в тот сад, где любовь, полка книг, крест и сень ветвей над бедной няней, о которой все и думать забыли.

Есть только один человек, с которым Таня не сообщается,— это он, ОЕ. При виде его у нее «стынет кровь», так что даже слезы не льются. И сколько б ни стоял он перед ней с непокрытой головой «под дождем страстей», явившись вот так, «с корабля на бал», сколько б ни слали его, заболешего любовью, к водам,— не войти ему в тот поток. «Нет, поминутно видеть вас...» Нет, нельзя войти в поток, потому что это сама Таня и есть, а на ее щеках больше нет для него слез. И нету «тайных преданий», «ни с чем не связанных снов». Сама Таня — тайна, сон, слово.

И только когда бедный Онегин в последний раз едет к ней и видит

На синих, иссеченных льдах
Играет солнце; грязно тает
На улицах разрытый снег...

— только тогда он вдруг погружается в живую мысль человеческого сердца, и в этот бедный весенний петербургский день в таянии его снегов наконец замечает слезы на глазах этой женщины... Тогда-то Пушкин и прерывает свой роман просьбой поздравить друг друга с берегом.

Но какой там берег! Напоследок он еще раз поставит перед собой целое, сверкающее зеркало романа, который иногда считают незаконченным. И там отразится уже не «письмо Татьяны», а его собственное письмо и собственный его сон. Он вновь видит себя на берегу несущегося потока, но героев его с ним больше нет. В зеркале мерцает какой-то «спутник странный», какой-то «верный идеал» и те, кому он якобы читал первые строки романа — его второе «я»... Но кто оно такое? Неизвестно. В этой неизвестности, как в волшебной пустоте кристалла, и есть все; недаром по нему гадали. И нам оставлено это все. В последний миг романа, посреди остановки его движения, как в момент КОНЦА-НАЧАЛА времен, мы тоже наконец видим: грязное таянье снегов, синий иссеченный лед, в котором играет уже наш, сегодняшний свет... Его ни описать, ни удержать, ни завоевать — можно лишь увидеть...

— Ум с сердцем ссорится, и это есть источник мучений,— молвила Татьяна, казалось, впечатленная моими речами. Но как бы за что-то и укоряя.— Я в девичестве ужас как раздражительна сердцем была. Такие сучья себе отрастила, куда там!.. Однажды, вишь, помстилось, что подружка моя меня закладывает, так я, представьте, отметелила ее в школьном туалете... Это уже потом, после развода с мужем, я сучья-то пообломала... Мой сынок тогда в Оксфорде учился...— Она смиренно покосилась на меня краешком глаза, но я слушала самым простодушным образом.

— Он мне из Оксфорда писал по-английски,— продолжала Татьяна.— А я по-английски ни бум-бум. Дай, думаю, схожу в храм Божий. И пошла в церковь неподалеку. Хочу перекреститься на иконы, а меня оттуда чуть ли не метлой — церковь-то оказалась старообрядческая. Пошла в другую. И так хорошо мне там стало — лампы чадят да не гаснут, скамеечки стоят, чтоб все, а не только старики и калеки присесть могли. Чтoб и те, значит, у кого душа покалеченная, падшая. Только присесть... Вот я и присела и до сих пор сижу. Да и не только сижу — работаю, молюсь вместе с другими. И подступила я к такому пределу, когда передо мной открылось одно особое место — церковного старосты. Все к этому шло, и мне даже уже обещали. А взяли другую, пришлую какую-то. И так обидно мне стало! Долго, помню, обижалась. Вот однажды стою на выходе из автобуса, задумалась как-то, а народу кругом тьма. Еле продралась — и на ступеньку, не вышла, а прямо выпала из автобуса. И вдруг чувствую — что-то с моих плеч как свалилось, будто я платье на той остановке сбросила и стою теперь голая. Я через эту упавшую одежду ногами переступила — и пошла. И так хорошо, так легко мне стало! Тогда-то я и поняла, что такое — *падёт и не разобьётся*...

В ее глазах что-то плеснуло, но не выплыло наружу. Да и какая ей была польза в моем одобрении или сочувствии! Каким словом могла я отметить факт личного ее спасения? Разве что обозначить факт новой одежды с чужого плеча — подарить, откупиться... или рассказать в ответ такую же историю. Поделиться благодатью.

И я открыла было рот. Но меня вовремя остановил какой-то лишний звук.

Над чайной чашкой, с трещиной крест-накрест, кружилась оса. Откуда бы ей взяться под конец зимы, непонятно, но она жужжала и кружилась. Татьяна машинально помахала рукой возле лица, отгоняя острое полосатое тельце.

— Восстановление павшего естества состоит в восстановлении гармонии в человеке. Душа должна находиться в постоянном восхищении, пить сладкие, как мед, капли любви, веры, надежды... Наде-ж-ж...

К стыду своему, я уже не слушала, а с усилением бокового зрения следила — где-то там, по другую сторону зимы, гаснет золото дня, становясь червонно-тусклым, и уходящим, и святым, о чем я буду вспоминать как о вчерашнем счастье и, может быть, увижу завтра. Я прислушивалась к дальнему шуму воды, угадывая движение песков, рождавших все новые и новые водовороты в нашей узенькой, хитрой речке Истре, и металлический шелест серебристых ив по берегам неширокого потока, над которым, глядясь в быстрые воды, росли и ширились дворцы с помойками, мелькал среди строительного мусора огненно-красный заяц, а над всей этой нашей местностью с теремами и церквями, над человеческими бытовками в темнеющих просветах карьера звонили-перезванивались колокола и колокольцы, заставляя смиренно притихнуть в чьем-то отражающем зеркале обе наши, пьющие чай фигурки. Меня — с моим «Онегиным», Татьяну — со своей Книгой. *Liber scriptus*. Книга написанная.

— А все-таки воображение есть область дьявольская! Все наши страсти — это ложь по жизни... На груди крест, а в сердце дьявол... — Татьяна отставила чашку и снова перекрестилась. — Но если живешь по правде и делаешь ближнему добро, знай, что ложь и грехи его падут на тебя, и ты должен будешь понести все его страдания и искушения. Понести тяготы друг друга... Эх!..

Она схватилась за тряпку и, босая, решительно двинулась из кухни в комнату.

— Понести тяготы друг друга... Давай-ка, Таня, выпьем чаю? — предложила я и плеснула кипяточку в чашку с разбегающейся трещиной.

...И РОМАНТИЧЕСКИЕ РОЗЫ

...De profundis. Мое поколение
Мало меду вкусило. И вот
Только ветер гудит в отдаленье,
Только память о мертвых поет.
А. А.

В то лето, еще далекое от развязок, без всяких видов на призрачную Лету, в дачном поселке рядом с обманчиво-тихой Истрой, в воды которой можно погрузить свое тело возле одной серебристой ивы, а выплыть на берег уже у другой, гораздо ниже по течению, а то и вовсе обнаружить себя совершенно в ином населенном пункте, в то лето втемяшилась мне мысль о шведских корнях Пушкина, да не в разум, а в самое сердце втемяшилась, и я несколько экзальтированно репетировала свое шаткое и скорее всего ошибочное предположение с любым возможным собеседником — и дома, и на нашем общественном, находящемся вблизи от проезжей дороги роднике, где холодные струи образовали небольшой резервуар в плену бетонного кольца. Резервный, так сказать, фонд влаги.

Я тоже находилась в резерве. Экзальтация, фрустрация, а местами стагнация. «Хрен редьки не слаще», — шутит народ. Подъем, как водится, сменялся спадом, вверх-вниз по родным ухабам, вдоль да по равнине ровных отечественной жизни, которая так легко взмывает на этажи истории и столь же просто выпадает в земной осадок — вместе с тобой и твоими помыслами. Однако сама мысль о том, что существование подле большой воды было когда-то для ПОЭТА и полнее, и спасительнее, могла наполнять и меня в свой черед. Совсем в ином свете представилась мне вдруг (на берегу Истры) закованная в хрестоматийный гранит Нева. То вспухающая островами блоковских пожаров посреди ртутной разбегающейся глади. То стянутая льдами и снегами, намного превы-

шавшими человеческий рост какой-нибудь хармсовской Фёфюлички, пробирающейся к заветному окошку с пакетиком передачи в руках — для того, кого уже не существовало в живых в этой лучшей из всех, дурной бесконечности, им воспетой. На каждого, кто когда-то провалился там под лед, кто затерялся на ледяной дороге жизни среди нечеловеческих сугробов, до сих пор взирает острожная Петропавловка, хорошо помня также и коллективную виселицу на пятерых: веревка оказалась непрочно да верхняя перекладина, кажется, не доведена, так что казнь декабристов отложили на пару часов. Самое время, чтоб какому-нибудь умному иностранцу сделать умозаключение, что, мол, в России порядком ни заговора не умеют составить, ни казнить; им же, пятерым, — еще посидеть на траве возле наскоро сколачиваемой виселицы, размышляя о том, что в России не казнили лет уже эдак пятьдесят; народ отвык от дела. По свидетельствам других, приговоренные к казни ожидали в местной часовне, слушая собственную панихиду. Гробы, в отличие от виселицы, были правильно изготовлены, и панихида началась вовремя...

По провиденциально ломкому льду, под который столь удачно в свое время провалились рогатые псы-рыцари, я мысленно переносилась дальше, к просторам Финского залива. Попутно отдавала дань крепости-орешку с его ядреной сердцевиной боевой русской мощи — теперешнему Ломоносову. Салютовала Кронштадту, тоже ставшему оплотом русской славы, но уже в борьбе не против иноземных шведов, а против своих же рогатых чертей.

Никакое «Ура! мы ломим; гнутся шведы» не могло поколебать мое восхищение очаровательно монотонным призраком балтийской свободы. Ведь пушкинское воображение, несмотря на гордость великоросса, уплывало туда же, в эти волны с их малым избытком соли и полезных водорослей, в обманчиво-холодноватую тусклость вымысла — о, я еще не знала настоящей Балтики!

«Святая Русь мне становится невтерпеж. Ubi bene ibi patria. (Где хорошо, там и родина.) А мне вела там, где растет трын-трава, братцы».

Где ж она росла, его трын-трава, на каком таком острове Буяне, в царстве какого славного Гвидона Салтановича?

Среди бледных волн так и застряла детская картинка: большая бочка с любимой женой и безвинным младенцем, названным в родном отечестве «неведомой зверюшкой», откочевывает «под ризой бурь». Обитатели ее не ведают, суждено ли им спастись. Не знают они и того, что их ждет впереди — белка, тридцать витязей прекрасных, врубелевская Царевна-Лебедь, возмездие в виде комара и возвращение блудного отца, добравшегося-таки до родного берега... Не знаю, кто подсказал Пушкину этот ход, уж не Арина ли Родионовна? И вправду, во второй раз сюжет «Сказки о царе Салтане» был записан именно с ее слов. Но не родной или чужой эпос — сама жизнь навевала. Какая-нибудь сто тринадцатая Царевна-Лебедь да лезущая отовсюду трын-трава...

Мне тоже не мешало увидеть какой-нибудь сказочный остров, и для этих целей годилась бы даже и бочка. На двоих. Куда бы я с удовольствием, погрузив сына, прыгнула. Но не было мне фарта путешествия в то лето. И вообще ничего не было и больше уже никогда не будет — света утром и материнской руки, мягкой тряпочкой оттирающей для тебя мир до детской картинки. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори...

Вот помощнице моей и наставнице Татьяне повезло гораздо больше. От Московской Патриархии она была направлена на небольшой, но уютный семинар на странную тему «Конец света, или Эсхатологические аспекты современного урбанизма» (это чтоб не очень страшно было пускаться в путь). И ехала она не куда-нибудь в Царевококшайск, а именно туда, через просторы Балтики, в царство славных шведов, на остров с многообещающим названием Готланд.

Так что всё происходившее потом было как бы отчетом-сказкой — для меня ни в какие сказки не верящей и ни с кого отчетов не требующей. Жившей се-

бе в самом низу, на развороченном дне песчаного карьера, похожего на огромную, вычерпанную двенадцатью разбойниками чашу. Среди дощатых обломков и недостроенных теремов. Хотите верьте — хотите нет, финт заключался в том, что Татьяна плыла на Готланд прямо-таки в самом настоящем дворце из одиннадцати этажей, с барами, ресторанами, шопами, дискотеками и игральными автоматами. Всё это незамедлительно проглотило, поглотило их семинар (остальные люди сели на борт сказочного парома в дружественной Финляндии, чтоб быть, как Иона, выплунутыми из чудесного чрева уже на неведомом Готланде).

Вода была серо-стальная, клубящаяся, как остывающая магма. Огонь, прикуренный от земного ядра, уже не вырывался. Можно было спокойно плыть прямо по курсу. Однако, мысленно заглянув из-за Татьянинного плеча вглубь, я решила, что если сейчас с носовой части туда прыгнет человек, этого никто даже не заметит из-за гула машин, криков чаек и развеселой музыки. Паром резал волны почище ножа, и я представила себя маленькой добровольной точкой этого маршрута, оставшейся чернеть далеко за кормой удаляющегося счастья. И мне стало так спокойно и хорошо от этого сознания, что никто и никогда больше не спасет — ни отцова воля, ни материнский плен.

По левую сторону во всю небесную ширь распласталась гигантская огненная креветка. Вначале она казалась птицей с огромным летящим крылом, потом стало совершенно ясно, что крыло — не крыло, а шевелящиеся щупальца. И многие лапы у птицы растут, и усики, и панцирь. И выгибается брюшко — сладкая, бело-соленая мякоть под огненным и горячим.

Точно такое же изображение они увидят уже на острове, в местном музее. Небольшая креветка из пятого века обозначится на надгробной плите среди рунических надписей, усиком закручиваясь в бесконечную спираль — лабиринт. Мордой же упрется прямо в маленького человечка...

«Готланд,— писала мне Онегина, как заправский путешественник,— самый большой остров на Балтийском море, лежащий приблизительно в девяноста километрах от шведского берега и отделенный от острова Эланда (особый начальный звук, не «э» и не «о», а «о-ё-о-о») участком глубиной не более ста метров. Столица Готланда — Висби (Висбю, особый звук «ю-у-у-у»), отдельная шведская провинция. Сама Балтика на пути к острову необычайно сильна и глубока и, кажется, не имеет ограничителя земли. Ровное известковое плато острова вышиной в тридцать — пятьдесят метров, с лишь местами превышающими эту высоту холмами, на самом деле представляет собой живописный райский сад. Грецкие орехи. Тутовые деревья. Инжир — Лазарево дерево. Виноград. Фиги и смоковницы. Лопухи растут вдоль морской кромки и достигают размеров семейного зонта. Белые лебеди плавают среди каменных глыб.

По нраву и обычаям жители Готланда сильно отличаются от остальных шведов, и язык у них очень древний и странный. В отдельные и, бывало, долгие периоды земля эта принадлежала Дании, но неизменно избавлялась от любого владычества. В 1808 году, во времена наполеоновских войн, Готланд взяли русские, и генерал Николай Бодиско в течение двадцати четырех дней непрерывно давал балы. Вскоре наши соотечественники были оттуда вытеснены.

На Готланде нет комаров!»

Когда участники семинара высыпали на верхнюю палубу, посреди которой, как в пекле, дымилась огромная красная труба, было отчаянно жарко. Жар выедал внутренности, тут и там валялись полуголые пьяные финки, жертвы сухого закона.

Земля явилась им всем сразу, прямо из пучины морской, как какой-нибудь град Китеж или тот самый Гвидонов остров. И было там всё — холмы, равнины, плодородные почвы, камни и скалы, военные зоны и заповедники...

Людей было шестеро, и в эту шестерку входили: театральный режиссер и писатель Ас из Риги, бывшая русская девушка Ваня из Таллинна, румынская переводчица писем Ницше, примкнувший к ним уже в Стокгольме, постоянно живущий там же китаец-поэт с именем цветка, ядреная молодуха из Нижнего Новгорода с улицы Красной Звезды, бывшей Христовоздвиженской, ну и она, почтенная Татьяна, — от Московской Патриархии. Китаец, правда, тут же исчез жить в сауне при небольшом пансионе, где разместили семинаристов, так что никто его никогда больше не видел. Остался лишь звук имени — Лили. Пятёрка нюхом определяла, жив ли он, по запахам вкусной и здоровой китайской пищи.

Семинар по эсхатологическим проблемам все никак не мог раскопчегариться, и семинаристы, предоставленные сами себе, гуляли по узким мощеным улицам, дышали у моря гниющими водорослями, въезжали на велосипедах в зарю. Что в этих условиях могло помешать пушкинскому завету дружбы? Конечно, ничто. Хотя среди цветистого «комьюнити», члены которого пребывали в постоянном самовозбуждении, с какой-то нездоровой алчностью интеллекта постигая науку общения, — среди них наша с Татьяной дружба была настоящей кукушкиной дочкой. Мы обе, наверное, кое-что понимали в горькой прелести одиночного перелета.

Разумеется, наша связь и взаимопонимание осуществлялись посредством е-мейловской почты, ее, родимой.

Кухонный чад не в состоянии был заглушить запаха роз, который бушевал повсюду. Розы росли кустами и деревьями, среди мелких кувшинок и пышных соцветий бузины, стражами стояли у порогов и черепичных крыш, под которыми, казалось, не тайлось никакое другое богатство, кроме этого, кай-гердовского. Розовые кущи распускались на белоснежных занавесках бузиновых бабушек; забивали хмель, покрывающий останки соборов Святой Троицы, Олафа, Ларса, Николая, Георгия, камня ажурным плетением лепестков, давая соборному помещению, казалось, последнюю возможность — как в корабельное окно, навывлет смотреть в морской простор и впускать свет обратно, в свою цветущую глублину.

«Чему тут удивляться? — заметил в первый же день кто-то из семинаристов. — Ничего удивительного, что наш семинар должен иметь место именно здесь, на острове-утопии. Для всего цивилизованного мира — это чудно-райское местечко, находящееся вдали от исхоженных туристских троп, на самом бойком пересечении викингских маршрутов. Нынче здесь можно спокойно отдохнуть в летний период с семьей, зимой же это просто нормальный студенческий городок с университетом и тихим велосипедным транспортом. Но для нас — это типичная утопия. Торжество единения в условиях распадающегося мира...»

Они все сидели на траве возле церкви Святого Ларса и пили драгоценное в условиях действующего и тут сухого закона аргентинское вино «Амфора де луна», и эта сама амфора луны уже угадывалась над их головами в поднебном умытом готландском небе. С тем же успехом они могли тянуть роскошь человеческого общения из любых бутылок, в изобилии имевшихся в здешних магазинах.

Вывороченная внутренность церкви была уставлена ровными рядами скамеек для зрителей, пристально глядевших в сторону алтарной части. Там сейчас возвышалась сцена, на которой шло нескончаемое оперное представление.

Поскольку звук проникал отовсюду, из всех, так сказать, дыр, тратиться на билеты не было никакой нужды. Поющая, окутывающая изумрудная сень сливалась с золотом дня, и там, в самой его сердцевине, помещалась и эта старая

церковь, и сидящие тут же на траве, и бескрайняя морская даль, в рамку которой, как определял глаз обосновавшегося на крепостной стене наблюдателя за горизонтом, уже был пойман еще один корабль-дом.

«Самое интересное, что среди здешних храмов есть такие, где раскрыты росписи наших новгородских мастеров. Это когда Садко, богатый гость, еще ездил с новгородчины в целях развития торгово-денежных отношений, а в брате Новгороде крепили шведские мануфактуры. Да и сам Новгород — по-здешнему Хольмград, то есть место, высоко стоящее над водою. То есть можно себе представить, что мы сейчас находимся как бы в зеркальном Новгороде, на траве восседаем, вблизи святых его угодников...»

Конечно, представитель Балтии все чуть-чуть путает, подумала, улыбнувшись самой себе, Татьяна. Все как-то смешалось в его бедной седой голове, в связи с отсутствием жизненных перспектив, общего оскудения и разрушения пространства — ну, полный жеец, все окончательно смешалось в *доме Обломовых*, услышала она однажды давно в метро. И с тех пор ничего не изменилось.

Почему нет такой науки — геронтологии расширяющейся Вселенной? Она бы и тут, на Земле, помогла, тому же Асу... Чего стоит одна его история про шведских бобров, которые якобы принесли в его родную Латвию клеща, который теперь плодится в устрашающем множестве даже в столице, падая с деревьев на неповинных, сидящих у городских фонтанов латышей! Да и этот самый распрекрасный Готланд — тоже, по его словам, зона повышенной экологической опасности, на карте окрашенная цветами тревоги и гибели... Татьяна лениво прикусила травинку... Несчастный Ас, он все время задирает голову вверх, так и шейную мышцу свернуть недолго! Хотя, по сути дела, он, конечно, ближе всех стоит к тому, что какой-нибудь современный мыслитель назвал бы аграрной мифологией: мать-сыра земля, родовая община, на народном собрании решать личные нужды и чаяния. Ну, и распивание священного напитка, конечно же, не без этого... Крупный нос театрального деятеля свисал, как спелая слива, не отрываясь, однако, от ветки родимой. «Не падайте носом, дорогой Ас!» — захотелось крикнуть Татьяне, так как сама она никуда падать не собиралась.

Хотя о чем говорить на этом самом семинаре, как не о падшем духе? Одному богу известно, что этим семинарским нужно, а у шведов он, кстати, не один — Один, Тор, Фригг, еще какие-то существа женского культа со змеями, которые были до них, до верховных... Вот у Аса явно есть еще такая возможность — пораскинуть в своей голове норнами и валькириями ввиду сильного их возобладания на его родной, экологически опасной почве. Жаль, что никто из этих новых деятелей не понимает, что все их попытки создания местной «вальхаллы», этого хорошо организованного как по вертикали, так и по горизонтали рая для живых и падших воинов, — мертвого «хеля», через который они пытаются прорастить Мировое Древо (русский змей в его подножии уже, конечно, попрун) и населить его ветви резвящимися «ванами» и «асами» — все эти конструкции упрутся прямо в «сумерки богов», и все эти мелкие, резвящиеся боги об этих сумерках отлично помнят. Гибель — неминуема, а причина ее — нарушение клятв... Ас печально кивает головой, он становится не пьянее, а печальнее...

«Гибель неминуема?» — спросила Татьяна у валькирий и норн, сидящих поблизости. Чуть ближе, чем ей бы того хотелось.

— В этом нашем, то есть вашем, русском, по Бердяеву, сознании эсхатологическая идея, обращенная к концу света, почему-то всегда принимала форму стремления ко всеобщему спасению. Всё коллективно: и спасение, и гибель... — Ас взял на себя смелость высказаться первым.

— А поодиночке нельзя? — Татьяне почему-то нравилось его дразнить, она порой даже впадала в какое-то не свойственное ей кокетство мысли.

Рыжая Ванька, допивая дорогую бутылку, выразилась иносказательно:

— Море так велико, а мой кораблик так мал... Я — верую. Без бога. Без религии. Без надежды...

Не сильно удалившись от Асовой аграрной мифологии, Ванька как молодежь политически явно шла своим путем — не то покойного Стриндберга, не то полузабытого Бергмана, который жил где-то совсем рядом, по соседству от сидящих в данный момент на траве, на острове Фарё, тоже, наверное, сидя у себя на траве, а может быть, удирая с острова от очередной жены и обдумывая фильм, который он почему-то уже не торопился для Ваньки снимать.

Татьяне даже показалось, что они где-то здесь — и Стриндберг, и Бергман — стоят в обнимку, живой с мертвым, и слушают музыку из дырки.

Но молодуха из Нижнего решительно запротестовала — она в своей глупинке без отрыва от производства отлично раскусила этих «великих шведов» и теперь свидетельствовала: к теме семинара они не имеют ни малейшего отношения. А также — ни к аграрной политике, ни к какой-то вальхалле, ни тем более к хелевым правам Ваньки. «Ваня — это вообще не женское имя,— заметила она не без тонкости,— и вообще при чем тут кино?...» — Ее лицо цвета «ясных зорек» зарделось еще ярче.

«А вот я много смотрела западного кино! — заволновалась, захлопала крыльями румынская переводчица.— Там есть очень интересные названия для фильмов! А то у вас в России ничего никак не называется — об этом еще Кюстин говорил...»

«Кому, вам говорил?..»

«У Бергмана есть такой фильм, называется «Прикосновение»,— сказала вдруг Татьяна.— Впрочем, я его не видела...»

Рыжая Ванька захохотала: «Знаю я ваше кино! Это когда мертвые не совсем мертвые, а живые выглядят как призраки. И все хотят жить, любить и управлять мной, как нашим хелевым государством. Интересное кино... Иногда мне кажется, я и сейчас их вижу — демонов, ангелов, призраков под видом самых обычных, объединенных вроде бы человеческой идеей людей. Пролетарии мысли, соединяйтесь! Да нет, я не вас имею в виду, не волнуйтесь!..» — Облив семинарских юным презрением, она опрокинулась на траву, подставила мощную грудь под удары медных, посыпавшиеся вдруг из церкви.

Это был «Дон Жуан» Рихарда Штрауса — тяжелое, как пробег египетских колесниц, торжество страсти героя, обманное и самоупоенное. И легкие, призрачные колокольчики Селины. «Ненужный атом». — Татьяне вспомнилось, что написал о Дон Жуане поэт...

«Белка песенки поет да орешки все грызет, а орешки не простые, Все скорлупки золотые...»

У румынской переводчицы глаза стали совершенно круглые, почти птичьи. Она была большим знатоком оперного искусства, в том числе и русского: Римский-Корсаков, Чайковский, это ваше «Swan lake», озеро с лебедями, всё сплошь навеянное гомосексуализмом безумного баварца, принца Людвига, он, как известно, не мог ни дня прожить без музыки Вагнера... В ней явно буйствовали какие-то диктаторские вкусы, хотя с диктаторами на ее собственной родине они, действительно, разобрались еще хуже, чем мы с нашим Чайковским, про себя усмехнулась Татьяна.

«Белка песенки поет да орешки все грызет, а орешки не простые...»

«Лебеди, ангелы, призраки, люди, львы, орлы, куропатки! Чувства, похожие на большие изящные цветы!.. — Ас, прикрыв набрякшие веки, очевидно, вспоминал свое театральное прошлое.— Рогатые олени... Характерно, что космогония и эсхатология, то есть мифы творения и мифы конца света, всегда совпадают. Там — взаимодействие, дружба воды и огня с холодом, здесь — пожар и наводнение, жар и стужа. И примерно одинаковые и там и тут сражения богов с хтоническими чудовищами — змеи, волки, орлы, куропатки...»

Татьяна испугалась — вот оно! Семинар уже начался, а сказать ей решительно нечего. Да и конец света все откладывается и откладывается.

«Белка песенки поет да орешки все...»

«Rotation! Вечное чередование!» — Румынка-птица-лебедь захопала круглым глазом, вспомнив что-то из своего Ницше, бессмертного чудовища, все оживающего и оживающего для пира в нашей общей вальхалле.

«Рогатые олени, орлы, куропатки...»

«Белка песенки поет...»

Цветущая липа над ними гудела пчелиным войском. Великолепный ароматный гул шел откуда-то сверху, от самого купола дерева, из всех его первоцветов, сливаясь с музыкой дня, его ползучим хмелем, и они, задрав как по команде головы, опрокинулись в этот запах. Роза липового дерева цвела так щедро, так благодатно. А под ней во всю длину дорожки тянулась уже вытоптанная полоса, желтый песок опавших соцветий — он был гораздо желтее, чем сами цветы, прозрачные и пресноватые на вид и на вкус. Желтая смерть. Еще дальше горбилась асфальтовая горка сдвигающимся по ней велосипедистом — в необоримом мускульном усилии он упорно крутил педалями, продвигаясь напрямик, в объезд тому стопору сознания, который, очевидно, подстерегал всякого, решившегося проехаться по этой ровной лужайке, возле цветущей липы.

«Священный мед поэзии! — отбиваясь от пчел, выкрикнул Ас. — Источник обновления и магических сил, дающий волю и экстаз. Это он, Один, добывал для своих подданных священный мед, и из-под руки его выходили руны...» — Кажется, он пытался поймать пчелу, по крайней мере что-то жужжало у него в ладони. Вот бесстрашный, от души восхитилась Татьяна.

Между зеленым островком музыки и ароматного цветения, желтой смертью дорожки и проезжающим велосипедистом находился дом, построенный в виде «шале», со стриндберговскими привидениями внутри и розовыми шпалерами снаружи, вдоль потрескавшейся серой штукатурки. Все объединял ткущийся ковер из роз, потому что одна лишь роза-любовь способна была устелить дорогу путнику и выстоять перед натиском зимы и холодного здравого смысла, расщепившего когда-то глаз юного андерсеновского героя. Только она способна была напоить день ароматом, светом и смутным ожиданием. Липа-Роза...

Татьяна продолжает одаривать меня сведениями, по всей видимости, черпнутыми из Брокгауза и Эфрона.

«Викинги, называвшиеся также норманнами, а на Руси варягами, — короче, “северные люди” — были дружинами морских разбойников, вышедших в начале средних веков из Скандинавии и разорявших все побережье западной и южной Европы своими смелыми, хищными набегами. Участники “торгово-грабительских” (!) походов, они, завоевав и северо-восточную Англию и северную Францию, достигли даже пределов Северной Америки. Были они и у нас, на территории между Днепром и Черным морем. Шведы, в свою очередь, также участвовали в 8—11 вв. в походах викингов, имевших свою организацию, усложнявшуюся соразмерно с числом членов “шайки” (!). Впоследствии от грабежей они стали переходить к завоеваниям и основали несколько государств. С распространением христианства на Севере походы викингов постепенно прекратились.

На Готланде поспела первая клубника».

Между тем семинарская жизнь, тоже несколько усложняясь, идет своим чередом.

В большую общественную кухню, приятно и полезно обставленную самой передовой техникой, то и дело кто-то врывается. Ас все больше рассказывает о

преимущества жизни при социализме, наполняя присутствующих чувством любви-ненависти к некогда могучей шестой части Земли с названием кратким. Пожилой модернист, которого прежняя власть не слишком баловала, но давала некоторый процент свободы (приникай к каким хочешь, хотя бы и к русским истокам), он современной масскультурой не понимаем на все сто и мечтает лишь о хороших лекарствах для своей семьи, так что шведское небольшое вспомоществование ему весьма кстати.

Рыжая Ваня не говорит ничего, лишь изредка требуя не путать Готланд со всей остальной Швецией, где она явно подумывает обосноваться.

Молодуха из Нижнего порой заразительно хохочет. Большую часть времени она проводит на пляже, лелея свой и без того крутой волжский загар.

Птица-румынка, любительница Ницше, ходит без штанов, вернее, в полудлинной кофте, едва прикрывающей срам, взирая на все неверящим птичьим глазом.

А между тем дом по ночам светится, и это свечение не дает Татьяне покоя. Светятся вообще все дома по соседству, и если ночью случайно окажешься аутсайдером собственной постели (боже, боже, на каком воляпюке она начинает изъясняться!), то тут же и становишься соглядатаем тайны. Так как это вовсе не продуманный, надежно сияющий посреди европейской ночи свет фонарей-фонариков и всевозможных неоновых чудес, а самое настоящее северное сияние, только проходящее по другим баллам — в масштабах каждого дома, тихо.

Потом весь день приходится бороться с этим ощущением подсмотренного чуда, как будто все никак не проснешься, да и не надо. Нереальность происходящего очевидна.

Подобный эффект готландского воздуха, говорят, уже заманил сюда не одного мастера кисти и съемочной камеры. И дело тут, конечно, не в многовековой кладке стен и башен, под которыми и доньше устраиваются настоящие средневековые турниры. Просто пейзаж действительно сказочит и веет, как выразился поэт. Уже к полудню он сквозит настолько, что кажется лишь наброшенным на плечи острова,— в следующую же секунду всё, вся эта лебедь-красота, эти липы и розы, дома и башни, окажутся сдернуты, сдуты, и под тонким покровом прорежется плотный и текучий, изнутри светящийся воздух.

Рано или поздно он поглотит все существующее здесь во времени и до: море и камни, видимые сквозь прорехи города, маршруты самолетов и птиц в прогалинах скал, розы живые в стеклах домов и розы каменные в вечных глазницах соборов, всё, всё...

«Утопия,— талдычит Ас.— Всё — утопия. Ничего удивительного. Раньше была утопия народа, затем утопия рынка. Теперь вот утопия гибели».

«Рынок — это святое.— Представительница русской глубинки со вкусом поглощает клубнику, плод рыночной торговли.— У нас в Нижнем такая, я вам скажу, ярмарка! В следующий раз там семинар устроим, в Сормово. Осенью, конечно, грязновато — слободская все-таки грязь, зато набережная чистая, высокая, каменные пионеры вдаль глядят, песни поют под тальянку...»

Страшно испугавшись (Татьяна вообще пугается тут часто и охотно), что ей тоже сейчас начнут петь родные песни или втолковывать ужастик о клещах на дереве, она сразу же вскочила на велосипед и без всяких объяснений со своей стороны ринулась прочь, как на горячей гнедой лошадке, мчалась в сторону леса со множеством больших и малых, опаснейших для жизни деревьев, сквозь улетающий пейзаж, камни, скалы и ветер с моря, через крупнейшую зарю, не дающую очередному интуристовскому кораблику приблизиться к самой границе воды и суши и треплющую его среди волн, как ненужную тряпку.

«Опять стою на краешке земли, опять плывут куда-то корабли!» — пульнуло ей вслед из сауны знакомой советской песней; должно быть, китаец поймал «Эхо России»: помнят, о как же они все помнят, с отчаяньем успела она подумать, до каких же пор человеческая память будет тшиться вот так восстанавли-

вать равновесие всего со всем и искать эту чертову дружбу народов повсюду (к черту, к черту!). Она не хотела больше ничего понимать и помнить...

...К черту, к черту! Вот это ее чертыханье, честно говоря, я и представляла себе лучше всего, скорее, чем сомнительно сквозящий и исчезающий пейзаж острова. Я тут же вообразила, как стал меняться даже внешний, знакомой облик Татьяны — в лучшую ли, однако, сторону? Длинные волосы уже не лежали на шее «татьянистым» пучком, не падали смиренно вдоль щек — седоватая грива распушилась и развилась, это были сильные волосы. Загар успел покрыть высокий и полный (совсем не то слово, но именно его в обход «налитого мыслью лба», чтобы не сказать «чела», и хочется употребить), именно чем-то полный все-таки лоб, длинноватый нос еще вытянулся доброй уточкой, как у деревянных скульптур здешних заступниц, а глазищи при этом... в них мне вообще лучше было не смотреть. Они светились тем самым внутренним сиянием. Слегка уже выцветающие, зеленовато-коричневатые, серо-голубые, под стать водам Балтики...

Никто не знал, как я любила ее в тот момент — летящую на велосипеде, с развевающимися власами (вот здесь так можно сказать!), на дальний брег (тоже можно!), — как я завидую ей, такой родной и свободной на фоне нереального, чужого пейзажа, уже не моей Тане-собеседнице, Тане-спасительнице и советчице, а здешней гражданке мира (она как-то даже помолодела от этой душевной безвизовости, до смешного поюнела); как я люблю эту судьбой — малое, не рожденное мной дитя, девочка, амазонка, мадонна и беззаконная комета, воедино летящая, тайная обладательница лучшего эпистолярного стиля е-мейловской почты, как мне ее не хватало!..

Татьяна спешила и, закрыв велосипед на ключ, пошла в гору, слоистым белым пирогом нависающую над берегом моря.

Ее ноги, быстрые в шаге, просвечивали зеленым и тоже полупрозрачным изумрудом трав. Над головой, наверно, принятой ими за чудесный ягодный куст, резвились дрозды. А под землей, по которой она ступала, угадывалось прозябающее движение, легчайшее поползновение, шелест, но ни одна головка с жалом, слава богу, так и не высунулась, не заструилось под шагом длинное скользкое тело, не заглянуло в зрачки глазами без век. И этот восторг черных птиц над головой, это пресмыкание гадов там, под землю, вдруг развернули идущую в полный свой рост и пустили ее плыть по какой-то не видимой ранее вертикали, и пальцы ее рук и ног проросли листьями и нерасклеванными ягодами, а руки держали слева и справа от тела струящуюся пару живых, извивающихся лент. Так села она на траву, скрестив полные женские ноги божества, с птицами в головах и змеями в руках, и вдоль ее небольшого ствола сновала огнехвостая белка, и сыпались, сыпали золотые скорлупки...

Что-то чернело на самой верхушке белой горы — три жерди, сколоченные русской печатной буквой «п». Виселица, на которой теперь, конечно, уже не вешали. Просто стояла она над Таней как напоминание о самой страшной здесь, на острове, казни — умирать, глядя напоследок на морскую даль и близкий город внизу. Выше всех, лучше всех лицезрея лучший из видов мира, последние слепящие лучи солнца.

И вдруг над ней взреяло солнечное колесо, как огненный жернов, и на минуту показалось, что сейчас, именно в эту минуту, жернов начинает свое перводвижение, медленно раскручиваясь вокруг собственной оси, все быстрее и быстрее, так что только пыль летит, и рассыпаются от его центра мелкие огненные клочки, исчезая за краем окружности, и тот огненный круг, вертясь, разрезает самое себя, распадается на равные доли, ломоть за ломтем, и они тоже крутятся-вертятся, но уже внутри какого-то другого круга, в ней самой, так похоже на лепестки кроваво-красной розы мира, и она разбрасывает их вокруг себя, из себя, огонь лепестков и черные сокрестия шипов, распающиеся на какие-то рунические надписи, подбираемые уже здесь, на земле... И здесь, на земле, за ни-

ми не нужно было далеко ходить. Он был прямо перед ней, тот памятный камень, который она за день до этого видела в местном музее и на котором было все — солярные знаки-розы в верхней части, растущее насквозь древо с приносящим снизу, к самым его корням, хтоническим кривоточным гадом, а в средней части были они накрепко связаны серой пустотой с плывущей в никуда ладьей и взмахами маленьких весел-палочек в человеческих руках-прутиках. Видно, когда верховные боги еще спали, был иссечен этот камень — и рунами, и рисунком, и птичьими клювами... Бедные и бесхитростные существа, а не боги, развились на каменном фризе. Прямо на глазах у Тани они тоже, как и ее солнце, стали рассыпаться, рассыпались по траве нескончаемым лабиринтом, и тянулась и закручивалась вокруг ее ног живая спираль, и она долго не могла сделать ни шагу прочь из этого древнего каменного захоронения.

«Представь себе, — писала она потом, — что в здешнем музее на одном из памятных камней я увидела скорбную надпись: Айфур. Это место между Днепром и Черным морем. И сюда тоже, как я тебе уже говорила, заходили викинги, эти торговые бандиты, пытаюсь завербовать чужой народец в свою утраченную — не то готскую, не то кельтскую — мечту-химеру. Разносчики чужого семени и праха. Осеменители пространства. Говорят, они никогда не плавали наобум, на своем судне всегда имея island hopping — путеводную звезду, нить Ариадны, понимай как знаешь. Когда-то в этой роли выступала птица, которую во время потопа выпускали в свободный полет. Но тут никакой птицы, загадочный предмет сам притягивал к нужному берегу. Как будто именно там им и нужно было оказаться. Айфур... И вот туда, до местности между Днепром и Черным морем, они дошли, там и были похоронены под серым камнем. А теперь тот камень стоит здесь».

Прямо по перпендикуляру от движущейся на велосипеде фигурки медленно плыл от берега красно-белый равнодольный мяч — надутый и упущенный, не пойманный ничьей, ни детской, ни взрослой рукой; он плыл по волнам, должно быть, в мою сторону, в ту страну, которая не для бога, а для человека, куда уплывает все упущенное и потерянное нами, наши треснувшие чашки, черепки разбитой посуды, сломанные каблучки, вылинявшие футболки со следами сладкого детского пота, дырчатые носочки, головы кукол и игрушечные колеса от красных пожарных машин — все, что когда-то было нашей любовью и нами самими...

В эту ночь мне тоже будет не до сна — я толкну запертую дверь, без скрипа и шороха, беззвучно. И выйду.

Если присесть на скамейку рядом с пансионом, где некогда, в начале века, была ланкастерская школа, а теперь заседает на кухне Интернационал семинаристов, то прямо на уровне взгляда вырастет башня Домской церкви Св. Марии. Фигура Спасителя, встроенная в каменную нишу, огромна и в своем парении обращена к скамье, а не к тем, входящим со стороны фасада. Выше Спасителя — только золотой петушок на шпиле колокольни да звук псалмов в часовом механизме. Каким образом петушок залетел так высоко, неизвестно, но пусть он там и сидит как бдительный шантэ-клер, рассвет поющий, отсчитывающий время страж.

В этот поздний или, наоборот, слишком ранний час, когда ночь переваливает за третью стражу, я вновь услышу его крик. Петушок-оборотень прокричит и смолкнет, отпугнув остаток ночи. Живая душа, услышав, быть может, раскается и воскреснет. И взмоет птица-оберег, птица-талисман!

По всей предрассветной земле, по глади морской пробежит дрожь, обозначая в сердце пробуждающегося рода-племени резкую, режущую грань меж стыдом и надеждой.

Анна Ахматова уже раскрыла нам глаза на дальние, тайные истоки родного пушкинского Петушка — но ведь то Ахматова, она право имела. А тут, на скамейке, — тварь дрожащая, и грань отчаяния точится все острее, и никакой петушок уже не клюнет в темечко.

Сидеть ему на шпиле, пока весь собор не проснется и не зазвучит, как музыкальная шкатулка, хорошо смодулированным распевом утренних псалмов:

Sancta Maria, Sancta Rosa,—

распев будет чем-то сильно отличаться от тех, что нам обычно приходится слышать у себя на родине. Там мелодические ряды как бы не существуют самостоятельно, а являются лишь частью чего-то целого, какой-то общей гармонии, к которой невозможно даже приблизиться, остается только устремление, биение голубиных крыл, качание маятника — туда-сюда... Но мы будем слушать, пока здешний хор не грянет:

Amen!

Ветер рвет над городом красное полотнище с трепещущим на нем жертвенным животным. *Agnus Dei* бел и круторог. Медленно разливается дневной бесконечный свет. *Lux Aeterna*.

I Faderns och Sonens och deh helige Andes namn.

И вдруг, как бы невзначай, обнаружится, что перед Спасителем и лужайкой, где стоит скамейка, крутейший обрыв. Перспектива упирается в пропасть...

Маленький юноша, почти мальчик, появился прямо оттуда, из обрыва, — присел рядом на скамейку. Всю ночь, должно быть, гулял со сверстниками и теперь был прозрачно синь, в синем плащике, с картонным серебряным мечом. На голове, на сизых от дыма свалывшихся кудрях — капюшон, как пещера. В пещере, глубоко-глубоко, запрятан сон, он снился далеко в детстве: эти дымные кудри, глаза, словно бы безразличные, не различающие отдельных предметов, а только одно — главное, и этот взгляд брошенный, и меч картонный... В городе проходит очередной рыцарский турнир перед бездной зрителей, местных и приезжих, возле Девичьей башни, возле Длинной Лизы, возле башен Святого Георгия и Серебряной Шляпы — везде. Никогда-никогда не стоять тебе с седьми косяками на высокой стене, не петь, не бросать цветок в ответ.

Мальчик ел какую-то фигу. К утру проголодался, истекая сладким соком.

Он не издавал ни одного членораздельного звука — был пьян или нем. Хотя бы знак какой подал. Но он просто сидел рядом на скамейке. Молча. Какое-то струящееся молчание было между нами.

Рядом в кустах пискнуло, хрюкнуло. Оглянулась — калитка, из нее зверь бежит. Порск... Собака или поросенок. Пробежал — и скрылся неизвестно где. А на дорожке черная птица с желтым клювиком прыгает — фьюить, фьюить... взяла и исчезла. К кустам ринулась — куда они все подевались? Чоп-чоп... Ни души. Черная кошка с белой грудкой по воздуху гуляет. Порск, фьюить, чоп-чоп... Смотрит желтыми глазами.

Мальчик выдохнул:

— Русска?

— Русская, русская! — И тут перед лицом моим вырос целый розовый куст, сильно потрепанный. Под плащом был, что ли?

— Дайте, пожалуйста, семьдесят восемь шестьдесят. Находился в участке, выпущен на свободу. Пожал-ста... Семьдесят восемь шестьдесят, — отчетливо произнес мальчик.

И розы сует.

Небо в это время стало как рентгеновский снимок, с белыми разводами грудной клетки, — дышало сквозь пелену... А дрожь не унимается, растет, как осиновый лист на ветру трепещет — Господи, если ты есть! Все дрожит и просит: если кто-нибудь есть, отзовись! Ну, пожалуйста, ведь где-то же ты есть... И

небо так близко-близко, можно запрыгнуть. Отзовись из мглы небесной, во мгле сокрытая!.. Но мгла обтекает и слева, и справа, пространство по краям совсем скруглилось до палубы корабля и плывет, плывет куда-то вместе с нами, но куда? Земля — круглая, сейчас мы с нее окончательно скатимся, прямо в чрево громадной рыбыны, на которой все покоится... Если ты есть! Хоть слово... Хочешь, я встану на высокую скамейку и загляну туда, за край корабля, чтобы только разок увидеть тебя, в дыму и гари, во вселенской пелене, в последнем земном потоке? Ох, мамочки!..

Наконец-то хотелось только одного — уместиться, задержаться в этой единственной, чувствительнейшей точке пространства, где и надлежало тебе быть всегда, на которую изнутри тебя сейчас же откликается то, что изначально там существовало, помимо этого утра, помимо твоей дрожи и трепета.

— Семьдесят восемь шестьдесят — и больше не грешить,— сказал мальчик.— Иди и не грши...

И я пошла — по известковому розовеющему плато, по цветущему плоскогорью, по ступеням прибрежных скал, мимо черной виселицы. Но в селения не заходила и в дома людей не стучалась. И не рассказывала никому.

Никому не скажу, решила я, а то засмеют. Но все-таки доложила утром семинаристам и тут же получила порицание. Небось на родине тебе в пять часов утра роз никто не подарит — зачем не взяла? И почему не позвала ангела с собой — не прикоснулась, не предложила переночевать у нас в кухне на маленьком диванчике? Уместился бы как раз в своем плаще и с сабелькой.

Я только то не открыла, что один цветок все-таки себе оставила, одну розу единственную. Она у меня в кармане.

Получив от Татьяны это последнее сообщение, я уж и не знала, что думать. Не знала и того, скоро ли вернется моя соотечественница, и вернется ли она вообще, чтобы попасть прямо с корабля на бал... Вот так сюрприз, никак не ожидали! Мосье Трике, в очках и рыжем парике, сплет для другой героини свой куплет: *«Никогда не быть скушна, больна... Расцветайт...»*

Выходить ей теперь каждое утро на высокий откос, что над обрывом, где черная башня и золотой петух, и кричать, кричать в открытое небо:

— Айфур! Айфур!

А мне отвечать: Готланд, Готланд. Держа в щепотке багряный, уже погасший розовый прах.

Ви роза, бель Та-ти-а-на-а.

ДЕТИ РАЙКА

Огней так много золотых
На улицах Саратова...

Песня

Мужчина на подъеме своих дней, которые он почему-то считал спуском и даже закатом, назовем его Петр Петрович за неимением другого подходящего имени, камень, так сказать, в квадрате, получил командировочное задание.

И не то что оно его, словно весть, настигло и куда-то там позвало, а так — сам нарвался. Вся молодость, почитай, прошла в этих командировочных бдениях, так что никакой тайны для Петра Петровича тут не содержалось. С утра пораньше, когда вся страна дремлет, жена тоже в объятьях какого-то морфея, а дитя еще не родилось, когда спят все женщины и дети мира,— бери полотенце, старую, ошестинившуюся зубную щетку и ступай по утренней зыби, по первому, неверному насту. Смазкой составов, неизбывной горечью странствий пахнет на утреннем перроне — ЕХАЙ себе, ЕХАЙ!.. Будут тебе пироги с котятками, дымный, выстуженный тамбур и какой-нибудь старинный город в конце рельсов, где

без тебя почему-то жить не могут и даже трава не растет,— должен ты во что бы то ни стало договорчик заключить с одним малым предприятием, забившимся в каменную щель меж белых стен Кремля и заплеванной гостиницей «Берендей». А вы, Петр Петрович, значит, Снегурочка, и от вас требуется форменно растаять здесь при виде обжигающе передовых успехов берендеев, их пустых стендов с изобразительной продукцией и крысы на столе у ихнего начальника. Да, всегда нужно сначала стучаться в закрытую дверь, а не распахивать ее расписным валенком от Славы Зайцева, который подарила тебе жена на очередную годовщину свадьбы. Постучись — и порядок: «Петрпетрович» — «Иванываныч»... А крыса где? Ведь только что вот тут, на столе, была... Но вопрос: где же тогда был начальник Иван Иваныч?..

Да и потом, когда эта самая (самая последняя, самая, самая...) жена родила ему сына, все равно приходилось ездить — не хлебом единым, конечно, но и не без хлеба же, так решил вопрос Петр Петрович. Кушать все равно надо, и не только чужую плоть с душой ее и кровью, как многие, но и всякие предметы духовной роскоши. И самому их тоже создавать, нести в массы. Они тебе болты и гайки, а ты им — Ленина в Горках, они тебе добрые машины и работающие станки, а ты им — Дзержинского в облаках.

Все тогда куда-то ехали, как-то подрабатывали, что-то валяли и валяли для людей — словом, кормились. Это было даже как бы мелким подвидом «диссиды». Если уж нельзя, как Джойс или Алла Пугачева, и тебя по идейным соображениям любить не хотят, даже денег тебе не платят, возьми свою свободу с другой стороны, голыми руками, и протяни в этих руках трудящимся только что отлитый в доменной печи памятник Айболиту. Пусть лечит. С изобразительной стороны, что ли, врачует души.

Каждый получает по заслугам: страждущий — свою свободу, километрами и килограммами, твердый работник — свой социалистический рай, памятниками и художественными картинками. Натуральный обмен.

И главное, платили неплохо, плюс командировочные, плюс интересные маршруты по всей стране вплоть до Камчатки и Сахалина — ЕХАЙ НЕ ХОЧУ! Странствуй на здоровье, стражди... Жена, колхоз «Восьмое марта», по специальности работала, а толку что? Где теперь ее Александр Блок, которого она якобы всю жизнь изучает? «Слушайте музыку революции!» Снова — дослушались. Теперь жена по сокращению штатов пытается устроиться к победившему классу в гувернантки, детям богатых песню петь — «По вечерам над ресторанами...». А Блоку, как выяснилось, медведь с детства на ухо наступил. Вот она теперь и мечтает в свободное время (которого у нее навалом) открыть этот самый ресторан, чтоб накормить всех «семейными обедами»: жареные пельмени, гречневые оладьи подслащенные, наперченные творожные пампушки, яичница с черствым хлебом (фирменные блюда за время изучения Блока, то есть за целую жизнь), а пока с рестораном не удалось, кормит друзей (полдома), так что хорошая идея окончательно превратилась в бесконечное застолье и бардак. Сын туда же, подкивает: зачем тебе, мамочка, Александр Блок, я так люблю пампушки кушать. Пляшет в ансамбле «Буратино» для избирателей, бегая по залу в клетчатых штанишках, ловит разноцветные пузыри, которые будущие кандидаты надули и раскидали для публики по своему позорному амфитеатру.

Нельзя! Нельзя плясать, как дети, на взрослом веселье. Козлищем станешь. Нельзя накормить всех! Все уже и так накормлены.

Тут по телевизору прокрутили мотив со словами — «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново». А на фоне мотива кандидат сидит, ртом дергает. Для вас, может, и не ново, а для меня — ново. Поэтому я снова поеду в командировку за этой самой жизнью, и не из продажности, не из-за своих деревянных, не из-за ваших зеленых. Перед отъездом, правда, дома обляяли — не от той организации деньги берешь. А какая может быть организация — что я, жидомасон, что ли? Плохо тебе, если по стране объявили конкурс скрытых талантов и муж

твой привезет в дом красно-черной икры из священных вод родины, помешает это твоему ребенку пузыри ловить? И она туда же — ртом дергать: не ново, не ново... Это они в целях агитации таланты ищут. Эх! А была ведь патриотка, почти декабристка, провожая в очередную командировку, руку рукой жала, слезу слезой утирала. Теперь же, как волчица, — только чтоб по ночам на луну выть, пить в лесу воду из гнилых пней. А сама не воду пьет, а что получше. Эх, где же ты теперь, моя Татьяна?..

Так со слезой думал Петр Петрович, отправляясь в командировку. В общем, отбывал. И так получалось, что сам он, бывший когда-то как бы изгоем, едет теперь, чтобы других талантливых изгоев откапывать. Жена побросала ему в сумку бельишко, бутерброд от семейного обеда, тайно и явно брезгуя. Книжку какую-то сунула с картинками. Развернул уже в СВ — явно перепутала, надо было сыну в ранец, а она Петру Петровичу. «Евгений Онегин», новое издание размером с энциклопедию русской жизни. На прощанье грустно так поглядела, свято. Как будто знала, что сбилась с правильного курса. Но свято место, как известно, пусто не бывает, кто-то там другой поселяется, и поправить уже ничего нельзя. Не ново...

Ребенку завтра снова в школу, как он выражается, в мир скуки. Она снова с утра опухшая — без Блока ей, видите ли, СТРАШНО ЖИТЬ. А ведь бесстрашная была. Почему же Петру Петровичу не страшно? Да потому, что он в сторону страха своего едет. Вагоны скрипят, на ходу лязгают...

Перед самым сном в удобном, без второго пассажира, купе СВ в бумажных розочках и плюше, Петр Петрович раскрыл положенную книжку с картинками. Там, на первой странице, стоял Пушкин в своем широком болivarе и фраке с оттопыривающимися фалдами — диссидент и фронт тех лет. Новенькие, неразрезанные страницы не давались пальцам, и Петр Петрович стал клевать носом, куда-то проваливаясь... в студенистое пространство за окном, в непроваренное и несъедобное блюдо российских железных дорог.

Пейзажи, на секунду слипаясь, тут же со скрежетом отталкивались друг от друга... Дома, скверы, церкви, добрый знакомец Данилов монастырь... Далее на полустанках люди, одетые непонятно как и во что, всё как на оставленной планете... чужие названия в рамочках... вдруг почему-то какие-то ВАНДЕИ — зачем в русской глубинке станция-вандея французской губернии, оплот реакции и самодержавия?..

ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ (ВСЬМА МУЧИТЕЛЬНОЕ СВОЙСТВО)

И вдруг — история какого-то скитальца мелькнет среди ночных огней по обе стороны рельсов, неутолимая ненависть и вечная, неизвестно откуда взявшаяся любовь к этому пространству обожжет... весьма мучительное свойство, немногих добровольный крест... летящий без остановок поезд... темные вскрики станционных табличек...

ОХОТА К ПЕРЕМЕНЕ МЕСТ

Откуда это к нему подкрадывалось, из какого тайного знания? Из мамино-го «знания» — вот откуда, из ее «скрижалей». Зав. учебной частью по литературе: литературный ЗАВУЧ. Звучало гордо! Бесконечный спецкурс, а не детство. И жена вслед за мамой — такая же всезнайка. Онегин, Петр Петрович, да будет вам известно, странствует по реке жизни, но она для него оказывается рекой Империи. Он не омолаживается в священных водах, не воскресает для новой жизни, а наоборот — как мертвец, глядит на дымные струи. Романтическая стихия странствий выносит ему на повестку дня лишь один вопрос: зачем я пулей в грудь не ранен? Зачем не хилый я старик? В тот дымный и седой поток преданий, куда заглядывает Татьяна, ему не вступить. Он просто пьет свой бокал, сынок, слышь, Петр Петрович, — просто берет бокал и пьет его до дна, но автор нарочно подмешивает ему туда слишком много воды. Если он и погружается, то это скверное погружение — «кареты, люди тонут, вязнут», все тонет-вязнет в

одесской грязи, в жизни нечистой и мелкой. Пока не подключается воображение самого автора. И вот тут, сынок,— следи, следи! Да очнитесь же вы, Петр Петрович! Все так и начинает сверкать влагой, брызгами вина, блеском новых товаров с торгового корабля. День как будто умыли, омыли. И скука онегинского путешествия оказывается выставленной напоказ, как в каком-то вечно идущем представлении. Но из героя он становится зрителем, на которого уставлен глазищами целый театр. «Прозрачно-легкая завеса объемлет небо» — и сейчас, следи, следи, завеса-занавес раздвинется, и там проглянет будущая развязка... Из простого зрителя он должен превратиться в зрителя тайны, в тайнозрителя — смотри, как все кругом замерло в ожидании, почти уже не дышит. Все, все молчит... *Лишь море Черное шумит.*

ИТАК, Я ЖИЛ ТОГДА В ОДЕССЕ

Петр Петрович, как свидетельствует рассказ, жил тогда в Саратове. Вернее, не жил, а был, вернее, приближался, чтобы быть. Уже ничто не могло его остановить — ни детская ладошка сына, ни женский взгляд ускользающий, ни студень-пространство, над блюдом которого его буквально выворачивало наизнанку. Березы, березы, осины, осины, лебедки, лебедки — ни одного лебедя или, скажем, секвойи... На перроне его, приедетого наподобие Хармса в твид, короткие штаны для гольфа, высокие финские ботинки и клетчатую кепку-шотландку, встретили радостно и надежно. Правда, сначала это были собаки, целая туча собак — сучья туча. Шел с саком, по колено в грязи, куря трубку, хорошо, что не как Шерлок Холмс, «по колено в идиотах». Трубка пыхтела, посвистывала, жена тоже купила себе по моде — женскую, самую дорогую, но не мира, конечно, не мира... Потом появилась она, встречающая. Временно сопровождающая. ВС — зеркальные литеры СВ, спального вагона. Те же румяные розочки, рюшечки, плюш. Плюх!.. Местная артисточка. От нового приступа отвращения спрадает только черный плат до бровей, румянца не скрывающая. Простудилась примадонна, чахотка скоротечная. Тут же рассказала — времени в обрез,— что когда они с мамой приехали сюда поступать в театральное училище, то выбрали самый красивый дом с каменными завитушками и гирляндами, думали, это и есть Храм Искусства. Оказалось — местные органы. А училище рядом, в двухэтажном строении, похожем на лабаз,— и классы, и общежитие, и духовная пища, и физическая, пир и мир, всё тут. С тех пор ничегошеньки не изменилось. Всё как всегда — в обрез. Ждут на пресс-конференции, в лучшем театральном коллективе и в местных органах, согласно правилам гостеприимства — одновременно.

Но Петру Петровичу не хотелось торопиться. Он то и дело заходил по дороге в разные подворотни, толкался у прилавков — вьедливо и дотошно, как будто пытался уличить город во лжи и лицемерии. Как же он на самом деле жил тут без него, Петрпетровича, когда тот жил совершенно в другой точке, на своем месте? И кем тут все места заняты? Ай, донт андестэнд, эбсолютли. Он лез к прохожим, к продавцам, заговаривая и удивляясь, что в городе, где его никогда не было, его так хорошо все понимают,— тут он и сам, обрадовавшись, стал косить под «своего», даже подвирая в ответ на встречные вопросы. ВС сразу же с ним замучилась и предложила взять такси, чтобы проехать полквартала.

Глаз еще более радостно отмечал: в городе появилось множество красивых зданий, похожих на итальянские кулички к православной Пасхе, в них свободно могло бы разместиться с десяток театральных заведений. Но одни были заняты жизненно важными точками: магазинами, банками, разными АО и ТОО, на других же были развешаны зеленые вуали, где золотой рыбкой за зеркальными пуленепробиваемыми окнами вскоре будет биться какое-нибудь частное предпринимательство. Дома не без шика репетировали героические роли типа «палаццо», с ложно-греческими позами, барельефами и горельефами, под аккомпанемент вышагивающего по каменному фасаду нога к ноге тысячеголового египетского войска.

Как приезжий Петр Петрович живо поинтересовался у везшего их шофера, хорошо ли, братец, живется, и услышал то, чего и хотелось,— хорошо, хозяин, улицы метут, продукт есть, чего еще-то?.. Только засосало что-то, за-свербело у Петра Петровича. Но не поверилось... Нет, не верилось ему, что в этом городе, имевшем такие глубокие исторические корни, с работающим местным людом и справными немецкими переселенцами, с губернатором не каким-нибудь, а самим Петром Аркадьевичем Столыпиным, находившемся в непосредственной близости к самой важной водной артерии страны, в этом чудесном Сара-тау, вместилище Желтой горы и желтых фонарей, золотых груш и заповедных лисиц, в этом чудо-городе что-то может быть всерьез не так, а если и бывает плохо и не так, то все, конечно же, вскоре наладится, устроится, успокоится...

По небу, как во сне, летели красивые, крупноголовые птицы, похожие на воронов,— их никак нельзя было спутать с обыкновенными воронами. Нарушенная из ветрового стекла перспектива придавала всему какое-то несвойственное величие. На самом же деле птицы просто улетали на юг, тихо и беззвучно, от сумасшествия местного климата. Летом дожди да хлябь, осенью чересчур жарило, того гляди зима вовсе не наступит.

Но этот город и впрямь был аппетитным кусочком! В отличие от ведущего к нему совершенно бессмысленного пространства. Вот в таких городах на Руси и сила, и смысл, и наука, ибо имеют они в своих закромах не только ветхий ампир и неправдоподобно живучий модерн, но и библиотеки, музеи, университеты с различными учеными записками. Имеют свой театр, да и не один, дающий фору столичному.

— Это что! — почувствовав интерес Петра Петровича к живой старине, сказала ВС и принялась бурно исполнять обязанности гида. Делала она это весьма своеобразно — сначала, не снимая плата, отмахнула над головой рукою наискосок, потом под салютом шаркнула ножкою и тут же присела в глубоком реверансе, переходящем в древнерусский поясной поклон. Театр, да и только...

И тут же замелькали, забегали по улице синие фуражки и черные суконные рубашечки — для шинелек было еще рановато,— это расходились по домам местные гимназисты, ученики СГ, Саратовской гимназии, для которых их наставники были «яко свечи», и они, судя по их лукаво-ангельским физиономиям, на них только что предолго взирали. Теперь им хотелось быстроты шага, расстегнутого ворота и грушевого лимонада. Из гимназии-дворца, от аттиковых тумб — вперед, к Лимонадному Гуревичу! Он один знает секрет ягодного и травяного настоя-отвара, правильно добавляемого при варке сиропа, а затем оставляемого медленно доходить в прохладе дубовых бочек до нужного вкуса, чистоты и шипучести... Исчез тот Лимонадный Гуревич, не развозят больше на ломовом экипаже с кожаными кистями и бахромой, подвешенной к сбруе и оглоблям, полные ящики под чистым брезентом!

На носу то снег, то иней
у говядины у синей!..

Минуя стайку маленьких обидчиков, обклеивающих цветными этикетками от банок ячменного кофе с цикорием дворовые ворота, «синефуражечники» устремляются дальше по знакомому маршруту, к сладким его закромам,— на углу Московской и Гимназической их ждут детские сырки с какао, изюмом и орехами; «буржуйный продукт», который тоже вскоре канет в Лету, чтобы снова возникнуть здесь уже гораздо позже, на новом витке... Им навстречу, по Немецкой, шествуют подносы со свежими пирожными на голове у рассыльного из кондитерской «Фрей» — ее держит блестящий организатор ресторанного и буфетного дела, распродавший огромную коллекцию граммофонных пластинок; где-то он теперь?

Дивятся старожилы — в начале так называемого «нэпа», точнее, в период «серебряных полтинников», откуда что взялось? Поперло, как из русского рога изобилия!

Куда же потом делось это богатство Верхнего базара, где под стеклом прилавка были по порядку разложены нитки, иголки, булавки, пуговицы, спички, папиросы? Впрочем, все потом снова объявится, лет через семьдесят, и даже в гораздо лучшем ассортименте...

Но где трактир на углу Никольской и Цыганской с широченной лестницей и зеркалом, цыганским напевом гремющий, — теперь гремит повсюду, на каждом шагу... Где вывеска «Меблированные комнаты Беккер и К°», угол Севриной и Сергиевской, чья нумерация принципиально начиналась с противоположного конца? Где «Пешка» — пеший базар — на Соборной площади? Где закрытый на углу Немецкой и Вольской ТЭП — самый частный театр самых экспериментальных в городе представлений? Где свободная книжная торговля? Канули, ушли в небытие — и всплыли в другую эпоху неприкаянной детскостью «самиздата», дерзостью театральных экспериментов, свободным рынком свободного продукта. Всё вроде на своих местах, только уже на каких-то других...

Не напрасно же, не зря все было! Не зря выпекали на поду свой вечный хлеб «братья Шрейдеры», Филипп Егорович и Эмилия Кондратьевна, для вечерней и утренней, а потом разорили их налогами и, заклеив «буржуями», выслали. Не напрасно хозяин кондитерской распродал коллекцию граммофонных пластинок. Не зря столяр-краснодеревщик в час, когда закрыли Новый Собор, забирал оттуда иконы из толстых кипарисовых досок, раскладывал их вдоль и делал из них рубанки и фуганки. Не зря купец первой гильдии, старейший коммерсант Парусинов, то и дело входил и выходил из немецкой кирпичи для снимочка на тему о том, что церковь теперь посещают одни старики да купцы-подлецы. Не зря устраивались гребные гонки в Духов день, и толпился, шумел народ — на берегу, на дебаркадерах, по щиколотку в воде, следя за вольным разбегом весельных экипажей... Не напрасно со стороны Покровской то и дело подъезжали подводы родственников-немцев... Не зря шумели пирамидальные тополя Старособорного сквера. Не пропал ваш веселый, удачливый, скорбный труд! Вперед, детская ватага, в новую жизнь воскресающего города, не желающего еще впасть ни в старческий, ни в исторический маразм! Верилось, что весь этот город — как одна единая, живо и сильно пульсирующая среда, в которой множественность впечатлений располагает человека к выбору, к приобретению, к рыночному выживанию и вживанию на любом его уровне, под любым аттическим портиком...

Пока Петр Петрович и его сопровождающая бродили и ездили по городу, прошла целая вечность. На улицах и в скверах зажглись фонари, и они наконец увидели этот золотистый, разлившийся по всей округе свет, который угадывался еще днем и, безусловно, существовал до пришествия электрического чуда. И сейчас словно сами светились желтые листья, собранные в еще густые, пышные кроны, — свет рождался от близости большой воды, от звона пирамидальных тополей, которые, как и прежде, обступали мчащийся по рельсам трамвай, пронзительным звонком пронизывающий сквер, где они сидели. Со всех четырех сторон смотрели на них из этого света несколько веков, и город медленно стекал по крутым и пологим склонам золотыми сладкими каплями к серой осенней воде, изгиб которой повторяла набережная с цепочкой причалов. Мелководье возле берега все сплошь было усеяно серебряными монетами. О, сколько же покинувших эти места хотело бы вернуться сюда снова!

— Оп-п! — Сопровождающая плюхнулась на скамейку.

И город вдруг стал исчезать, пропадать — пропали его усадьбы с флигелями, конюшнями, хозяйственными сараями, массивами оград и скромными, деликатно взирающими на прохожих окнами, исчезли цитаты-горельефы из римской мифологии, мозаичные тимпаны, пилоны, тумбы и вазы, светящиеся, мо-

лочного стекла плоскости фасадов из глазурованного кирпича, их маски, розетки, решетки, чугунное литье и балюстрады по парапету крыш, одетых в каменную резьбу, — весь город со всей своей единовременной симметрией и асимметрией, схваченный ячейками домов, вот так сразу взял и исчез.

Прямо перед скамейкой, нависая над ними, сидел нищий мужик. Он был бородат и безног и так огромен, что ноги казались совершенно лишними на его обхваченном каким-то пестрым армяком теле, которое увенчивала не одна, а сразу две — одна на другой — шапки: добрая кошачья и облезлая пыжиковая.

Он уставился на парочку сидящих на скамье, как на родных. Все немного помолчали. Но в отличие от скорбного Петра Петровича ВС вдруг радостно взвизгнула:

На Невском проспекте у бара
малолетка с девчонкой стоял,
а на самом краю тротуара
мент угрюмо свой пост охранял...

Нищий неприятно оскалился и изверг:

Уходи, я тебя ненавижу,
Уходи, я тебя не люблю.
Ты ведь вор, ну, а я комсомолка,
Я другого парнишку найду!

— Уходим, уходим! — весело щебетнула ВС.— Пора, времени совсем нет.— Она жаром дохнула Петру Петровичу в ухо и потянула его за рукав.

Петр Петрович не сопротивлялся. Он действительно уже крупно опаздывал на мероприятие, ради которого, собственно говоря, и приехал.

— Без нас не начнут, — сказал он нагло.

Но, оказалось, начали.

Когда они пришли в местный кукольный театр на запланированную заранее встречу со здешней интеллигенцией в количестве двадцати пяти душ, чтобы поговорить о судьбах печатного дела в городе и о культуре вообще, — всё было уже в разгаре. Красивого вида пожилая дама в хемингуэвском свитере бойко и яростно спорила с местным главным редактором, тиражи у которого в недавнее время значительно, по сравнению даже с недалеким перестроечным прошлым, упали до двадцати пяти экземпляров — на каждую душу по экземпляру. Видно, они спорили уже давно и все о том же, потому что главный редактор теперь совсем глухо молчал, а дама вспоминала ассирийских владык древности, — они хоть и правили народом, не покидая дворцов и не показывая своего лица, но правили неплохо, а вот нынешние, даром что висят на всех углах в виде портретов и выступают каждую секунду по телевизору, цена им копейка в базарный день на Пешке. Главный, в чем-то косвенно с ней не соглашаясь, начал убеждать, что скоро он поставит личный рекорд, и его знаменитый журнал будет выходить в количестве ровно одного экземпляра. Дама прямо-таки восторжествовала, как будто этот последний экземпляр как раз ей и предназначался. Она победно обвела глазами зал, и взгляд ее случайно пал на Петра Петровича.

Ему как столичному гостю слегка поаплодировали и дали сказать несколько слов. Да, признаться, это все, что у него и было.

Чего тут говорить, чего спрашивать, как поется в известной песне, которую хемингуэвские дамы распевали когда-то хором: «Вот стою я перед вами, словно голенький...» Всё пропели, пропили, прогуляли, не шейте нам теперь новой «аморалки». Больше ничего нет, святыми стали, захотели голенькими войти в рай капитализма, а нам не дают, свитер, молью траченный, скоро расползется, тиражи без ножа режут... Петр Петрович чуть не разрыдался, глядя на родные, знакомые лица — тут все отлично понимали друг друга, и спорить было не о чем. Но он, конечно, не заплакал, а, внутренне как-то всхлипнув, скрепился и продолжал обстоятельно отвечать на вопросы: что там у них в столице — такой же

беспредел или ближе к властным структурам золотая рыбка ловится по всем правилам искусства? Как там с искусством вообще, продолжает ли оно быть зеркалом и рупором или же постепенно становится форменной симуляцией познания, эдакой партикулярно-местечковой мистерией и симулякром действительности?.. Слегка ошарашенный неслыханным уровнем здешней эрудиции, Петр Петрович быстро приободрился и стал отвечать пытливым зрителям. Потому что на поверку все оказывалось очень даже ясно и просто: да, лучше, да, больше, да, искуснее — и ансамбль «Буратино», и ресторан с домашними обедами, и переизданный огромным тиражом «Евгений Онегин», и жизнь, и искусство, и любовь... всё — ничего. Чего и вам вскорости желаем!

Он вышел на улицу с облегчением. Было уже темно и пасмурно, с реки дул пронизывающий ветер. Как это вдруг так похолодало? Петр Петрович втянул ноздрями вечерний неуют — снежком пахивало. Он обогнул угол дома, где находился кукольный театр, и вдруг глазам его открылось зрелище еще более пронизывающее, чем осенний ветер.

Одна из стен дома, днем казавшаяся огромной стеклянной витриной и занавешенная шторами, сейчас была раскрыта, раздернута и освещена огнями. И творилось в этих огнях черт знает что. За прозрачным стеклом ходили, сидели, лежали, висели под потолком люди, множество живых людей, и на их шеях болтались разноцветные тряпицы. Они посредством этих тряпиц как бы совокуплялись в пространстве, иногда испуская звуковые взрывы — кто-то кричал, кто-то выл на луну, как бы находившуюся уже здесь, со стороны Петра Петровича, а кто-то хлопал пробкой от шампанского, и она, пробивая брешь, летела сюда, прямо ему в лицо. Группа музыкантов широко растягивала меха гармони, била в железные тарелки, извлекая мотив ВИА, вокально-инструментального ансамбля времен Петрпетровичевой молодости, и сердце его вновь начинало весело колотиться и отбивать:

Даже если будет сердце из нейлона,
Мы научим беспокоиться его!

Притянутый музыкой, Петр Петрович прильнул лицом к самому стеклу, прилип и расплющился, совершенно совпав с происходящим там — какой-то человек, в точности как и он бородатый, с сияющими проплешинами, душил свою красавицу жену, а та, уже хрипя, все пела и пела, как заведенная:

Твое сердце из нейлона-из нейлона!
Твое сердце из нейлона, из нейлона!..

Так это ж их местный экспериментально-художественный театр, сообразил, с трудом отлипая от стекла, Петр Петрович. А зрители по ту сторону уже встали и начали аплодировать — задушенной красавице и бородатому мужику, повесившемуся в конце концов на собственном цветном галстуке, а также физиономии Петра Петровича. Они все указывали на него пальцем и беззвучно смеялись: «Смотрите! Смотрите! Это же он, автор этого представления! Он и есть главный!»

Почему они приняли Петра Петровича за автора, одному богу известно. Он, конечно, как человек творческий писал и для театра в том числе, но никогда не был сторонником теории «четвертой стены» К. С. Станиславского, хотя бы даже и стеклянной. Никогда-никогда не хотелось ему повеситься на галстуке или убить дубиной жену, не говоря уж о том, чтобы придушить.

Уже разгримированные черти высыпали из театра, из натуральных его дверей, и Петр Петрович узнал среди них свою ВС. В том же платочке от простуды она лукаво посмотрела на него из-под сокрытых черных дуг-бровей, словно застигла на месте преступления. Как будто ими не нарочно было так задумано — ловить в стекла души прохожих, и он, временно исполняющий обязанности инспектора-искусствоведа, не имел никакого права вот так стоять на улице и хавать с открытым ртом их искусство.

Но командировочная, до боли реальная фигура Петра Петровича, сильно с утра опавшая, и его осунувшаяся физиономия тут же настроили ВС на романтический лад.

— Вечером пойдем в настоящий театр,— подмигнула она Петру Петровичу и покосилась на товарищей.— Вот там будет — класс...

И действительно, скоро они уже сидели в третьем ряду зрительного зала, все остальные ряды которого были почти пусты. Места им достались хорошие, и Петр Петрович сразу же стал клевать носом. То ли от высокой температуры, которой даже сквозь кофточку полыхала чахоточная ВС, то ли от тепла, повеявшего вдруг со сцены.

Да и сцены-то, по совести говоря, никакой не было. Все происходило, протекало прямо у него под ногами — какой-то огромный белый круг, засыпанный чем-то похожим на снег или кокаин, стал вращаться... он вращался, и по поверхности его сами прокладывались борозды пути, как от легкого дуновения больших губ, борозды закручивались спиралью, а по бесконечным кругам выскакивали спелые желтые фонари, и между ними в белой пустоте прохаживались, шли человеческие ноги, по снегу, по свету, по кокаину... Его глаза вдруг широко открылись на эту белую вселенскую чушь, вспухающую золотым светом... Зачем это она глядит в упор на мое лицо, загримированное под повесившегося на галстук? — успел подумать Петр Петрович. И какие крутые у нее брови под черным, и блестящая мушка страсти на губе — грим красавицы Гаранс из французского фильма, кажется, «Дети райка»... И тут все двери, ведущие в театр, захлопнулись окончательно, все окна погасли. Это же мой снег, узнавал Петр Петрович, это он идет в темном-претемном зале, стоит не раздвигаемой чужими руками завесой. Это наш с ней шепот забывает прорехи занавеса, наши слова, как пыль, въедаются в него: любить — это так просто... И падает, падает на бедовые головы — голубыми молниями и золотыми змеями, огненными цветами и далекими звездами — грандиозный, сияющий фейерверк любви. А в соседней с фейерверком комнате мама сидит, молодая строгая учительница. Она сидит за партой. Перед ней открытая книга, толстая-претолстая, нескончаемого объема. И мама переворачивает, переворачивает страницы, мусоля их прозрачным пальцем... «Так трудно учиться, сынок... Страницы только кажутся легкими — они тяжелы, тяжелы... Мне так трудно, сынок...» И повторяет, и смотрит — так трудно. «Я помогу тебе, мама!» — «Нет, ты ведь был непослушным Сыном, хотя я и любила тебя больше всего на свете». — «Но я не виноват, мама!» — «Да, ты не виноват, сынок. Я ушла от тебя слишком рано. Я сделала это сама, по своей воле, и ни о чем не жалею». — «Но зачем, зачем ты это сделала, зачем оставила меня?» — «Глупый, ты не понимаешь, так бывает, бывает даже у тех, кто верит, а я не верила. Крест у меня на груди все время чернел, приходилось чистить мелом. Сколько, по-твоему, я могла это выдержать?» — «Но я бы помог тебе, мама, я бы помог». — «Это я должна была тебе помочь, сынок! Я не имела никакого права так ненавидеть этот мир, хотя бы потому, что в нем был ты. Но я видела, как ты все время играешь, выбирая себе роль — сначала паиньки-мальчика при мне, потом изгойа вне меня, уже при той, другой женщине. Долго ли можно это выдерживать?» — «Что же я должен был делать, мама? Каким мне было быть?» — «Не прятаться за чужими фасадами, даже такими стойкими, как у меня, такими красивыми, как у твоей жены. Так ведут себя все деспоты, все тираны и диктаторы всех времен. Их удел — конвертируемость, они переводят настоящие чувства в твердый суррогат мнимой силы, в красоту чужих фасадов. В результате сила этого мира агрессивна, фасады опоганены. Вспомни, ты всегда боялся выпускать на волю свои эмоции!.. А может, это я, я боялась?.. Не хочу быть ночью, не хочу быть ведьмой, за своими детьми гонящейся...» — «Поэтому ты взяла и ушла?!» — «Наверное, поэтому. Это, конеч-

но, не путь, это просто смерть твоей матери. Я люблю тебя, сынок! Ты мне веришь? Я боюсь за тебя. Но тут ничего уже нет — ни страха, ни вины, ни ненависти. Я даже не могу приказать тебе: “Возьми себя в руки”!..»

Захлопывается книжка. Конец. Крутые брови над белым отложным воротничком печалются, как при жизни... И он вдруг еще увидел — уже не как в театре, а как в жизни: она, его мама, убивает огромного черного паука. Паук сидит на белой-белой стенке в одной далекой развивающейся стране, куда мама послана обмениваться опытом. Узрев паука, она скидывает туфлю и прихлопывает гада, только брызги летят. А в другой раз мама спасает одного маленького мальчика. Еще меньшего, чем ее собственный сын. Тот упал в наполненный водой резервуар, и все буквально остолбенели, в особенности родители мальчика. Даже пошевелиться не могли, а он уже пузыри пускает. Мама прыгает первая, в своем отложном воротничке,— и спасает. Почему ж ты своего сына не спасла?.. Кто-то незаметно приблизился, словно бы сзади, и чьи-то руки прохладно закрыли горящие веки: спите, Петр Петрович, что-то ночью будете делать? ВС смеялась, зрители хлопали в ватные ладоши, свет в зале горел...

— С нами, с нами! — звали их актеры, только что работавшие в спектакле с зажигающимися лампами-планетами.

И Петр Петрович пошел за ними, а куда ему было деться после своего сна в этом чудном, тихом, пронизанном золотым светом городе?

Квартира, в которую они вступили, начиналась сразу за входной дверью, минуя такое излишество, как прихожая. Ее отгораживал огромный шкаф-буфет, другой бок которого создавал выгородку для спальни, а основной корпус служил как бы стеной для довольно-таки обширной и уже заполненной гостями залы-гостиной.

На лестнице дома со спокойной аркой навеса над входом и двумя геометрически выверенными ярусами окон невыносимо пахло кошками. Кошками пахло и в квартире, расположенной в угловой части здания, в полукруглом эркере, который, как узел при пересечении двух нитей, стягивал две линии уличной сети, и там, где стены боковых крыльев встречались, случалось небольшое сумасшествие камня, взрыв — все вдруг приходило в движение сплошных контрастов, какая-то энергичная масса вырывалась из тела здания и нависала над мостовой со всем своим содержимым, чадами и домочадцами.

В зал черно-белым облаком выплыла потереться об ноги кошка Марихуана — в честь родичей, одна из которых была Машка, а другой — какой-то исчезнувший Хуан.

И тут Петр Петрович сразу же совершил необъяснимый поступок. Наклонившись и почесав кошку за ухом, он неожиданно выпрямился и, оглянувшись украдкой, протянул руку. Никто не обращал на него ровно никакого внимания — все галдели, не глядя друг на друга. И он, потянувшись к буфету, стал выдвигать ящичек за ящичком и, как какой-нибудь соглядатай, по очереди заглядывать в каждый. Спору нет, внешняя сторона старого чудовища, с флаконами и флакончиками в своих углублениях, как бы приятно оскаленная стеклянной челюстью, была очень и очень хороша. Яркий комнатный свет играл и искрился в отточенных парижских гранях... Но внутренность миллиона, мириада его ящичков была милее во сто крат, и все они, как это ни удивительно, оказались чем-то заполненными, не было ни одного пустого. Как будто множество жизней побросало сюда свои тайны и признания, мелочи и бесценные подарки, булавки ежедневных обид и пепел вчерашних страстей. Как будто миллион, мириад жизней жили тут, в хозяйке и обладательнице этого шкафа, каждый вечер выходившей на сцену то в пионерском галстуке, под салютом, то в белой рубашке-саване, то с маленькой черной мушкой Гаранс.

Дети райка — актерская бражка — шумели и гуляли, казалось, как бы в пространстве шкафа. Хлопали ящички, личное содержимое тут же вывалива-

лось в общий котел, проедаясь-пропиваясь совместно и безвозмездно. ВС вся выпросталась из своего черного плато и теперь сияла румянцем общего довольства. В ее агонизирующие легкие вливалось антипростудное зелье, и она ничему не противилась — ни болезни, ни зелью, ни льнущим к ней рукам. Как славно! Как согласно... Как просто... О, святая простота! Какими родными казались ему эти прекрасно-нескладные лица, «пазлы» общей убогой картинки, улицей и простудой жизни, ее неустройством тронутые, охрипшие голоса. Дети райка! Именно виденный им когда-то в ранней молодости фильм вдруг дал всему этому название. Умиление его взмыло крещендо. Да, это и есть тот самый замечательный, правдивейший на свете театр, выше и дальше всякого «поэтического реализма» идущий. И без всякой стеклянной стены — прозрачно узнаваемый, слезами отечественных дождей омытый. Он заставляет зрителей, бывших тут одновременно как бы и актерами, тоже плакать, даже без героев-правдолюбцев, без пронзительных театральных жестов, пронзающих партер насквозь. Плакать — без слов, только от абсолютного, стопроцентного соприкосновения друг с другом. Раёк! Он учитывает вкусы бедной, слитой в одно целое галерки, в обход отдельному, состоятельному партеру. У детей райка всегда был и будет свой плач, его театральным занавесом не задушишь — не убьешь. Тут живет театр мечты, но особой, — и пусть бомж превращается в самого себя, забулдыга — в себя, красавица-профура пребудет такой вовеки, выделявая свои пассы и антраша на волнах подлинных страстей. Мечта для бедных людей? Засилье простых и грубых эмоций? Да! Потому что всё и так чудесно — без чуда. Все известно наперед, и это знание и есть наша мечта, наше лицедейство — этот город в огнях, петля галстука, паутина и копоть на ярусных окнах, едкие кошачьи запахи лестниц и комнат. Все будет именно так, и нужна особая, дьявольская интуиция — угадывать и воспевать именно таким образом... Это их дар... Любить — это так просто...

— Если я и был когда счастлив, то только в детстве, — глупо сказал Петр Петрович в пространство.

И вся картина предыдущей его жизни вдруг предстала перед ним совершенно в ином свете, как неверная и кем-то оболганная. Им же самим и оболганная! Все его вчерашнее поле боя, вся эта усеянная костями мертвых идей русская равнина, где одно войско выступает и до последнего бьется с другим, вся эта конфронтирующая двойственность, где в лучшем случае возможны лишь союзники двух сильных сторон, — весь этот бред и морок борьбы, как завеса, упали. Перед ним предстал сам ландшафт, где происходило сражение, — со всеми его сложностями, горами и возвышенностями, карстовыми пещерами и известковыми плато, всеогромный глубокоуважаемый шкаф, прячущий в самой своей глубине что-то самое тайное, самое важное... Ящички. Ящички...

Да-да, думал Петр Петрович, по какой-то притче Бог недаром подарил людям разнообразие жизни — детство и старость, рождение и смерть, боль и радость, добро и зло, чтобы не было мучительно больно, и равно самому себе, и стиснуто единством цели... Да здравствуют ящички, наполненные всякой всячиной, без разбора!

И он, уже не думая, опрокинулся в ставшее вдруг огромным и румяным смеющееся лицо — не было на нем больше ни грима, ни теней, только яркий огненный свет... сейчас этот багровый цветок любви разорвется и разорвет им грудь...

...никогда-никогда нельзя заглянуть и войти в тот ящичек — там мама лежит без записки, без слова прощального. А он из своей вечной искусствоведческой командировки вернулся. Хотел отпевать, а батюшка-благочестивец — принесите справку из Чистого переулка. Подождете всего с полчаса, сейчас это просто. Просто?! Просто, просто... просто она разгромила все вокруг, а потом аккуратно сложила рядом нужные вещи, еще не ношенные... Никогда не

вернуться в ту южную развивающуюся страну на карте мира, где она преподавала иностранным детям бессмертный язык, и победила паука, и спасла чужого мальчика. И так ругала своего, когда он поджарил на сковородке любимую игрушку, резинового Чиполлино-луковицу. Всегда неподкупность, всегда искренность, всегда отповедь: «Учти, там человек человеку волк», — это в ответ-то на его мальчишеское: «Не хочу и не стану тут жить!» И крестик на груди, и отложенной воротничок, и цитата, кажется, из Бальмонта: «Вы солгали, туманные ночи в июле...» Куда, в какие ночи, в какие тайные ящички она со всей своей искренностью так и не смогла заглянуть? Запретив себе. Себя запретив. Тут и начался беспорядок, выдаваемый за «полный порядок». И эта все нарастающая мамина агрессия, перенесенная с мира — на себя. В конце концов ценой окончательного усилия все перенесла на себя, самую, обычно ежедневную, всехнюю вину. Освободила других?.. Так нелепо, так непоправимо... так просто...

— Крыс! Давайте ловить крыс! — смеялось лицо.

— Каких крыс, разве тут есть крысы?

— Нет, ха-ха-ха, ни одной нет! Но мы все равно будем их ловить. Всю... Ночь... Всю ночь...

Вдруг стало жарко, остро — как при высокой, несбиваемой температуре детства, когда всего тебя зашкаливает и невыносимо внутри самого себя, все липнет к жесткому каркасу тела, перетираясь и ломаясь на сгибах и углах... жарко, же-с-т-ко... Жар души буквален, он просится наружу все спалить — не от нее ли, которая с ним сейчас, этот жар? Передалось, занялось и, соприкоснувшись, замкнуло страшный огонь-взрыв... «Выпей, сынок, чаю с лимоном, температура спала, тебе легче станет». Мама с ним безотлучно, безотрывно, рука ее любящая, легкая...

Они ловили призрачные черные тела, шаря руками и даже бросаясь на четвереньки у шкафа, — лязгали стеклянные флаконы, внутри что-то дрожало и ухало, и тогда им стало казаться, что крысы тут действительно есть, они бегают, стуча лапками высоко по кругу, и ужасно горят в темноте их маленькие глаза, и крысиные огни пронизывают ночь. И были они как дети — напуганы и счастливы, жутко счастливы, в невесомых своих тряпицах...

Под утро, начисто поглотившее следы вчерашнего умиления и радости, Петр Петрович проснулся, даже не в чужой постели — у чужого шкафа. Черно-белое пушистое облако Марихуаны блуждало, мело по его голым ногам. Кругом вповалку, кто на ком, спали дети райка.

Не было сил открыть глаза, сделать первый глоток. Тем более выйти на улицу.

Но он все-таки вышел, в последний раз взглянув на спящую — на ее действительно румяную, неприкрытую детскость, из которой, как из бедной и прекрасной провинции, не было никакого выхода ему, боровшемуся с ней в ночи.

И вдруг чувство глубокого и окончательного поражения упало ему на плечи, больно обожгло непокрытую голову. Снег падал отовсюду, забивался в черные складки города, лежал на траве, на листьях, на черно-красных камнях набережной, на золотых фонарях-фонариках, первый, не в срок выпавший саратовский снег.

Он спустился к самой реке. И увидел — прямо перед ним проплывает церковь о семи колоколах, от небольших до весьма огромных. И имя обозначилось на борту плавучей, недавно отреставрированной церкви:

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Это был старый буксирный пароход, колесный, полуморского типа, со звонницей над штурвальной рубкой, хорами и молящимися, число которых могло достигать нескольких сотен. И Петру Петровичу с берега вдруг почудилось, что вот он и есть наконец тот самый тайнозритель — и один видит сейчас мир после всего, после гибели, а значит, человечество выжило и будет жить еще очень-очень долго, может быть, вечно.

Мальчишки с берега бежали за плавучим домом Божиим с криками и песнями:

Старики вы, старики,
Старые вы черти.
Собирайтесь-одевайтесь,
Приготовьтесь к смерти.

«Поющие минералы»,— усмехнулся про себя Петр Петрович.

Он двинулся от воды вверх, к вчерашнему скверу с нищим. В сквере снег был гуще и надежнее. Под еще не успевшим утоптаться настом что-то белело — но серее, чем снег. Приглядевшись, Петр Петрович выхватил из снежной белизны сначала одну ногу, потом вторую, потом голову в дурацком колпаке. Это была скульптура «Айболит» — он сам «распространял» этого доктора по городам родины, вместе с разумным, добрым и вечным.

Петр Петрович собрал грязные останки и понес их на вытянутых перед собой руках, неизвестно к кому обращенных, и какая-то серая тусклая тень влеклась за ним след.

Небо над отбывающим поездом раскинулось по-зимнему светло, оно старалось до срока укутать в слои новогодней марли облаков порезы от самолетных маршрутов, железнодорожных свистков и худых, неосторожно брошенных с земли взглядов, уврачевать боль легкими, розовыми перьями огромного игрушечного фламинго из детства — птица все смотрела и смотрела раскрывающимся, пристальным глазом, так что обратный путь уже не казался ему ни страшным, ни скучным.

Он сладко спал всю дорогу. Когда наутро проводница стала дергать за ручку запертой двери, требуя подъезжающих на выход с вещами, там никто не ответил. В купе СВ молчали, как будто в уютном пластиковом ящичке никого и не было.



Стихи — забава молодых

Великаны страсти

А страсти-то великаны —
Не то что бега тараканы,
Где маленькие да удаленькие
Балдеют от встреч и свиданий.
Таскают букеты и платья,
Мечтают о тел наготе.
Бросаясь друг другу в объятия,
Оказываются в пустоте.

Соединись великаны,
Словно взорвись вулканы,
Вспыхнул бы неизбежно
Самый большой пожар.
А воздух бы долго и нежно
Плавился и дрожал.

Вот и стоят в молчании,
В вечном немом отчаянии...
Ведь страсти-то великаны —
Не то что бега тараканы.

* * *

Разболелась голова у поэта.
Ходит-бродит он в тоске, ищет лето.

А дожди его секут цвета стали,
А снега его мести не устали.

Он всё думает — куда ж ему деться?
Ведь нельзя ему без лета, без детства...

А направо повернешь — будет пуля,
А налево повернешь — будет дуля,

А поправишься вперед — будет водка,
А назад никак нельзя — поздно.
Вот как.

Что ж, выходит, в землю лечь?
Срока нету...
Остается только небо поэту.

Разболелась голова у поэта.
Ходит-бродит он в тоске, ищет лето.

Да не ходит уж теперь, а летает,
И душа его в душе тихо тает.

* * *

Стихи — забава молодых.
Когда вам двинули под дых
За мысль,
 за пару емких фраз,
Когда вам врезали меж глаз —
Вам хоть бы что,
Вам хоть бы хны,
Вам утешенья не нужны.
Ведь в двадцать лет,
Ведь в двадцать лет
Почетней нет подобных бед.

А к тридцати уже не то...
Жена дешевое пальто
Носить не хочет.

 Вот так раз!
А тут еще раз промеж глаз...
А к тридцати пяти...

 О, нет!
И без того довольно бед.
И подрастают дети,
И ни фи́га не светит.
К тому же точен чей-то штрих:
Стихи — забава молодых.

А к сорока?
 А к сорока
Гуляют в небе облака.
Как сорок лет тому назад,
Как сотню лет тому назад...

* * *

Вот и всё.
 Отшумят листопады.
И от страха сожмется душа.
Станет зябко от мгlistой прохлады,
От разлуки,
 звнящей в ушах.
Только мальчик
 по лужам суровым
Будет шлепать
 назло холодам —
То ли ждет сокровенного слова,
То ли слово придумает сам.



Эссе из книги «Тайная история творений»

ВСТРЕЧА В ТАМБОВЕ

Существо языка, открыл Хайдеггер, «мыслит, строит, любит». И, разумеется, говорит. «Язык *говорит*,— писал философ.— И это означает одновременно: *язык* говорит».

Мало того, только язык и способен это делать. Потому что: «Язык по своей сути не выражение и не деятельность человека. Язык говорит».

Что же касается человека, то он «говорит только тогда, когда он соответствует языку». Но даже тогда, когда человек говорит, ничего не меняется. Потому что «*единственно* язык есть то, что собственно говорит. И он говорит *одиноко*»,— утверждал Хайдеггер.

Почему одиноко? Разве оно едино, это говорящее разными языками существо языка? Оно едино. И в то же время множественно. Так же, как едины и множественны индийские божества; как един и множественен Шри-Кришна, он же Атман, показавший воину Арджуне перед битвой на Поле Куру себя во всем.

Единое существо языка проявлено в разнообразных существах языка. Одно из них — *существо языка Платонова*.

Вся загадка Платонова в этом существе, которому Платонов всего лишь соответствовал. Но это «всего лишь» было его тайным подвигом, который он совершал не в бреду, не в бессознательном порыве, не в пылу какого-то слепого юродства, а в ясном сознании. Он был бодрым и бдительным стражником, охранявшим жизнь непостижимого существа языка Платонова, которое родилось и обитало в нем.

Не случайно и не из одного только писательского желания сохранить в неприкосновенности свой текст он подчеркнул однажды (в письме к жене из Тамбова от 1927 года) четыре слова:

«Дорогая Маруся!

Посылаю “Епифанские шлюзы”. Они проверены. Передай их немедленно кому следует. Обрати внимание Молотова и Рубановского на необходимость *точного сохранения моего языка*. Пусть не спутают...»

Пусть не спутают... Что это значит? Пусть не спутают, не припутают, не примешают дух какого-нибудь другого существа языка? Или это значит — пусть не спутают с ошибкой, вывертом, недоразумением то, что родилось в полном разумении и было зафиксировано безошибочно.

Платонов не был неким счастливым, блаженно наивным мастером, не ведающим, что он творит. Он ведал. И на необходимости точного сохранения своего языка настаивал именно потому, что ясно понимал: язык *так* еще никогда не говорил. *Как?* Ответить на этот вопрос значило бы возвыситься не только над отдельным существом языка Платонова, но и над существом языка как таковым.

Если мы признаём, что язык у Платонова доходит в описании бытия мира и живущих в нем существ до своих последних возможностей, до своих крайних пределов, где происходят увечье и уничтожение языка и одновременно выражение не-

выразимого, то каким языком мы должны описывать сам этот язык? Таким, который лежит уже за пределами языка. То есть никаким. За пределы выйти никто не может. «Язык могущественнее и потому весомее нас», — говорит Хайдеггер.

Рассуждать о языке Платонова (а значит, и о самом Платонове) можно только в рамках собственного, глубоко субъективного впечатления, каким бы ограниченным и неизъяснимым оно ни было. Это единственно верный путь. Всякая попытка научно-систематического, объективно-филологического суждения о языке Платонова абсолютно бессмысленна. Потому что язык Платонова, стремящийся выйти за пределы языка, не предполагает умственной и даже чувственной деятельности. Он предполагает обморочное бессловесное видение существ, вещей и явлений мира.

«В день тридцатилетия личной жизни Воцеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования».

Это первое предложение повести «Котлован».

Что-то здесь задевает сознание: какое-то закрывшееся нарушение разворачивает его, как разворачивает ледяная кочка налетевшие на нее сани. Осознать, в чем оно, это *что-то*, пока еще возможно, — пока не сделан следующий шаг в глубину текста. Оно — в словосочетании *«тридцатилетие личной жизни»*; оно в том, что это словосочетание обладает той предельной избыточностью, которая и доводит язык до его собственных границ, туда, где брезжит иное, внеязыковое понимание смыслов; и оно, наконец, в том, что это словосочетание на самом деле не несет в себе никаких нарушений — напротив, является не просто правильным, а сверхправильным, правильным до такой степени, в какой земные существа не нуждаются: для них было бы достаточно сказать «в день тридцатилетия Воцеву дали расчет». Однако «в день тридцатилетия личной жизни...» более понятно — более понятно для каких-то других существ, которые словно ничего не знают о жизни воплощенного мира и его обитателях, но зато хорошо знают, что жизнь вне воплощения, вне личности, вне личности — *не личная жизнь* — никакими тридцатилетиями не измеряется. Потому что жизнь в целом — до и после *личной* — времени не подвластна. «Ибо не было времени, когда бы я не существовал, равно как и ты, и эти владыки народов, и в будущем все мы не прекратим существовать», — говорит «Бхагавадгита» голосом одного из таких существ.

«В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда».

В этом — втором — предложении «Котлована» уже нельзя указать, в чем именно сосредоточено то непостижимое *что-то*, которое с корнем выворачивает сознание из почвы земного бытия, сообщая ему о земном же бытии. *Что-то* — здесь уже во всем и везде: в самом существе языка Платонова, которое обращено вовсе не к человеческому сознанию и изъясняется вовсе не с человеческими существами, а с существом равным себе или стоящим выше. Ему, этому высшему существу, показана жизнь в избранном густе вещества, который называется земным миром. И свойства именно его сознания, божественно безучастного, удаленного и всепринимającego, учитывает на каждом шагу существо языка Платонова, и в особенности там, где является смерть, которая не представляет для этого сознания трагически значительного события:

«В будке лежал мертвый помощник. Его бросило головой на штырь, и в расшившийся череп просунулась медь — так он повис и умер, поливая кровью мазут на полу, — сообщает незримому существу в “Сокровенном человеке” существо языка Платонова. — Помощник стоял на коленях, разбросав синие беспомощные руки и с припиленной к штырю головой.

“И как он, дурак, нарвался на штырь? И как раз ведь в темя, в самый материнский родничок хватило!” — обнаружил событие Пухов».

Откуда у существа языка Платонова эта уверенная беспечальность в словах о смерти? Оттуда же, откуда она в словах просветленных, блаженных; в словах Священных писаний Запада и Востока.

«Не проявлены существа вначале, проявлены в середине, не проявлены также в исходе; какая в этом печаль, Бхарата?» — говорит Кришна Арджуне, павшему духом, выронившему на дно колесницы оружие от *человеческого* ужаса, от страшной мысли, что вот сейчас он должен сразить на Поле Куру в братоубийственной битве своих родных и близких.

Должна была быть какая-то очень важная причина, чтобы язык заговорил так, как он заговорил у Платонова — не принимая в расчет уязвимое сознание проявленных существ.

Искать эту причину мы можем только в *известном* Платонове, то есть в его *личной*, заключенной в индивидуум жизни, которая длилась с 1899-го по 1951 год. Но причина остается недоступной. Потому что она в другом Платонове. В том неисследимом существе, жизнь которого уходит в бесконечность по обе стороны от этих дат.

Вероятно, именно с этим другим Платоновым — Платоновым-существом — Платонов-человек встретился однажды в 1927 году в Тамбове.

Чуждый всякого мистицизма, он описал эту встречу в письме к жене детально и ошеломленно, настаивая на сугубой серьезности своего сообщения. Вот оно:

«Два дня назад я пережил большой ужас. Проснувшись ночью (у меня неудобная жесткая кровать) — ночь слабо светилась поздней луной, — я увидел за столом у печки, где обычно сижу я, *самого себя*. Это не ужас, Маша, а нечто более серьезное. Лежа в постели, я увидел, как за столом сидел тот же я и, полуулыбаясь, быстро писал. Причем то я, которое писало, ни разу не подняло головы и я не увидел у него своих глаз. Когда я хотел вскочить или крикнуть, то ничего во мне не послушалось. Я перевел глаза в окно, но увидел там обычное смутное ночное небо. Глянув на прежнее место, себя я там не заметил.

До сих пор я не могу отделаться от этого видения, и жуткое предчувствие не оставляет меня. Есть много поразительного на свете. Но это — больше всякого чуда».

Нет нужды и возможности комментировать эти слова.

Лишь на одно обстоятельство следует здесь обратить внимание. Мы уже говорили в начале о соответствии Платонова существу языка Платонова. Спросим теперь: что делало в Тамбове за письменным столом у печки таинственное существо, которое не только обликом, но и духом (ибо Платонов ясно видел в нем свое *я*) соответствовало Платонову? Мыслило ли оно, строило, любило?

Оно полуулыбалось и быстро писало, не показывая своих глаз. И это все, что мы знаем о нем.

ПОДВИГ КАТУЛЛА

Ядовитейший римский поэт Гай Валерий Катулл оградил от забвения множество безвестных имен. Шлюха Амеана, «*puella defututa*» («издолбанная девка»), требовавшая за свои услуги фантастические суммы, мальчик Ювенций, ходивший по рукам любострастников, гетера Постумия, правившая на пирах и оргиях, вороватый Талл, изнеживший в банях свое тело до мягкости «*rene languido senis*» («дряблого стариковского уда»), поэт Волюзий, написавший «*casata carta*» («сраное сочинение»), пересмешник Эгнатий, чистивший зубы мочой, — все они должны были исчезнуть без следа. Катулл поселил их в вечности.

За сотни лет до своей всемирной славы, которой могло бы и не случиться, если бы в 1300 году в библиотеке одного из монастырей Вероны не обнаружилась нечаянно латинская рукопись под заглавием *Catulli Veronensis Liber* («Книга Катулла Веронского»), пролежавшая там без внимания около тысячи лет, он предрекал известность всякому, кого коснутся его «*truces iambos*»*:

* злые ямбы (лат.).

Что за черная желчь, злосчастный Равид,
 В сети ямбов моих тебя погнала?
 Что за мстительный бог тебя подвинул
 На губительный этот спор и страшный?
 Или хочешь ты стать молвы игрушкой?
 Иль какой ни есть ты славы жаждешь?
 Что ж, бессмертным ты будешь! У Катулла
 Отбивать ты осмелился подружку.*

Катулл не ошибся: «truces iambos» сделали известным некоего Равида. И хотя эта известность ограничивается строгой формулой комментаторов: «*лицо ближе неизвестное*», Равид не забыт, как и десятки других обитателей Рима времен заката республики, которых Катулл озарил светом своей славы. Без Катулла эти имена — Аврелий, Фурий, Аллий, Порк, Эмилий, Квинтия, Ипсифилла — ничего не значат. Но есть среди них имя, без которого и сам Катулл, знаменитый своей неумной желчностью и припадками яростного сквернословия, должен был бы представляться потомку, свободному от научного интереса к поэтическим опытам неотериков, зловным, крикливым юродом, потешающим Рим. Это имя Лесбия. Это — любовь Катулла. Это то, что и сделало его великим Катуллом — ядовитым и нежным одновременно.

Историю любви Катулла и Лесбии уже сотни лет вдохновенно реконструируют филологи и поэты. Извлеченная из его стихов, дополненная множеством косвенных сведений и общих соображений, история эта тем не менее остается самым загадочным фрагментом его биографии, которая известна именно фрагментами и главным образом по книге самого Катулла.

Точная дата его рождения не установлена. Согласно христианской Хронике IV века, приписываемой Иерониму Блаженному, он родился в 87 году до Р. Х. Однако хронологические расчеты современных исследователей дают более позднюю дату — 84 год до Р. Х. Его родина — Верона, север Италии, долина реки Пад (ныне По).

Для Рима тогда это была одна из далеких и презренных провинций — Gallia Cisalpina — Предальпийская Галлия. Неясно, имел ли отец Катулла римское гражданство. Жители Предальпийской Галлии к этому времени едва успели получить гражданство латинское, отличавшееся от римского существенными ограничениями. Лишь единицы — те, кто занимал должностные посты в своей общине, имели доступ к полному римскому гражданству. Отец Катулла, полагают, мог принадлежать к этим избранным, потому что, во-первых, дружил с Юлием Цезарем, а во-вторых, был богат и знатен. О том, что Цезарь поддерживал с отцом Катулла дружеские отношения, сообщает Гай Светоний в своих знаменитых «Жизнеописаниях двенадцати Цезарей». Однако это сообщение требует некоторых важных для нас уточнений. В 80 — 70-х годах Цезарь был еще малоизвестным политиком, жившим под постоянной угрозой опалы и судебных преследований. Если отец Катулла дружил с *этим* Цезарем, то для него это ровным счетом ничего не значило, кроме того, что и на мирного веронца могла распространяться часть опасности, которой была наполнена жизнь римского друга в кровавые времена диктатора Суллы и жестокой смуты, последовавшей за его кончиной. Но и Цезарь 60-х годов, когда карьера его начала бурно развиваться, был еще не тем Цезарем, дружба с которым могла возвысить далекого провинциала, ибо римский друг и сам на каждом шагу чудом избегал падений, ускользая то от могущественных обвинителей, то от обнаженных мечей родовитой толпы, встречавшей его при выходе из сената. Лишь много позже, когда Цезарь стал пожизненным консулом, пожизненным диктатором, вечным императором и «отцом отечества», он мог даровать римское гражданство не только отдельному жителю Вероны, но и всему населению Предальпийской Галлии в целом, что он и сделал в середине 40-х годов. Но время это уже не связано с Катуллом.

Что же касается знатности отца, предположительно открывавшей ему доступ к магистраторской должности, которая одна и превращала уроженца Предальпий-

* Стихи Катулла цитируются в эссе по переводам М. Амелина, З. Морозкиной, Ф. Петровского, А. Пиотровского, С. Шервинского.

ской Галлии в римского гражданина, то о знатности не существует никаких сведений, как и о том, что отец Катулла когда-либо был магистратом в Вероне. О богатстве же установлено — по стихам Катулла — только одно: недалеко от Вероны на южном берегу Бенакского озера (ныне оз. Гарда) у отца была вилла, стоявшая на мысе Сирмион. Возможно, именно там Катулл и вырос. Впрочем, о его детстве ничего не известно, кроме того, что в раннем возрасте, еще до совершеннолетия, он пережил сильное потрясение — кончину горячо любимого брата, погибшего при неизвестных обстоятельствах в поездке на Восток, в Троаду, где он и был похоронен. Много лет спустя, очутившись в тех краях и разыскав там вблизи древней Трои драгоценную могилу, Катулл горько рыдал, проливая над ней, как он выразился в своей скорбной элегии, «обильные потоки нескончаемых слез».

Итак, если опираться на факты, пусть малочисленные, но установленные, Катулл ко времени его приезда в Рим и встречи с Лесбией был безвестным провинциалом, не обладающим ни родовитостью, ни богатством, ни римским гражданством. Все его достояние составляли лишь несколько юношеских стихов, известных Корнелию Непоту, который тоже был родом из Предальпийской Галлии, но в Риме уже успел прославиться историческими трудами. Ему Катулл впоследствии и преподнес свою книгу, не забыв упомянуть в посвящении, что Непот еще тогда имел обыкновение «aliquid putare» («во что-то ставить») его «pugas» («безделки»), когда сочинял свои знаменитые Хроники в трех томах, то есть приблизительно в 60 году до Р. Х. Этот год и принято считать годом приезда Катулла в Рим.

Разумеется, прозорливый Непот, а вместе с ним и другие выходцы из Предальпийской Галлии — поэт Гельвий Цинна и оратор Лициний Кальв, — не просто «во что-то», а очень высоко ставили Катулла; в Риме они вскоре сделали его близкими друзьями. Но на спесивый взгляд потомственных римских аристократов безродный веронец, наделенный второсортным латинским гражданством, «правом Лациума», как оно называлось, должен был выглядеть персоной если не ничтожной, то вполне незначительной, пригодной лишь для того, чтобы пополнить в качестве клиента пеструю свиту именитого патрона.

Такой персоной он, вероятно, и представлялся Квинту Метеллу Целеру, сенатору, происходившему из знатного римского рода и избранному в 60 году консулом. По приезде в Рим Катулл очутился в его свите. Это, конечно, не было чистой случайностью. Совсем недавно, в 62—61 годах, Метелл занимал должность наместника Предальпийской Галлии, и для Катулла как выходца из этой провинции было естественно искать у него покровительства в Риме. Хотя не менее, а может быть, даже и более естественно было бы попытаться счастья в свите отцовского товарища, который добился консульства на следующий, 59 год. Но Катулл почему-то этого делать не стал. Мало того, он принялся поносить Цезаря с неудержимым, кривляющимся ехидством в стихах столь же отточенных, сколь и непристойных. Без всякой объяснимой причины — комментаторы только разводят руками — он поначалу вдруг сделал персонажем своих глумливых инвектив цезарианского офицера по имени Мамурра, по должности *praefectus fabrum* (начальник саперного отряда). Катулл пожаловал ему в стихах другую «должность» — *mentula*, — выражение столь впечатляющее, что точный его перевод на русский заставил бы переводчиков слишком резко выходить за рамки академического приличия или вносить сумятицу в звучные строки, вставляя то там, то сям беззвучный осколок — «х...», и поэтому его принято переводить всевозможными эвфемизмами — от «хлыща» до «хрена» или оставляя без перевода в русской транскрипции. Упиваясь собственным неистовством, Катулл поносил все и вся, что было связано с этим Мамуррой-ментулой родом из города Формий, — его блуд, его стишки, его богатства, нажитые на должности не блистательной, но вполне воровской (саперный отряд занимался строительными работами и доставкой провизии), его подружку Амеану, ту самую, за которой последовало в бессмертие выражение «*puella defututa*», — и в какой-то момент, то ли под воздействием нервного задора, входившего в состав его вдохновения, то ли в силу особого поворота поэтической мысли, он связал с ним и Цезаря:

Отвратительно схожи эти двое,
Блудозадые Кесарь и Мамурра.
И не диво, что пятна к ним обоим

(те — формийские, римские — вот эти)
 припечатались намертво, не смоешь:
 пара — два сапога, одни пороки,
 оба умники, вместе делят ложе,
 где не ясно, кто больше ненасытен,
 сообща отправляются к малышкам, —
 отвратительно схожи эти двое.

На Цезаря это произвело убийственное впечатление. Praefectus fabrum Мамурра, сколько бы он ни наворовал, находясь при легионах Цезаря сначала во время его испанского наместничества в 61 году, а затем и в галльских походах, был, конечно, фигурой не сопоставимой с полководцем, — Цезарь даже ни разу не упоминает этого соратника в «Записках о Галльской войне». Очутиться в «злых ямбах» Катулла рядом с ничтожным сапером было для него, пожалуй, двойной обидой, такой обидой, что ее выражение — несомненно, публичное — дошло через 180 лет до Светония. «Валерий Катулл, по собственному признанию Цезаря, — сообщает он, — заклеил его вечным клеймом в своих стишках о Мамурре, но, когда поэт принес извинения, Цезарь в тот же день пригласил его к обеду, а с отцом его продолжал поддерживать обычные дружеские отношения». Да, извинился, явился на обед. Однако после этого еще более утонченно издевался над Цезарем, то выказывая к нему презрительное равнодушие — «Знать не хочу я совсем, черен ты или бел», — то рисуя его соратников не черными и не белыми красками, а чистым ядом:

Голова у Отона с черепочек;
 Ляжки моет Герий, но по-мужицки;
 Воздух портит Либон при всех неслышно, —
 Ты и сам бы от них отворотился,
 И Суфиций, в котле варенный дважды,
 Будешь вновь на мои сердиться ямбы
 Недостойные, первый полководец?

В свите сенатора Метелла Катулл оставался недолго. В 59 году покровитель неожиданно скончался, отравленный, по убеждению современников, собственной женой. Считается, что именно с этого времени началась история любви Катулла и Лесбии.

Обстоятельства могли бы сложиться так, что исследователи никогда бы не установили, кем была героиня этой истории. По стихам Катулла, где в образе Лесбии сосредоточены одновременно вся волшебная красота небесных богинь и все буйное б...ство кабаков и переулков Рима, ее можно было бы представлять кем угодно — потаскушкой с улицы Субура, какой-нибудь вольноотпущенницей, римской гетерой или некой *лесбосской девушкой, жительницей острова Лесбос*, — таков точный смысл псевдонима «Lesbia», который Катулл дал возлюбленной. Псевдоним остался бы нераскрытым, если бы не цепь случайностей. Два века спустя после смерти Катулла ритор Апулей, автор знаменитого «Золотого Осли», нечаянно захворал по дороге в Александрию. Болезнь заставила его остановиться в Эе, одном из городов Проконсульской Африки. Там он неожиданно для себя женился на богатой вдове по имени Пудентилла, облазнившись мыслью о семейном покое. Женитьба обернулась для него судебным процессом: родственники Пудентиллы обвинили его в развратном поведении и магических действиях — он будто бы околдовал вдову, которая много лет упорно отказывала всем, кто к ней сватался. Обвинение грозило Апулею смертной казнью, и потому он — на радость грядущим исследователям — подготовился к процессу, происходившему в городе Сабрате под председательством проконсула Африки, с чрезвычайной обстоятельностью — написал обширную речь в свою защиту — «Апологию». В одном из ее пунктов он процитировал свои любовные стихи, служившие на суде доказательством его «крайней разнuzданности» (в них воспевались два мальчика), и, обращаясь к проконсулу Клавдию Максиму, сказал:

«Вот тебе, Максим, мое преступление, составленное из одних гирлянд и песен. Ну прямо — закоренелый прожигатель жизни, не так ли? Ты обратил внимание, как меня порицали здесь даже за то, что хоть у мальчиков другие имена,

я назвал их Харинომ и Критием? Да, но ведь в таком случае можно было бы обвинить и Гая Катулла, за то, что он Клодию назвал Лесбией...»

Так открылось ее настоящее имя. Клодия.

Она принадлежала к древнейшему патрицианскому роду Клавдиев, который со времен республики в каждом поколении давал Риму консулов, диктаторов и цензоров. Среди ее предков были легендарная дева-весталка Квинта Клавдия, которая, по преданию, силой молитвы сняла с мели и провела вверх по Тибру корабль со святынями богини Кибелы, и не менее легендарный консул Аппий Клавдий Слепой, при котором были построены первый римский водопровод, названный его именем, и дорога от Рима до Капуи — знаменитая Аппиева дорога. Вся родня Клодии была на виду и в те времена, о которых идет речь. Ее отец занимал должность консула в 79 году. Брат Публий Клодий в годы жизни Катулла в Риме стал народным трибуном, которого плебеи провозгласили своим вождем. Старшая сестра была замужем за консулом 68 года Квинтом Марцием Рексом, младшая — за полководцем Лукуллом, сводная — за Помпеем Великим. Сама же Клодия была женой Метелла — того знатного сенатора, в свиту которого судьба привела безродного веронца, чтобы он мог увидеть вблизи ослепительное божество:

Тот с богами, кажется мне, стал равен,
Тот богов превыше, коль то возможно,
Кто сидит напротив тебя и часто
Видит и слышит,
Как смеешься сладко,— а я, несчастный,
Всех лишаюсь чувств оттого, что тотчас,
Лесбия, едва лишь тебя увижу,—
Голос теряю,
Мой язык немеет, по членам беглый
Заструился пламень, в ушах заглохших
Звон стоит и шум, и глаза двойною
Ночью затмились.

Но это далеко не все, что стало известно о воспетой Катуллом Лесбии, благодаря тому, что ритор Апулей однажды вымолвил ее настоящее имя.

Не одна только «Книга Катулла Веронского» увековечила ее образ. Под собственным именем она выступает персонажем и другого уцелевшего произведения — «Речи в защиту Марка Целия» («Pro M. Caelio oratio»), написанной Цицероном и произнесенной им 4 апреля 56 года до Р. Х. перед трибуналом претора Гнея Домиция Кальвина.

Клодия участвовал в этом процессе. Более того, именно она тайно направляла все действия обвинителей (в их числе был и ее брат Публий), которые привлекли к суду юного оратора Марка Целия — ее любовника и близкого друга Катулла. Целию среди прочего вменялась в вину попытка отравить Клодию при помощи ее же золота, которое он будто бы использовал для приобретения яда и подкупа рабов-исполнителей. Образ Клодии, нарисованный в этой речи, лишен той восхитительной двойственности, какую ему сообщает поэзия Катулла. Не выказывая ни малейшего признака божественности, Клодия у Цицерона предстает родовитейшей римской шлюхой, оскверняющей своим необузданным развратом священную память великих предков, в особенности же легендарной весталки и доблестного Аппия Слепого, от лица которого Цицерон — как бы вызвав на суд его дух из царства мертвых — возгласил, обращаясь к Клодии:

«Для того ли расстроил я заключение мира с Пирром, чтобы ты изо дня в день заключала союзы позорнейшей любви? Для того ли провел я воду, чтобы ты пользовалась ею в своем разврате? Для того ли проложил я дорогу, чтобы ты разъезжала по ней в сопровождении посторонних мужчин?»

Цицерон ничего не упустил в пылу изобретательного красноречия. Он позаботился, чтобы претор Гней Домиций узнал Клодию как можно ближе. Он рассказывал суду о ее поездках в Байи — курортный городок близ Неаполя, который со времен поздней республики был одинаково знаменит на всю Италию целебными источниками, морскими купаниями, роскошными термами и привольным блудом, царившим там повсеместно. «Уверяю вас,— вещал Цицерон,— Байи не только говорят, но даже гремят о том, что одну женщину ее похоть довела до того, что она

уже не ищет уединенных мест и тьмы, обычно покрывающих всякие гнусности, но, совершая позорнейшие проступки, с удовольствием выставляет себя напоказ в наиболее посещаемых и многолюдных местах и при самом ярком свете». Он обрисовал ее дом, «где мать семейства ведет распутный образ жизни, откуда нельзя выносить наружу ничего из того, что там происходит, где обитают беспримерный разврат, роскошь, словом, все неслыханные пороки и гнусности». Он дал понять, что само обвинение, исходящее из этого дома — «из враждебного, из опозоренного, из жестокого, из преступного, из развратного», — есть лишь открытая демонстрация свирепой похоти «безрассудной, наглой, обозлившейся женщины», обозлившейся, разумеется, на Марка Целия, который в какой-то момент вдруг решил разорвать с ней любовную связь. И, наконец, Цицерон поведал суду и о том, чего «нельзя выносить наружу» и что хорошо было известно его подзащитному, проводившему в «преступном доме» не только дни, но и ночи. По ночам Клодия совокуплялась со своим младшим братом, народным трибуном Публием Клодием. Возможно, именно это и послужило для Целия причиной разрыва с неверной любовницей, которая «cum suo coniuge et fratre»*, как Цицерон называет Публия, разыгрывала перед ним изощренный спектакль: их кровосмесительное супружество Цицерон описывает, вероятно, со слов Целия, как отвратительную симуляцию болезненно-нежной братской любви. «Но если ты предпочитаешь, чтобы я говорил с тобою вежливо, — обращается он к Клодии, — я так и заговорю: удалю этого сурового старика (то есть Анния Слепого, от имени которого Цицерон высказывался до этого момента); итак, я выберу кого-нибудь из твоих родных и лучше всего твоего младшего брата, который в своем роде самый изящный; уж очень он любит тебя; по какой-то странной робости и, может быть, из-за пустых ночных страхов он всегда ложился спать с тобою вместе, как малыш со старшей сестрой».

Вежливо Цицерон, конечно, не заговорил с ней. Он продолжал называть ее на протяжении всей речи, произносившейся на форуме перед собранием почтенных мужей, свидетелей и народа, «распутницей», «развратницей», «преступнейшей женщиной».

Клодия была уничтожена.

После этого процесса, на котором Целий был оправдан по всем пунктам обвинения, она исчезла с горизонта римской жизни. В дальнейшем никаких сведений о ней не появляется в древних источниках. Предполагают даже, что удар для нее был столь сильным, что она вскоре умерла.

Но было ли это безжалостное обличение Лесбии ударом для Катуллы? Ему, несомненно, были знакомы все обстоятельства судебного процесса против его близкого друга и сама «Речь в защиту Целия», обернувшаяся катастрофой для его божества. Комментаторы до сих пор не могут сойтись во мнении, какое чувство он выразил в стихотворении, обращенном к Цицерону:

О Марк Туллий! О ты, речистый самый
Из праправнуков Ромула на свете
В настоящем, прошедшем и грядущем!
Благодарность тебе с поклоном низким
Шлет Катулл, наихудший из поэтов.
Столь же самый плохой из всех поэтов,
Сколь ты лучше всех прочих адвокатов!

Было ли это стихотворение нечаянным откликом уязвленного сердца на обдуманную и тонко выстроенную казнь возлюбленной? Или, может быть, оно вообще не имело никакого отношения к апрельскому процессу 56 года, а было всего лишь ироническим ответом, «вызванным нападками Цицерона на новое литературное течение, к которому примыкал Катулл», как трактуют некоторые комментаторы, не учитывая, впрочем, того обстоятельства, что Катулл уже примыкал к Небесам в то время, когда Цицерон сформулировал в «Гускуланских беседах», «Ораторе» и «Письмах к Аттику» свое неудовольствие поэзией «неотериков», то есть «новых стихотворцев», как он их называл. Но если речь здесь все же идет о Лесбии, то что содержат в себе эти строки — одно лишь злобное ерничество? Обиду? Или в них действительно выразилась горестная благо-

* со своим супругом и братом (лат.).

дарность Цицерону, к которому Катулл «мог хорошо относиться за его речь “За Целия” против изменницы Клодии», как толкуют другие комментаторы.

Ответ на эти вопросы можно найти лишь вместе с ответом на главный вопрос — кем была Лесбия для Катулла? В самом ли деле она когда-нибудь была его любовницей?

О да, конечно, он знал о ней многое! В том числе и все то, что говорилось на суде. Это о ней и ее брате — об их кровосмесительной связи — он писал, называя Публия Клодия Лесбием, с такой мстительной желчностью:

Лесбий красавец, нет слов! И Лесбию он привлекает
Больше, чем ты, о Катулл, даже со всею родней.
Пусть он, однако, продаст, красавец, Катулла с роднею,
Если найдет хоть троих поцеловать его в рот.

Это ее, Лесбию, он так жадно разыскивал по «разнузданным кабакам» и ходил ее там в родовитой «кабацкой своре» на коленях «паршивых кобелей», которые тешились с ней «все до одного», похваляясь своими ментулами, — Катулл же в припадке вдохновенного бешенства отвечал им буйными поношениями:

с чего бы это только лишь у вас члены?
и только вам дозволено всех мальшек
перепереть, козлами посчитав прочих?
Ужели, если сотня или две сселось,
неостроумных, вместе вас, — мне две сотни
не отмужичить в одиночку сидящих?
Нет, — лучше я и вдоль и поперек стены
кабацкие снаружи испишу бранью!

Это о ее поцелуях он писал с такой воспаленной страстью, мечтая, чтобы Лесбия подарила ему столько же, «сколько лежит песков сыпучих/ Под Киреную, сильфием поросшей./ От Юпитеровой святыни знойной/ До гробницы, где Батт схоронен древний». Это на смерть ее ручного воробушка он слагал пародийно величественные эпитафии, поражавшие потом своей нежностью Марциала. Для ее забавы бросал в огонь «“Лет” Волюзия сраные страницы». Во славу ее красоты глумился над признанными красавицами Рима, среди которых была и любовница Мамурры Амеана, не избежавшая его злобно-юродских приветствий:

Добрый день, долгоногая девчонка,
Колченогая, с хрипотою в глотке,
Большерукая, с глазом, как у жабы,
С деревенским, нескладным разговором,
Казнокрада формийского подружка!
И тебя-то расславили красивой?
И тебя с нашей Лесбией сравнили?
О, бессмысленный век и бестолковый!

В истории этой любви было все — и безмятежно-счастливое начало, и яростная ревность, и уличения в неверности, и жестокие размолвки, и проклятия, и клятвы, и слезы, и радостные примирения. Был и окончательный разрыв. Его соотносят с самым горестным стихотворением из посвященного Лесбии цикла, который беспорядочно рассеян по «Книге Катулла Веронского», произвольно составленной из 116 произведений поэта каким-то неизвестным его земляком во времена поздней античности. По этому — 11-му — стихотворению, в котором явственно проступает дата его написания, устанавливаются хронологические рамки любовного романа, завершившегося полной катастрофой:

Фурий, ты готов и Аврелий тоже
Провожать Катулла, хотя бы к Инду
Я ушел, где море бросает волны
На берег гулкий.
Иль в страну гиркан и арабов пышных,
К сакам и парфянам, стрелкам из лука,
Иль туда, где Нил семиустый мутью
Хляби пятнает.
Перейду ли Альп ледяные кручи,
Где поставил знак знаменитый Цезарь,

Галльский Рейн увижу иль дальних бриттов
 Страшное море —
 Все, что рок пошлет, пережить со мною
 Вы готовы. Что ж, передайте милой
 На прощанье слов от меня немного,
 Злых и последних.
 Со своими пусть кобелями дружит!
 По три сотни их обнимает сразу,
 Никого душой не любя, но печень
 Каждому руша.
 Только о моей пусть любви забудет!
 По ее вине иссушилось сердце,
 Как степной цветок, проходящим плугом
 Тронутый насмерть.

Стихотворение было написано не раньше 55 года до Р. Х., когда Цезарь с огромным войском совершил первый переход через Альпы. Именно это событие упомянуто в третьей строфе: «sive trans altas gradietur Alpes./ Caesaris visens monumenta magni».

Из этого следует, что «злые и последние слова» были сказаны поэтом уже после судебного процесса 56 года. Однако по общему убеждению исследователей Клодия уже не могла быть в это время любовницей Катутлла, ибо процесс круто изменил ее судьбу, если не поставил в ней финальную точку. Да и сам Катутлл, страдавший, как явствует из некоторых его стихов, чахоткой, был тогда на пороге смерти, последовавшей предположительно в 54 году до Р. Х.

Но когда в таком случае, в какой период его римской жизни возник, развился, прошел через множество темных и светлых стадий и завершился мрачным разрывом этот любовный роман, который вобрал в себя всю гамму переменчивых чувств любовников и выразился в стихах Катутлла, как признают филологи, с еще невиданной для античной поэзии полнотою?

Могла ли Клодия стать любовницей поэта в тот же год, когда он переехал из Вероны в Рим? По мнению одного из самых авторитетных исследователей древнеримской литературы Михаила Гаспарова, чьи комментарии и статья сопровождают академическое издание «Книги Катутлла Веронского», это маловероятно. «До 59 г. Клодия была замужем и заведомо вела себя более сдержанно», — отмечает он. К этому нужно добавить, что сенатор Метелл и римский закон, сурово каравший за супружескую неверность, должны были сдерживать не только Клодию, но и Катутлла — приезжего веронца, латинского гражданина, человека из свиты, которого всесильный патрон мог просто стереть с лица земли при малейшем намеке на любовную связь со своей супругой. Во всяком случае, при жизни Метелла Клодия едва ли могла стать той Клодией, которая дарила Катутллу неисчислимы поцелуи и которую пускали в кабаках по кругу «semittarii moechi» («закоулочные кобели»).

Но можно ли предположить, что Клодия потому и отравила мужа, что у нее завязались какие-то тайные отношения с Катутллом, которого она сделала своим любовником, освободившись от брачных уз? Предположение заслуживало бы внимания, если бы не было известно, что после кончины Метелла любовником Клодии стал Целий. Ради него она и в самом деле могла решиться на преступление. Богатый, чрезвычайно дерзкий, обворожительно красивый (даже один из его обвинителей, Атратин, называет его «красавчиком Ясоном»), Целий был потомственным римским всадником. Его карьера была на взлете. Как раз в это время он приобрел scandalную известность, ворвавшись в римскую политику благодаря громкому делу консула 63 года Гая Антония, которого он привлек к суду за вымогательство и выиграл этот процесс у самого Цицерона, своего учителя, выступавшего защитником. В Риме уже боялись не только остроумных и виртуозных речей Марка Целия, но и его свирепых выходок. Этот неукротимый splendidus* мог позволить себе все — ударить сенатора на выборах верховного понтифика, избить послов Александрии, в том числе и их главу, фи-

* блистательный (лат.) — эпитет, входивший в официальный титул римского всадника.

лософа Диона, затеять с неизвестной целью, — быть может, только ради куража, — мятеж в Неаполе, подкупить своих избирателей на выборах в квесторы. Словом, это был не созерцатель жизни, а ее безоглядный герой. Нет ничего удивительного, что своим героем его избрала и Клодия, жадная ко всем проявлениям жизни. Целий поселился с ней в одном доме на Палатинском холме, арендовав помещения у ее брата Публия, которому он платил за них очень щедро — по 10 000 сестерциев в месяц. Мы не будем утверждать, что Целий мог участвовать вместе с Клодией в отравлении ее мужа, доведившегося ей, между прочим, двоюродным братом (кровосмесьство было у нее в крови). Скажем только, что по какой-то причине Клодия страшилась именно яда, когда дело дошло до развязки ее романа с Целием. Развязка же, как нам известно, была и без яда драматической; по ней можно судить, какие сильные страсти бушевали в сердцах героев до тех пор, пока на форуме перед судьями не вырвалось наружу все, что их мучило и возбуждало, — коварство, подозрения, сожительство с братом, развальные Байи... Они были любовниками с 59 по 57 год.

Роман Катулла, столь же страстный и полнокровный, можно было бы поместить в тот промежуток времени, когда Целий и Клодия, разорвав отношения, готовились к судебному процессу. Однако доподлинно известно, что как раз в это время Катулла не было в Риме. В 57 году он уехал на Восток, в Вифинию, с претором Гаем Меммием, в свиту которого перешел после смерти Метелла. Он надеялся разбогатеть в этой поездке щедростью нового патрона, а заодно разыскать близ Трои могилу брата. Последнее, как мы знаем, ему удалось, первое нет. Разочарованный, он вернулся в Италию лишь в 56 году, и притом вернулся не в Рим, а в свою родную Верону. Не исключено, что в том же году он снова приехал в столицу. Но это уже — год процесса Целия. Круг замыкается. И, кажется, в этом круге нет места для знаменитой любовной истории Лесбии и Катулла. Хотя место исследователи ищут уже давно и старательно.

Гаспаров, например, признает, что стихи о Лесбии датируются по большей части 57—55 годами, когда она не могла быть любовницей поэта. «Стало быть, ее роман с Катуллом, — пишет он, — лишь краткая промежуточная или попутная интрижка довольно раннего времени, а стихи о ней Катулла (по крайней мере некоторые) — произведения очень поздние».

Этот не постижимый хронологический сдвиг побудил ученого выдвинуть гипотезу, которая тоже содержит в себе элемент не постижимости. «Обязаны ли мы представлять себе любовные стихи Катулла, — размышляет он, — мгновенными откликами на события его отношений с Лесбией? Нельзя ли представить, что многие из них были написаны позже, по воспоминаниям, ретроспективно?» Гаспаров при этом ссылается на феномен Афанасия Фета, который «лучшие свои стихи о молодой любви написал в старости, по воспоминаниям, ретроспективно». Даже ничего не зная о поздней любовной лирике Фета, можно легко согласиться с тем, что старик, у которого давно уже затянулись в душе мучительные и сладостные язвы «молодой любви» и который силой обострившейся памяти переносится в далекое прошлое, к «былому счастью и печали», — образ вполне реальный. Но вот молодой человек, который вскоре после крушения любовных чувств и надежд воспроизводит с невозмутимостью шарманщика не спетые в срок нежные песни сердца, предназначенные для той, что совсем недавно сердце ему и надорвала, заслужив его яростные проклятия, — образ почти фантастический. К тому же здесь подразумевается, что любовная история Катулла и Лесбии возникла в первые годы его жизни в Риме. Но помимо выказанных выше соображений есть одно очень важное свидетельство, которое делает эту версию сомнительной. Оно содержится в стихах самого Катулла — в его пространной элегии под номером 68, посвященной некоему Аллию. Из нее явствует, что в «раннее время» у Катулла была совсем другая любовь — «*candida diva*»*, как он ее называет. Она была женою Аллия, в доме которого Катулл поселился, переехав из Вероны в Рим. Поэт вспоминает об этой поре с восторгом. «Богиню»

* белокурая богиня (*лат.*).

они делили с Аллием на двоих, это была их «*communis amor*»*. Катулл был безмерно благодарен другу:

Аллий бывал для меня — верный помощник в беде.
 Поприще он широко мне открыл, недоступное прежде.
 Он предоставил мне дом и даровал госпожу,
 Чтобы мы вольно могли там общей любви предаваться.

Этот тройственный союз был столь самодостаточным и счастливым для всех участников, что Аллий спустя годы слал Катуллу в Верону письма, упрашивая его вернуться к их прежней совместной жизни. И речь он при этом вел не только о «дарах Венеры», но и о «дарах Муз», из чего следует, что, кроме телесных наслаждений, любовников связывали еще утонченные, не лишённые поэтического начала чувства. Не случайно Катулл посвятил этой любви одно из самых крупных своих произведений, над которым комментаторы до сих пор ломают голову, задаваясь самыми отчаянными вопросами, например: а могла ли «*candida diva*» быть Лесбией? Нет, не могла. Катулл, говоря об Аллии и той, с которой они в его доме «знали утехы любви», прямо называет ее — «*dominae*», что означает *госпожа; хозяйка дома; супруга*.

Лесбия была хозяйкой другого дома, и в этом доме Катуллу не светило любовное счастье. Да и не могло светить, хотя бы уже потому, что «реальная Клодия, — как выражается Гаспаров, — была знатной женщиной». Да, более чем знатной. Ученый, между прочим, изумляется тому факту, что при всей знатности Клодии, ставившей ее «гораздо выше безродного молодого веронца», в стихах Катулла «нигде, ни единожды не мелькает взгляд на Лесбию снизу вверх <...> Он говорит о ней как о равной или как о низшей». Это, конечно, тоже странно.

Что ж, в высшей степени странным должно выглядеть и то предположение, к которому нас неизбежно приводят все обстоятельства, сопровождающие эту любовную историю.

В трактате датского философа Сёрена Кьеркегора «Страх и трепет» есть глава под названием «Похвальная речь Аврааму». В ней говорится: «...Подобно тому как Господь сотворил мужчину и женщину, он создал героя, а с ним — поэта или писателя. Последний не может делать того, что первый, он способен лишь восхищаться героем, любить его, радоваться ему. Однако он так же счастлив, и не менее, чем тот, первый, ибо герой — это как бы его собственная лучшая сущность, в которую он влюблен; при этом он радуется, что это все же не он сам, и его любовь может поистине быть восхищением. Сам он — гений воспоминания, он не может ничего сделать, не восхитившись тем, что сделано; он ничего не считает своим, но он ревнует к тому, что ему доверено. Он следует выбору своего сердца, однако стоит ему найти искомое, как он снова начинает бродить возле всех ворот со своими песнями и речами, чтобы все могли восхищаться героем так же, как он, чтобы все могли гордиться героем, как он. Это и есть его достояние, его скромное достижение, в этом и состоит его верная служба в доме героя».

Разумеется, это метафорический текст. Но это и великий текст, ибо он одновременно возносится над реальностью и прочно схватывает ее, высвечивая в ней нечто самое сокровенное. «Герой» и «поэт» здесь — образы-символы, архетипы жизненного поведения, и в то же время — образы в чистом виде, без малейшей примеси символического значения. Герой и поэт как таковые, когда бы они ни жили и какие бы имена ни носили.

История римского всадника Целия, senatorской вдовы Клодии и веронского стихотворца Катулла, развернувшаяся в I веке до Р. Х., как никакая другая соотносится с той реальностью, которая спустя девятнадцать веков выразилась по воле Провидения и стараниями датского философа в «Похвальной речи Аврааму».

Да, Целий был героем этой истории. Катулл — поэтом, «бродившим» вокруг нее «со своими песнями и речами».

Это, конечно, кажется невероятным, что он воспел не свою любовь, а любовь героя. Но у Катулла есть много такого, чего нельзя объяснить, если не обращать внимания на одну поразительную особенность его поэзии, а именно — ее неистовую

* общая любовь (*лат.*).

театральность. Вот он поносит Цезаря. Поносит азартно, воодушевленно. При этом страшно раздражается, когда тот толкует ему о своих человеческих достоинствах, не понимая, что Катулла нет дела, каков Цезарь в реальности, за пределами его театра,— бел он там или черен,— у Катулла свой Цезарь, блудогадый, ничтожный и алчный. Но вдруг в какой-то момент Катулл награждает полководца без малейшей иронии в прощальном стихотворении к Лесбии возвышенным эпитетом *magnus* — *славный; благородный; великий*. Ему омерзительна Амеана, она вызывает у него брезгливое отвращение, потому что она любовница пакостного Мамурры и потому что там, в спектакле Катулла, на ней безобразная маска — огромный носище и глаза, как у жабы. Но вот, несмотря на все эти ужасы, он пользуется ее любовными услугами,— это именно у него она просила за ласки фантастические суммы:

Амеана, зашупанная всеми,
Десять тысяч сполна с меня взыскует —
Да, та самая, с неказистым носом,
Лихоимца формийского подружка.
Вы, родные, на ком об ней забота,—
И друзей, и врачей скорей зовите!
Впрямь девица больна. Но не гадайте,
Чем больна: родилась умалишенной.

Самые грязные, запредельно оскорбительные латинские ругательства он беспрепятственно обрушивает на неких Фурия и Аврелия: «*Pedicabo ego vos et imputabo, / Aureli pathice et cinaede Furi*». Он будто бы их люто ненавидит; они будто бы его враги; они отбивают у него возлюбленного мальчика Ювенция; и к тому же они тупые — ничего не смыслят в поэзии. Но вдруг выясняется — Аврелий и Фурий вовсе не враги, а как раз таки самые близкие его друзья, ибо именно их в 11-м стихотворении он называет «*comites Catulli*» — *окружение; спутники; свита* Катулла,— и им поручает передать бездушной изменнице последние «*non bona dicta*» («недобрые слова»).

В этом непредсказуемом театре, где торжествует двойственность, где сама реальность приобретает черты эксцентрического спектакля, все возможно и все вероятно. Здесь Цезарь играет Цезаря, здесь маски неотличимы от подлинных лиц, а лица — от ярких масок. И некая роль здесь может явиться на ум поэту, когда еще не найден ее исполнитель. Клодия еще не вошла в его стихи, когда в них уже возник псевдоним «Лесбия». Это произошло случайно. Катулл перевел с греческого оду Сапфо, обращенную к девушке, которую поэтесса страстно любила и ревновала к мужчине. Она не называла возлюбленную по имени. Катулл в эту оду, включенную в его книгу под номером 51 («Тот с богами, кажется мне, стал равен...»), внес множество произвольных изменений и дополнений. В том числе он ввел в нее и это обращение — «Лесбия»,— связанное исключительно с тем, что Сапфо была родом с острова Лесбос, где она жила в окружении чувственного сообщества лесбосских девушек.

Примечательно, что на протяжении какого-то времени Катулл, словно разыскивая героя и героиню, которых уже заждалась его нетерпеливая Муза, умоляет то одного, то другого приятеля поведать ему историю своей любви. Вот он обращается к Флавию, заметив по его изможденному лицу и по убранству его спальни, что он с головой погружен в бурный роман:

Расскажи мне про радость и про горе,
И тебя и любовь твою до неба
Я прославлю крылатыми стихами.

И с такой же горячностью старается развязать язык Камерию, сладостно погибающему в объятиях любовницы:

Если будешь молчать, зажавши губы,
Лучший ты из даров любви упустишь,—
Радует Венеру говорливость.
Впрочем, губ не разжимай, коль хочешь,
Лишь бы вашей любви я был участник.

Но еще более примечательно, что позднее, когда Катулл, уже следуя «выбору своего сердца», бесновато и без разбора поносил всех, кто пытался добиться или

добился любви от Лесбии, он ни единым словом не задел того, кого он должен был бы из ревности просто уничтожить «злыми ямбами», — Марка Целия.

К Целию обращено самое таинственное стихотворение цикла. Печально-возвышенное, короткое, оно преисполнено дружеских чувств:

Целий, Лесбия наша, Лесбия эта,
Эта Лесбия, что была Катутллу
И себя самого и всех милее,
В переулках теперь, на перекрестках
Величавого Рема внуков ловит.

Что означает здесь это — «наша» («nostra»)? Общая любовница? Или все же — твоя любовь, Целий, и моя героиня?

Да, конечно, в каком-то смысле она была их общей любовницей. Герой обладал ею, ощущая, что без поэта его обладание призрачно, «ибо поэт, — говорится в «Похвальной речи Аврааму», — это как бы лучшая сущность героя, и пусть она бессильна, подобно всякому воспоминанию, но она и разъясняет все, как это делает воспоминание». Поэт же, воспевая его возлюбленную, ставил себя на место героя — тоже своей «лучшей сущности». Ставил вовсе не потому, что сам он не мог любить. У поэта было великое множество всевозможных «попутных интрижек», замешанных на кабацком веселье и радостной похоти. Но что-то резко впечатляющее, театрално необычное видел он в этой любви Целия и Клодии, знаменитых на весь Рим. Чем-то могущественным и великолепным прельщал его образ героя. Что-то навсегда поразило его в образе героини — та притягательная для его поэзии двойственность, что напрочь исчезла апрельским днем на форуме в обдуманной речи Цицерона, над которой поэт саркастически усмехнулся, изумленный ее бесчувственной виртуозностью.

Катутлл любил эту любовь. Он любил ее ревниво и самозабвенно. И в этом был его беспримерный подвиг. Увековечив мимоходом своих мелких потаскушек, он в полную силу таланта, отмеренного ему Небесами, воспел великую шлюху Рима Клодию — любовь свирепого всадника Целия.

Он выполнил службу в доме героя.

ПОСЛЕДНЕЕ ОЗАРЕНИЕ ПУШКИНА

Добрый принц

Воля Рока начала осуществляться гораздо раньше, чем все ее сложные и разнообразные усилия сошлись в одной точке — в пуле, смертельно ранившей поэта.

Осенью 1833 года в Берлине «молодой человек живого и независимого характера», как пишет о нем биограф, двадцатилетний француз родом из Кольмара по имени Жорж Шарль Дантес получил рекомендательное письмо в Россию на имя директора Канцелярии военного министерства графа Владимира Адлерберга. Письмо было подписано принцем Вильгельмом Прусским, к которому Дантес явился по протекции своих германских родственников искать «счастья и чинов». На родине он уже не мог найти ни того, ни другого. Июльская революция во Франции 1830 года заставила Дантеса, приверженца законной династии Бурбонов, покинуть элитарную военную школу Сен-Сир, сулившую ему офицерский чин. Однако и принц Вильгельм не мог ему дать желанного чина, пообещав только унтера. Слишком мало Дантес проучился в военной школе — меньше года.

Но совет принц Вильгельм дал Дантесу охотно. Ехать в Россию! И этот совет вместе с рекомендательным письмом был одним из наиболее важных усилий той воли, которая тщательно строила свой трагический и хитросплетенный сюжет.

Воскрешение в гостинице

Точное направление — Россия, Петербург — было выбрано. Но на что мог рассчитывать Дантес, а вместе с ним и воля Рока, направлявшая его?

Едва ли граф Адлерберг предложил бы юному иностранцу нечто большее, чем принц Вильгельм. Положение Дантеса было плачевным. Отец — обедневший эльзасский барон с шестью детьми на руках — был в состоянии снабдить сына лишь суммой в двести франков ежемесячно, тогда как на офицерскую жизнь в пышном Петербурге требовалась тысяча. Русского языка Дантес совершенно не знал. Военными науками не владел в той мере, чтобы сдать экзамен в Военной академии и получить «офицерские патенты». При таких препятствиях не могло быть и речи, чтобы Дантес вошел туда, где он мог бы столкнуться на равных с семьей, с друзьями и врагами Пушкина, — в столичный высший свет. Письма было мало. Нужно было что-то еще. И это «что-то» незамедлительно является. Рок одним махом устраняет неодолимые препятствия, пуская в ход свое непобедимое оружие — фантастический случай!

Осенью 1833 года, когда Дантес, как бы чего-то дожидаясь, все еще скитается по Германии, в дело вводится новый персонаж — барон Луи Борхард де Геккерен. Он — нидерландский посол при русском дворе в Петербурге. Он одинок. Он благобно богат. Он принадлежит к одной из самых знатных голландских фамилий. У него надежные и обширные связи в вельможных кругах русской столицы. И он вдруг попадает — этак нечаянно проездом, возвращаясь из отпуска на службу в Петербург, — именно в тот «маленький захолустный» городок Германии, где находится Дантес. А очутившись в этом городке, посол останавливается именно в той «скромной гостинице», где в дешевом номере, уже не помышляя ни о чинах, ни о России, лежит на кровати одинокий француз «с грозным признаком смерти у изголовья». Француза сразила жестокая простуда. Соединившись с его безденежьем и беспомощностью, она уже развилась в тяжелое воспаление легких. Дантес тает на глазах. Он уже должен исчезнуть из жизни, а заодно и из истории, не достигнув заснеженной поляны под Петербургом, близ Черной речки...

Но вот хозяин гостиницы — тоже случайно, за ужином — рассказывает барону с сочувственными вздохами об умирающем постояльце. Барон скуки ради решает взглянуть на бедолагу. И эта нужная встреча, искусно и настойчиво сотворенная Рок, происходит.

Впрочем, какое дело королевскому посланнику до умирающего скитальца-француза! Ну, взглянул; ну, подал из милости на лекарства. И ушел. Но нет! Воля Рока предусмотрела всё. Ей, конечно, известно, что юный Дантес до крайности, до некоторой даже женственности, красив. И ей известно также — как известно это и всему петербургскому свету, — что барон Геккерен страстный гомосексуалист. Никаких случайностей случай не допускает. Сорокадвухлетний барон с первого же взгляда, охваченный и светлой нежностью, и темной похотью, отчаянно влюбляется в очаровательного юношу. Отложив свой отъезд из захолустного городка, посол самолично ухаживает за Дантесом, ставит его на ноги и, зная о его намерениях попытаться счастья на чужбине, предлагает ему ехать в Петербург с ним и под его покровительством.

Вот теперь всё слажено. Теперь — в Россию!

Ропот гвардии

В октябре 1833 года Дантеса и Геккерена доставил в Кронштадт пароход «Николай I». А вскоре, когда Геккерен, исполняя мечту своего возлюбленного об офицерском чине, пускает в ход высокие связи, в судьбе Дантеса принимает участие и человек — Николай I.

В январе 1834 года по повелению Николая Дантес был допущен к офицерским экзаменам. Три из них: по русской словесности, уставу и военному судопроизводству, — те, которые могли бы воспрепятствовать замыслам Рока, если бы Дантес явился в Россию без нежного и влиятельного покровителя, — Дантесу было разрешено не сдавать. Зимой 1834 года он стал офицером. Да еще каким офицером! Корнетом самого блистательного полка — Кавалергардского Ее Величества.

И вот теперь зловещая звезда уже восходила на петербургском горизонте, становясь различимой для Александра Сергеевича. Она, конечно, была еще ту-

склой, едва лишь приметной. Но Пушкин уже знал ее имя. «Барон Дантес и маркиз де-Пина, два шуана, будут приняты в гвардию офицерами. Гвардия ропщет», — записал он 26 января 1834 года в своем дневнике.

Сивилла Флорентийская

Между тем в жизни самого Пушкина еще до приезда Дантеса развивалась, устремляясь к единой финальной точке, намеченной Рокком, другая линия безжалостного сюжета.

18 февраля 1831 года после долгих и сложных перипетий сватовства состоялась свадьба Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой. Красота этой юной, девятнадцатилетней «богини» была такова, что даже признанные очаровательницы Петербурга не в состоянии были испытывать к Наталье Николаевне ни чувства зависти, ни чувства соперничества. Ее облик вызывал лишь полный и искренний восторг. О нем говорили, не жалея эпитетов: «небесный», «поэтический», «несравненный», — как о чем-то не принадлежащем земной суетной жизни и даже самой Наталье Николаевне. «Это — образ, перед которым можно оставаться часами, как перед совершеннейшим созданием Творца», — записала в дневнике внучка Кутузова, графиня Дарья Фикельмон.

Такой, наверное, и должна была быть жена поэта. Но жена не здешняя, не земная. Здешнюю и земную в ней разглядел поэт Василий Туманский, приятель Пушкина, посетивший новобрачных в Москве: «Пушкина — беленькая, чистенькая девочка, с правильными чертами лица и лукавыми глазами, как у любой гризетки». Все остальные — и приятели, и друзья — только восхищались. Но, восхищаясь, почему-то упорно отговаривали Пушкина от этого брака. Разумных причин тому выдвигали немало. Одни, самые близкие, такие, как князь Петр Вяземский, заботились о его холостяцкой свободе и преданности музам. Другие указывали на значительную разницу в годах и — неизмеримую — в жизненном опыте. Разница же в наружности («Смесь обезьяны с тигром» было лицейское прозвище Пушкина) смущала всех, не исключая и самого Александра Сергеевича. «Пушкин не любил стоять рядом со своей женой и шутя говаривал, что ему подле нее быть унизительно: так мал был он в сравнении с нею ростом», — вспоминал Вяземский.

И все же только пронизательная Дарья Фикельмон, прозванная Сивиллой Флорентийской за свою способность предугадывать будущее, с нечаянной внятностью высказала то, что, быть может, мучительно и безотчетно ощущали близкие друзья Пушкина, улавливая краем глаза в кутерьме житейских событий почерк Провидения. «Поэтическая красота госпожи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что-то воздушное и трогательное во всем ее облике — эта женщина не будет счастлива, я в том уверена! Она носит на челе печать страдания», — записала *Сивилла* в своем дневнике 12 ноября 1831 года.

Никаких страданий тогда еще не было. Напротив! Все складывалось блестяще.

После переезда Пушкиных из Москвы в Петербург Наталья Николаевна была с восхищением принята при дворе. Шаг за шагом, бал за балом она завоевывала северную столицу, обвораживая всех — от юнкера до царя, от провинциальной графинички до императрицы. Ее обожали, в нее влюблялись, ее боготворили, и это с каждым бальным сезоном все больше и больше развивало ее склонность к кокетству, льстило ее женскому тщеславию. «Ты, кажется, не путем искокетничалась <...> Ты радуешься, что за тобою, как за сучкою, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая тебе задницу; есть чему радоваться! Не только тебе, но и Прасковье Петровне легко за собою приучить бегать холостых шаромыжников; стоит разгласить, что-де я большая охотница», — писал ей Пушкин, любя ее, впрочем, с безграничным доверием.

К 1836 году в Петербурге уже не было дамы или девицы, которая могла бы сравниться с Натальей Николаевной по успехам в высшем свете и по количеству тайно страдающих поклонников.

Метаморфоза кавалергарда

Тем временем и звезда Дантеса, которого Рок, оберегая свой замысел, наделил невероятной, не знающей осечек везучестью, поднималась в зенит.

Мало того, что он был принят в гвардейский полк сразу же офицером, что было редчайшим случаем. Вскоре корнета Дантеса переводят из запасного эскадрона в действующий — это было почти невозможно без знания русского языка, которым Дантес так и не овладел. Но всё невозможное устраняется с его пути.

В январе 1836 года Жоржа Дантеса, несмотря на множество дисциплинарных взысканий, производят в поручики. Барон Геккерен привязывается к Жоржу все больше и больше, щедро снабжает его деньгами и знакомствами. Но посол Геккерен — лицо официальное. И поэтому страстному обожанию нужно придать законный характер.

Весной 1836 года происходит событие, которое зажигает звезду Дантеса еще ярче. И в этом событии, как и во многих других, сделавших Дантеса *Дантесом*, проглядывает нечто странное.

При живом отце, французском помещике, дворянине, который к тому же в одном из своих писем в Петербург говорит об «исключительной силе уз, связующих отца с сыном», голландский посланник решает усыновить поручика русской службы.

В ответ на запрос Геккерена об усыновлении Дантес-отец пишет: «В самом деле, наблюдая внимательно за ростом привязанности, которую мой ребенок внушил вам...» Вот тут бы Жозефу-Конраду и отказаться деликатно от этого обидного, если уж не загадочного, предложения... Но нет, «связующие узлы» послушно устраняются из отцовского сердца. И Жозеф-Конрад «спешит сообщить» Геккерену о другом отказе: «Я отказываюсь от всех моих отцовских прав на Жоржа Шарля Дантеса и в то же время разрешаю вам усыновить его в качестве вашего сына...»

На усыновление дают согласие — тоже без малейших замочков — голландский король и русский император. И в мае 1836 года Жорж Дантес, превратившись в Жоржа Геккерена, принимает титул, герб и наследные права на состояние нидерландского посланника.

С этого времени в Петербурге уже нет «модного человека», равного Дантесу, который и до своей сиятельной метаморфозы был, по свидетельству полковых друзей, «избалован постоянным успехом в дамском обществе». Щегольское остроумие, обворожительное лицо, высокий рост... «Красивый, можно даже сказать, блестяще красивый кавалергард», — говорит о нем князь Владимир Трубецкий. Как и юная Пушкина, Дантес шаг за шагом, раут за раутом покоряет гостиные и салоны вельможного Петербурга, где все от него в восторге. К 1836 году он дружески вхож во все те дома — Карамзиных, Вяземских, Хитрово, Виельгорских, Фикельмонов, Воронцовых, — где часто бывает чета Пушкиных.

Он вхож в круг жизни Пушкина. Линии рокового сюжета сплетаются.

Пляска смерти

Когда Пушкин на одном из светских раутов, куда он приехал вместе с женой и ее незамужними сестрами, Екатериной и Александрой, впервые увидел Дантеса, Дантес ему понравился.

Госпожу Пушкину Дантес, пользуясь выражением Геккерена, «отличил в свете» незамедлительно. «Отличила» его и она.

На упорные и открытые ухаживания Дантеса в зимний бальный сезон 1836 года Наталья Николаевна ответила таким приветливым поощрением, каким она еще не отвечала ни одному из своих поклонников. В свете недолго говорили об одной только «страстной любви» Дантеса и об одном только «легкомысленном кокетстве» Натальи Николаевны. Очень скоро произошло то, что высказал о своей жене и Дантесе сам Пушкин: «Il l'a troublé»*. Все гостиные и салоны Петербурга наполнились толками о *взаимности* чувств Дантеса и Пушкиной. Свет принялся следить

* «Он ее взволновал» (фр.)

за их романом с игривым наслаждением — во все лорнеты. Сплетни и слухи жестоко терзали Александра Сергеевича, защищавшегося от них только работой и верой в непогрешимость супруги. Но временами он с трудом мог совладать со своею пылкой, ревливой натурой. На званых вечерах при появлении Дантеса он то мрачнел, то нервно хохотал. А роковой сюжет тем временем неуклонно развивался.

В феврале 1836 года между Дантесом и Натальей Николаевной происходит объяснение в любви, о чем Дантес ликуя сообщает Геккерену, отлучившемуся в Гаагу. В письме к барону он приводит слова Пушкиной: «Я люблю вас, как никогда не любила, но не просите у меня никогда ничего большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит...»

Геккерен, вернувшись в Петербург, вдруг с необычайным рвением вмешивается в роман своего протеже для того, чтобы устроить ему как раз вот это — «все остальное».

Взявшись за роль сводни, он преследует Пушкину повсюду. Перехватывает ее то в одном, то в другом бальном зале и, наклоняясь к ее уху, жарко шепчет ей под звуки мазурки о необыкновенных страданиях «сына»; о его «тяжелой болезни», вызванной любовными муками; о его готовности расстаться с жизнью за один только краткий миг близости с нею. Она должна подарить ему этот миг ради спасения его юной жизни — Геккерен просит, закликает, умоляет. Зачем? Здесь сказывается вся хитрость отношений между гомосексуальным Геккереном и бисексуальным Дантесом. Геккерена уже давно раздражает это увлечение. Если же он поможет Дантесу добиться от Пушкиной «остального», то при умелой огласке, которую опытный дипломат, конечно же, обеспечит, Пушкина, покрытая позором, будет неизбежно отлучена от петербургского света, а значит, и от Дантеса, не важно кем — обманутым мужем или самим светом.

Но изощренные старания Геккерена не достигают цели. Что-то не складывается в роковом сюжете. Лишь бледные фантомы ангела смерти кружатся над поэтом — в течение 1836 года Пушкин трижды по разным причинам (литературным, условно-светским) вступает в дуэльные отношения: с генералом Репниным, с отставным гусаром Хлюстиным, с графом Соллогубом. Никто из них, свидетельствуют письма и мемуары, *стрелять в Пушкина*, если бы дело дошло до барьера, не собирался. Подлинный ангел смерти ждал нового поворота событий.

И поворот случился.

Его осуществление было возложено на побочную дочь графа Строганова Идалию Полетику, питавшую по каким-то мотивам (до конца неясным ни одному исследователю!) столь бешеную ненависть к поэту, что на старости лет, живя в Одессе, она помышляла плюнуть в установленный там ему памятник...

«Все остановить»

2 ноября 1836 года Идалия Полетика приглашает Наталью Николаевну на свою квартиру в Кавалергардских казармах — пообедать, поболтать... Пушкина едет.

Очутившись в безмолвной квартире, она проходит в комнату Идалии. Но вместо приятельницы ее ждет там Дантес. Выхватив пистолет, он падает на колени, приставляет дуло к виску и грозит застрелиться на ее глазах, если она сию же минуту не согласится на то, о чем ее умолял приемный «отец». Положение ее безвыходно. Дантес держит напряженный палец на курке. От страха и отчаяния она громко вскрикивает. И на ее крик в комнату вбегает горничная. Воспользовавшись ее появлением, Пушкина быстро покидает квартиру.

Так ли все было, как сообщают осведомленные мемуаристы, или иначе — не имеет значения. Это была западня! Свидание Дантеса и Пушкиной *наедине* в казарменной квартире (муж Идалии был кавалергардским ротмистром) состоялось. И сам этот факт давал барону Геккерену то, чего он желал.

Утром 4 ноября шесть адресатов — братья Россеты, граф Соллогуб, семья Вяземских, Карамзиных, Виельгорских и Хитрово, — получают по городской почте в двойном конверте (внутренний — на имя Пушкина) единообразный анонимный пасквиль — шутовской «диплом», в котором Пушкин назван новым

членом («коадьютором» и «историографом») «ордена рогоносцев». Точно такой же экземпляр получает в это утро и сам Александр Сергеевич.

Дело сделано! Барону Геккерену остается только ждать тех мер (удаление, деревня, что угодно!), которые будут приняты к Пушкиной.

Однако то, что произошло, бросило Геккерена в холодный пот.

4 ноября, после откровенного разговора с Натальей Николаевной, в котором она рассказала ему и о преследованиях Геккерена, и о подстроеном свидании, Пушкин посылает по почте на Невский проспект в особняк нидерландского посольства вызов на имя Жоржа Дантеса. 5 ноября письмо пришло. Но Дантеса дома не было, он дежурил в дивизионе. И письмо распечатал барон Геккерен... Дуэль! На это он никак не рассчитывал. Это скандал, это конец его карьеры... А его возлюбленный?! Даже при удачном исходе поединка Геккерен теряет его: Дантесу грозит в лучшем случае разжалование и ссылка, в худшем (по букве закона) — повешение! Голова барона идет кругом. Но в кружении страшных мыслей вдруг мелькает одна — спасительная. В письме Пушкина нет ни малейшего оскорбления, которое делало бы дуэль неизбежной, не указана и причина — один только вызов.

В тот же день, дождавшись Дантеса и запретив ему вмешиваться, барон сам едет к Пушкину. Он объявляет Александру Сергеевичу, что «сын» еще не знает о письме, но что он, барон, принимает вызов от его имени: Дантес будет драться. Однако Геккерен просит пощадить его «отцовское» сердце — дать 24 часа отсрочки! И Александр Сергеевич дает отсрочку. Она-то и нужна была нидерландскому посланнику, который хорошо знал, как дорожат здесь друзья этим «потомком одного африканского негра», как выразился он в своем письме в Голландию. Кто-нибудь из них обязательно явится, чтоб затушить пожар. И барон не ошибся.

На следующий день, 6 ноября, когда Геккерен снова приехал к Пушкину просить о новой, двухнедельной, отсрочке, он застал в его квартире на Мойке поэта Жуковского, которого Наталья Николаевна срочно вызвала из Царского Села, где тот постоянно жил, воспитывая цесаревича.

«...*всё остановить...*» — записал Жуковский 7 ноября в своих конспективных заметках.

В этот день он уже вступил в переговоры с Геккереном. И барон, пользуясь тем, что Жуковский был далек от светских интриг и слухов, предпринимает такой ход, которого не ожидал никто, включая и Дантеса.

Он объявляет Жуковскому, что Дантес на самом деле горячо влюблен в старшую сестру Пушкиной — Екатерину Гончарову. Мало того, «сын» мечтает на ней жениться! И барон готов дать согласие на этот брак, если, конечно, Пушкин возьмет назад свой вызов. Но сделать он это должен не на том основании, что Дантес намерен жениться на его свояченице, — женитьба в таком случае будет выглядеть трусливым спасением от поединка, — а просто так: возьмет назад, и всё!

Воодушевленный этим «*открытием*» Жуковский едет с Невского на Мойку, чтобы успокоить Александра Сергеевича и обрадовать Екатерину, засидевшуюся в девицах и, разумеется, безумно влюбленную, как и многие барышни, в «красивого кавалергарда».

Но на это сообщение Пушкин отвечает с таким бешенством, что Жуковскому ясно — «все остановить» невозможно. Теперь Александр Сергеевич еще более непреклонно желает драться. Мысль о женитьбе, ничем официально не подтвержденная, — это только подлая уловка: как только он возьмет вызов назад, женитьба будет отменена, объясняет он Жуковскому.

В последующую неделю Жуковский убеждается, что именно так и замыслил Геккерен. Во время новых переговоров, к которым уже привлечена и тетка Наталья Николаевна, фрейлина Екатерина Загряжская, барон упорно увиливает от официальных подтверждений.

Только 14 ноября, напуганный решительностью Пушкина, Геккерен в присутствии Загряжской и Жуковского вынужден объявить Александру Сергеевичу о намерениях Дантеса жениться на Екатерине Гончаровой. В ответ на это Пушкин вручает барону письменный отказ от вызова. Александр Сергеевич удовлетворен — низость Дантеса, вступающего в брак с нелюбимой женщиной

под угрозой дуэли, доказана: и Наталье Николаевне, и светским друзьям. Дело улаживается — «всё останавливается».

Но вдруг в эту жестокую игру мести и пыла Рок вводит свою козырную карту — Дантеса. До того момента, пока он не получил письмо от Пушкина, он никак не заявлял о себе, во всем подчиняясь барону. Но в письме Пушкин подчеркнуто объяснял свой отказ от вызова сватовством Дантеса, и всю унижительность для него такой постановки вопроса («жениться или драться») Дантес хорошо понимал. Обиженный, он решил действовать сам.

Утром 16 ноября он послал к Пушкину своего секунданта, секретаря французского посольства виконта д'Аршиака, с тем, чтобы виконт добился от Пушкина другой формулировки отказа — без упоминания женитьбы на m-lle Гончаровой. В противном случае Дантес — «к его услугам».

Приступ бешенства, вызванный у Александра Сергеевича этим визитом, не шел ни в какое сравнение с прежним. «Ступайте завтра к д'Аршиаку. Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь», — сказал он 16 ноября за обедом у Карамзиных своему секунданту графу Владимиру Соллогубу (тому самому, с которым несколько месяцев назад мог оказаться у барьера и который собирался выстрелить вверх, потому что «смотрел на Пушкина, как на бога»). Свои указания Александр Сергеевич произнес таким тоном, что Соллогуб онемел.

В отчаянии был и Жуковский: «Снова дуэль. Секундант».

К д'Аршиаку после бессонной ночи Соллогуб явился разбитый и подавленный. Его удивило, что тот тоже не спал. Еще больше его удивили слова д'Аршиака, сказавшего, что он «хотя не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских». Явственно мелькнула надежда. Секунданты взялись тщательно изучать дуэльные документы. Шаг за шагом завязались переговоры, переписка.

К концу ноября усилиями друзей, стараниями Соллогуба и самого д'Аршиака, принявшего без совета с Дантесом заново сформулированный отказ от вызова, где по-прежнему упоминалось сватовство Дантеса, «всё остановить» удалось.

10 января 1837 года состоялась свадьба Дантеса и Екатерины Гончаровой.

Отсутствие прямых оскорблений, вмешательство друзей, затяжные переговоры — все эти «ошибки» впоследствии были учтены волей Рока. Это была репетиция. В смертельной премьере события разыгрались с фантастической слаженностью и быстротой.

Путь к разгадке

В январе Петербург закружило балами. Они вспыхивали, зажигая окна вельможных домов, один за другим — у Строганова, у Вяземских, в Дворянском собрании, в саксонском посольстве, у Фикельмонов, у Воронцовых, у Мещерских...

И на всех этих балах, куда Александр Сергеевич сопровождал супругу, он вынужден был встречаться с новобрачной четой, — дома он не принимал ни Дантеса, ни Геккерена, заявив о невозможности отношений с этими «родственниками». А между тем следы ноябрьской бури уже улетучивались из ветреной головы Натальи Николаевны. Она снова взялась одаривать на балах Дантеса смущенными улыбками и кокетливыми взглядами, не обращая внимания на другие взгляды — ревнивые и угрюмые — своей сестры.

Женитьба Дантеса, поначалу всех ошеломившая и заставившая сомневаться в его благородстве и способности любить (госпожу Пушкину или кого бы то ни было), вдруг получает в свете иное толкование. Геккерен и Дантес всеми средствами — через полковых друзей Дантеса, светских дам, посольских чиновников — распространяют слух, будто Дантес только потому и женился на нелюбимой женщине, чтобы спасти любимую — от бесчестья и злой расправы ревнивого мужа. Для подтверждения этой версии Дантес на балах с еще более дерзкой открытостью, чем до женитьбы, ухаживает за Пушкиной — танцует только с ней; обволакивает «жаркими и долгими взглядами» только ее; беседует, каламбурит, шутит только на радость Натали. И общество охотно принимает романтическую версию. Александр Серге-

евич видит, как рушатся на глазах плоды его победы, добытой гордостью и мужеством. Удушливые сплетни, ядовитые ухмылки, жалящие лорнеты — всё возвращается, как неотступный кошмар. Клевета уже не отравляет, а сотрясает всю его кровь, доставляя на раутах зрителям увлекательное зрелище: «Снова начались кривляния ярости и поэтического гнева», — пишет Софья Карамзина.

Что свело эти «кривляния» в единый порыв навстречу роковой воле — приезд ли тригорских подруг Пушкина Евпраксии Вревской и Анны Вульф, которые рассказали ему, что и в провинции верят петербургским слухам, замечание ли царя, посоветовавшего Наталье Николаевне «быть как можно осторожней и беречь свою репутацию», или особенная развязность Дантеса на балу у княгини Мещерской 24 января, — исследователям точно не известно.

С 26 января 1837 года события понеслись вихрем.

Утром в этот день Александр Сергеевич отправляет барону Луи Геккерену письмо. Содержание его выходило «из пределов возможного», как выразился сам Геккерен. Это было полное уничтожение: «Вы, представитель коронованной особы, отечески сводничали вашему сыну <...> Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: верните мне моего сына». О самом же «сыне» в письме говорилось, что «он просто плут и подлец». Такие оскорбления надежно исключали любые переговоры, кроме формальных — «о материальной стороне дуэли».

Вечером того же дня секундант Геккеренов виконт д'Аршиак уже был у Александра Сергеевича с письменным вызовом от барона, из которого следовало, что драться будет — и за себя, и за «отца» — Дантес. Вызов был принят. Д'Аршиак объявил, что он ждет секунданта, чтобы условиться о месте и времени поединка.

Секундант Пушкину нужен был особенный. Никого из близких друзей, кто пустился бы «принимать меры», он уже не желал посвящать в дело. Теперь он должен был остаться один на один с волей Рока, с некой возвышающей силой — с «фаталитетом, который невозможно объяснить», как скажет потом князь Вяземский. Для Александра Сергеевича в этот день уже что-то объяснялось: слишком настойчиво врвался в его жизнь предначертанный сюжет. Все, кто видел Пушкина вечером 26 января на балу у графини Разумовской, где он втайне подыскивал себе секунданта, поражались его веселости, блистательности, легкости... Секунданта здесь он не нашел. Англичанин Артур Меджнис, к которому он обратился, вежливо отказал.

На следующий день, 27 января, Пушкин встал в 8 часов утра в еще более приподнятом и бодром расположении духа, чем накануне, «после чаю много писал — часу до 11-го. С 11 обед.— Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни», — записал потом в конспективных заметках со слов домашних Жуковский. Веселости Александру Сергеевичу придавало и то обстоятельство, что он вдруг вспомнил о своем старом лицейском товарище Константине Данзасе. Вот этот скромный и благородный служака, инженер-подполковник «самых честных правил», подходил в секунданты лучше всех! Пушкин послал за ним.

В 12 часов Данзас подъехал к дому на Мойке. Увидев его в окно, Александр Сергеевич сам выскочил к входным дверям, радостно встретил его, провел в кабинет и заперся с ним там, — вероятно, взял с него слово части не разглашать дела. Через несколько минут Данзас вышел из кабинета и отправился по указанию Пушкина в оружейный магазин Куракина за пистолетами.

Ровно в час дня из дома вышел и сам Александр Сергеевич. Он взял извозчика; в условленном месте подобрал в сани Данзаса, уже выкупившего оружие, и они поехали в Большую Миллионную во французское посольство к виконту д'Аршиаку. Здесь Пушкин представил виконту своего секунданта и, высказав твердое намерение стреляться сегодня же, уехал.

Он дожидался Данзаса в кондитерской Вольфа, пока тот составлял с виконтом условия поединка. К половине третьего все уже было оговорено и записано. Расстояние между барьерами — десять шагов. Права первого выстрела нет ни у кого. Противники по знаку сходятся — у каждого по пять шагов — и в любой момент, не переступая барьера, стреляют. Место — за Черной речкой возле Комendantской дачи, время — пятый час пополудни.

Около четырех часов Данзас приехал в кондитерскую Вольфа. Александр Сергеевич спокойно пил лимонад. Необыкновенно спокоен он был и в дороге. Когда переезжали в санях через Неву, спросил у Данзаса: «Не в крепость ли ты везешь меня?» Данзас ответил серьезно: «Нет, через крепость на Черную речку самая близкая дорога». Пушкин, конечно, шутил. Никто уже не мог «всё остановить». Воля Рока, открываясь ему, превращалась в его собственную волю, и теперь это уже была не зловещая и жестокая сила, а светлая и ясная — проясняющаяся — воля его судьбы.

На место прибыли в половине пятого. Ровно в то же время приехали Дантес и д'Аршиак. Отыскивали безветренную поляну среди кустов. Снега было очень много. Три человека — Данзас, д'Аршиак и Дантес — упорно трудились, вытаптывая барьерный коридор, тропинку. Пушкин в медвежьей шубе сидел на сугробе — «был столь же покоен, как и во все время пути», замечает Данзас. На вопрос секунданта, подходит ли выбранное место, отвечал: «Мне это совершенно безразлично, только постарайтесь сделать все возможно скорее».

Барьеры отметили шинелями Данзаса и д'Аршиака. Секунданты зарядили пистолеты. Поставили противников. Подали им оружие. Данзас снял шляпу, держал ее высоко над головой. Махнул. Пушкин быстро подошел к барьеру. Остановился и начал наводить пистолет. Дантес на ходу — за шаг от барьера — выстрелил... Пуля, завершая свой длительный и запутанный полет сквозь времена и события, наконец остановилась. Вошла в живот, перебила вену, скользнула по окружности тазовой кости и ударила в крестец, раздробив его на осколки... Ранение было не только «безусловно смертельным», как потом определили врачи, но и в высшей степени мучительным... Александр Сергеевич упал на шинель Данзаса и лежал неподвижно. К нему бросились секунданты. Двинулся в его сторону и Дантес. Но Пушкин тут же остановил его, сказав по-французски: «Подождите! у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел». Вернувшись на место, Дантес стал правым боком к барьеру. Согнутой рукой прикрыв грудь. Данзас подал Пушкину другой пистолет: дуло первого при падении забилось снегом. Александр Сергеевич приподнялся на левой руке. Точно и неподвижно нацелил пистолет в Дантеса. Выстрелил. Дантес упал. Пушкин отбросил пистолет. Воскликнул «Браво!», полагая, что Дантес убит.

Что-то было в этом знаменитом восклицании — последние отголоски зрелищной и мучительной суеты бытия, уже отлетавшей от Пушкина. В следующее мгновение он начал прозревать нечто необыкновенное — непричастность Дантеса к свершившемуся. «Странно! Я думал, что его смерть доставит мне удовольствие, но теперь я чувствую, что это почти огорчает меня», — произнес Пушкин.

Дантес не был убит. Пуля ниже локтя насквозь прострелила руку... Мысль об убийстве не должна была примешиваться к страшным физическим страданиям Пушкина в те двое суток перед кончиной, последовавшей 29 января 1837 года в 2.30 пополудни.

Высокая и светлая воля защитила его от нравственных мук — подставила под пулю, летевшую сквозь руку в печень Дантеса, серебряную пуговицу от подтяжек.

Через несколько месяцев, высланный из России, Дантес в Баден-Бадене, как пишет встретивший его там Андрей Карамзин, «с кавалергардскими ухватками предводительствовал мазуркой и котильоном».

Это была не его дуэль.

Она целиком принадлежала только судьбе Пушкина. Всех, кто видел его смерть, поражало выражение «божественного спокойствия» на его лице. Жуковский об этом выражении сказал более определенно: «Великая, радостно угаданная мысль».



Феликс МЫСЛИЦКИЙ

Два стихотворения

* * *

Бездомные тучи
И клин журавлей,
Унылость созвучий
Нестройных дождей.

Светило больное
Проглянет. Тоска.
Воскреснет бывшее,
Откроет века.

И, выдохнув, ветер
Даст звук тишине,
В пейзаже из ветел
И поля жить мне.

Читать отраженья
Болезненных вод,
Когда нет движенья
Земли и высот.

* * *

Над зыбкой стужей золотеющих озер
Синело небо в серебристых глыбах,
Съедая лист, дымился медленно костер,
Тропа была в ухабах, как в ушибах.

Не к поезду, что тихо ждал меня,
А к кладбищу я повернул несмело,
Туда звала меня умершая родня,
Что тополями прорасти успела.

Они умолкли вдруг, когда я подошел,
Стояли рядом горестно и свято...
А день все рос, день был багров и гол
И бил в глаза, взойдя над нашей хатой.

С тех пор исчезнувших в далеком далеке
Считаю я не мертвыми — живыми.
И вижу берег их и свет над ними,
Когда темно и больно мне в тоске.



Истоки современной политики

Агора как точка отсчета

Тот факт, что человеческое существование по природе своей публично, был тривиальным уже для Аристотеля. Но сам опыт средиземноморской античности отнюдь не был магистральным путем развития цивилизаций, его можно рассматривать как уникальный путь, уклонившийся далеко в сторону от типичных форм социальности. Данное обстоятельство, помимо всего прочего, определило агору как точку отсчета политики вообще.

«Эмпирическое для Бога есть метафизическое для человека» — эта мысль Мармардашвили в полной мере относится и к метаястории европейского человечества, где прецедент античности предстает как обоснование социальной философии, эталон, с которым сравниваются все «недоразвитые формы».

Целый ряд безоговорочно принимаемых тезисов основан на экстраполяции особенностей политического пространства агоры на политическое измерение как таковое. Например, уникальный факт *привлекательности* политического представительства, специфичный для агоры, воспринимается как нечто, исходящее из самой природы человека. Автоматически предполагается, что очередь желающих попасть во власть (самая длинная в мире) опоясывает планету наподобие змеи, кусающей свой хвост.

Данные всеобщей истории ни в коей мере не подтверждают универсальности этих постулатов, они просто указывают на первоисточник неожиданно свалившегося наследия. Панорама сопричастности к новому ряду символического обмена (полития) может быть описана как увлекательная самодостаточная игра, до сих пор непревзойденная ни в каких программах РС. Когда игра столь увлекательна и азартна, ее правила не обсуждаются, а берутся как данность: так, в политологии мы сталкиваемся с подробнейшими описаниями стратегий, с анализом трехходовок и многоходовок; в лучшем случае мы узнаем, *как* ходят фигуры, но никогда не узнаем, *зачем* они вообще ходят. Фактически фрагмент деятельности, опробованный в Древней Греции и именуемый с этого момента «политикой», был поставлен на хранение в реестр общечеловеческих институтов и вписан как необходимый прогон в траекторию социализации. В античном полисе все партии игры разыгрывались «вслух», в виде пожизненного представления, участником которого был каждый из свободных граждан. Существовал далеко идущий параллелизм между спортивными состязаниями (Олимпийскими и Истмийскими играми) и полисными играми, более массовыми и поэтому ориентированными на годичный, а не четырехлетний цикл. Обеспечение одновременно состязательности и массовости требовало привлечения как минимум двух процедур — голосования и жребия: политическая жизнь того или иного полиса характеризовалась преобладанием одной из этих процедур. Любопытно, что в современном мире циклы политических и спортивных состязаний поменялись местами: в то время как в спорте преобладают ежегодные чемпионаты, игры на агоре демократии тяготеют к олимпийско-истмийскому циклу (четыре-пять лет). Это обстоятельство имеет прямое отношение к сути дела: ведь к участию в политических состязаниях допускаются теперь лишь «профессионалы», а остальные свободные граждане пребывают в роли *теоросов*, то есть в буквальном смысле болельщиков, не участвующих в игре. Согласно Вольфгангу Гигериху, термин *theoros* первоначально применялся для обозначения зрителей на спортивных состязаниях и лишь затем стал означать беспристрастного наблюдателя, теоретика. Для самых массовых игр на агоре (для политики вслух) принцип невмешательства оставался чуждым вплоть до эпохи эллинизма. Аристотель как нечто само собой разумеющееся цитирует положение

законодательства Солона: «Кто во время смуты в государстве не станет с оружием в руках ни за тех, ни за других, тот предается бесчестью и лишается гражданских прав». (Аристотель. Афинская полития.)

Политика, бывшая в античности привилегированной зоной публичной репрезентации, подверглась вторичному свертыванию — в том же примерно смысле, в каком проговариваемое вслух интериоризуется впоследствии во внутреннюю речь, становясь собственной валютой мышления.

Кстати, античная Греция практически не знала «чтения про себя», его место занимало публичное декламрование, хотя бы даже перед воображаемой аудиторией (см., например «Федр» Платона). Еще Августин вызывал удивление окружающих умением читать «молча, даже не шевеля губами» («Исповедь»). Читать про себя и заниматься политикой «про себя» — и то, и другое было в равной мере непонятным для греческого полиса. Сейчас для публичного декламрования оставлены лишь отдельные площадки (например, театр), такие же площадки (парламенты, окна mass-media) оставлены и для публичной политики — *политики вслух*; прочие граждане остаются политиками «в себе и для себя».

Сейчас метафоры «политической арены» и «политической сцены» используются примерно на равных; во многом это объясняется формированием единого пространства бытия-в-признанности. Но по многим параметрам именно спорт выступает прообразом политических игр современной демократии. Театр с его катарсисом оказывается на втором плане: здесь актеры подыгрывают друг другу, и от этого зависит успех зрелища в целом. Интрига же спортивного поединка состоит в соперничестве, а главное — сходство механизмов делегирования, отчуждения суверенитета в пользу участников забега на дистанцию публичной признанности. Участникам политических игр зрители делегируют свою жажду публичности (включая «доверенность» на отстаивание экономических и некоторых других интересов); соревнующимся атлетам тоже делегируется нечто немаловажное — «триумфальный крик» в его социальной ипостаси. Так Конрад Лоренц назвал крик гуся-победителя, торжествующего над соперником или над ситуацией. Для белых гусей именно триумфальный крик сопровождается максимальным гормональным выбросом, превышающим уровень внутренней секреции при совокуплении.

Атлет, бегущий по кругу стадиона, несет в своем теле клавиатуру коллективной чувственности, скорость и красота его бега, победа или поражение вызывают гормональный дождь у присутствующей публики.

Если мы будем рассматривать общую типологию делегирования (или переноса, как говорит Фрейд), спорт и политика окажутся ближайшими соседями. Это касается и второй производной символического: спортивная статистика с ее таблицами, рекордами, рейтингами переключается с многоплановой политической статистикой. В последнее время в общем массиве паразитарной эрудиции спортивная статистика даже преобладает над политической.

Свернутые кольца публичной политики мы обнаруживаем в структуре подростковых игр. Сюда относятся придуманные страны с их воображаемой историей, картами, войнами, законами. Не счесть и позднейших реализованных проектов «придуманной страны» — от «Кондута» и «Швабрании» Льва Кассиля до «Властелина колец» Толкиена.

В свое время, рассматривая развитие сексуальности в онтогенезе, Фрейд выделял стадию «инфантильного аутоэротизма». По аналогии с этим соответствующий прогон гражданской инициации можно назвать *инфантильным аутополитизмом*: игры такого рода не всегда доигрываются до конца, но никогда не проходят бесследно. Специфическая привлекательность поприща современной политики, несомненно, связана с первичным полигоном, причем весьма многообразной связью. В спектре движущих сил, определяющих рекрутирование в публичную политику, остаточный инфантильный аутополитизм всегда усиливает резонанс пребывания в структурах власти. Правда, мы не можем определить точную меру ответственности феномена недоигранных игр.

Власть и публичность

Публичность есть публикация аффектов в сфере общепризнанности, перенос индивидуальной аффектации в коллективное тело социума. На уровне ближайшей знаковой метафоры речь идет о вселении в Левиафана. Обретаемая власть являет себя как задействование дополнительной машинерии, подключение к трансперсо-

нальному силовому приводу. Во многих языках «сила», «власть» и «энергия» суть этимологически тождественные понятия, зачастую обозначаемые одним словом (например, латинское «kratos» или английское «power»). Соответственно государство со времен Платона сопоставляется с большим организмом, причем «человекообразие» греческого Макрокосма является скорее исключением — чаще государство сравнивается с чудовищем, монстром, или с машиной (любимое сравнение Маркса). Перед нами неизменно возникает квазисубъект, обладающий некоторыми (далеко не лучшими) чертами истинного субъекта.

Оболочка государственности, даже ороговевшая, — это прежде всего огромный резонатор аффектов и усилитель точечных импульсов индивидуальной воли. Суверен надевает на себя доспехи государства — и машина (монстр) приходит в движение. Однако даже в этом случае поле публичности и поле власти сведены воедино с некоторым усилием; аффективный резонатор (политика как театр) и силовой привод смонтированы в одном приемно-передающем устройстве. Власть и публичная признанность связаны теснейшей корреляцией, и тем не менее связывание отнюдь не происходит автоматически, а предполагает длительную историческую процедуру.

Табу властителей

Так называется глава из работы «Тотем и табу», где Фрейд со свойственной ему проницательностью сопоставляет факты, каждый из которых в отдельности мог бы показаться случайным. Читая Тэйлора, Фрэзера, Бастиана и других известных этнографов начала века, Фрейд обращает внимание на сгущение запретов и инструкций, регулирующих отношение к властителям. Но для нас факты, обратившие на себя внимание Фрейда, важны в другом отношении — как свидетельства о предыстории политического поприща.

«В доисторических королевствах властелин живет только для своих подданных, его жизнь имеет цену только до тех пор, пока он выполняет свои обязанности, связанные с должностью, направляя течение явлений природы на благо своих подданных. Как только он перестает это делать или оказывается непригодным, заботливость, преданность и религиозное почитание, предметом которых он до того был в самой безграничной мере, превращаются в ненависть и презрение. Он с позором изгоняется и может быть доволен, если сохранил жизнь... Такой король живет, ограниченный системой церемоний и этикетов, запутанный в сеть обычаев и запретов, цель которых никоим образом не состоит в том, чтобы возвысить его достоинство, и еще менее в том, чтобы увеличить его благополучие, во всем сказывается единственно только намерение удержать его от таких шагов, которые могли бы нарушить гармонию природы и вместе с тем погубить его самого, его народ и всю вселенную. Эти предписания вмешиваются в каждый его поступок, уничтожают его свободу и делают жизнь, которую они будто бы должны охранять, тягостной и мучительной»*.

Мы видим, что ни о какой сладости пребывания на политическом поприще речь не идет. Напротив, публикация аффектов в жесткой редакции церемониальных действий показывает, что строгость распорядка публичного бытия явно превышает строгость тюремного распорядка. Японский микадо и негус Абиссинии выглядят узниками, заточенными в церемониал. Фрейд продолжает: «Священническо-королевское достоинство перестало быть чем-то желанным (на самом деле, как мы увидим, оно еще не обрело желанности.— А. С.); тот, кому оно предстояло, прибегал к всевозможным средствам, чтобы избавиться от него. Так, например, в Камбодже, где имеются король огня и король воды, часто приходится силой вынуждать наследников принять королевское достоинство... В некоторых частях Западной Африки после смерти короля составляется тайный совет, чтобы назначить преемника. Того, на кого падает выбор, хватают, связывают и содержат под стражей в доме фетишей до тех пор, пока он не соглашается принять корону. Иной раз предполагаемый наследник престола находит средства и пути, чтобы избавиться от предлагаемой ему чести; так, рассказывают про одного военачальника, что он день и ночь не расставался с оружием, чтобы силой оказать сопротивление всякой попытке посадить его на престол. У негров Сьерра Леоне сопротивление против принятия королевского достоинства так велико, что большинство племен было вынуждено избирать королей из чужеземцев».

Комментируя собранные факты, Фрейд приходит к одному из своих любимых тезисов об «амбивалентной направленности чувств». Между тем церемониальное за-

* Фрейд З. Тотем и табу. Труды разных лет. Т. 1, Тб., 1991, сс. 238—239.

силе, наблюдаемое нами на стадии табу властителей, допускает и другое, вполне правдоподобное объяснение.

Поляризация публичного

Отмечаемая самим же Фрейдом неоднородность распределения запретов и предписаний фактически означает, что рядовые соплеменники властителя несут куда меньшее бремя церемониальности — им дозволена степень безответственности, о которой «царь» не может даже и мечтать. Их неожиданное повседневное счастье обусловлено удаленностью от руководящего поприща, вследствие этого они избавлены от тотального подчинения предписаниям. Избавлены благодаря *переносу* — в данном случае благодаря взваливанию бремени на одну или несколько фигур.

Властители воистину играют роль атлантов, в то время как «подданные» свободно (хотя и с некоторой опаской) прогуливаются под небом, не позволяя делать то же своему царю. Вернемся опять к Фрэзеру: «...во всем этом сказывается единственно только намерение удержать его от таких шагов (какими вышагивают подданные.— А. С.), которые могли бы нарушить гармонию природы и вместе с тем погубить его самого, его народ и вселенную». Все происходит, как в популярной песенке: один из них качнется — и небо упадет... Ну а чтобы никто не качнулся, за властителями следят, пресекая малейшие отклонения от распорядка неба. В современных языках сохранились наслоения этого архаического этапа. Когда нынешний политик говорит о «тяжком бремени ответственности», все воспринимают это как должное, то есть как риторическую формулу, вроде заявления поп-звезды о том, как надоели ему (ей) поклонники. В нашу эпоху политика пропитана сладчайшим нектаром публичности, и, сколько бы ни ссылались представители власти на свою преисполненную трудностей планиду, их ссылки — простое кокетство. Действительное *бремя* власти, ее сугубая тяжесть и тягостность относятся именно к периоду табу властителей, к самоотверженным усилиям микадо, сидящего неподвижно час за часом и не меняющего выражения лица.

Период, предшествовавший сгущению церемониала в привилегированных точках, характеризовался равномерным распределениями публичности. Вообще равнозначность всех без исключения запретов означает полную аналогию архаического социокода с генетическим кодом организма. При этом всякий, нарушивший запрет, наносит примерно одинаковый ущерб социуму (и, разумеется, самому себе), нет и принципиальной разницы между совершением инцеста и нарушением очередности движений магического танца. Обособление смертных грехов от «просто грехов», равно как и образование центров табуирования, предстает как величайшая социальная новация. Тем самым сброс невыносимого напряжения повседневности обрел еще один, быть может, самый важный канал. Наряду с темпоральными разрядками (трансгрессиями Батая или «сатурналиями» Бахтина) появились персонифицированные центры сброса. Поначалу все они были функционально тождественны «козлам отпущения». В «Золотой ветви» Фрэзер с энтузиазмом описывает ежегодный обряд ублажения и умиротворения агнца: царственное животное украшается ленточками, венками и драгоценностями, пред ним падают ниц в священном трепете, а затем изгоняют в пустыню или подвергают всеожожению на жертвенном костре. Параллели этому обряду можно найти во всех регионах мира, и трудно не заметить далеко идущего сходства между архаическими царями и царственными животными для всеожожения.

Расходящая либеральная концепция о происхождении политической власти из отчуждения-делегирования «суверену» некоторых атрибутов присутствия индивидуума, вообще говоря, оказывается верной — если только внести ясность по поводу предмета делегирования. В первополагаемую точку публичной признанности (в которой сейчас крепится арматура власти) отчуждаются вовсе не «права» и не «полномочия» — сюда делегируются сама избыточная публичность, гиперупорядоченность поступков, каноническая редакция чувственных проявлений и телесных поз. Ближайшим результатом сброса является образование *поля приватности*, безопасного пространства, где можно перемещаться как вздумается, не задевая подпорок Вселенной. Многие застывшие идеологемы современности, такие, как «власть принадлежит народу», «выражает его, а не свои собственные интересы» и др., только в этой точке исходной поляризации являются очевидной истиной.

Кое-что дополнительно проясняется, если сопоставить первичное делегирование с психоаналитической процедурой *переноса*, когда пациент избавляется от необходимости самому нести бремя своей аутентичности, передоверяя психоаналитику символическое завершение собственной личности. Таким образом, по своей функции психоаналитик, равно как и первый публичный политик, есть тоже своего рода қозел, украшенный ленточками.

Синтез молекулы власти

Влезающий в доспехи государства обретает силу, сравнимую с мощью природных стихий. Источник силы пока еще остается не проясненным, и есть смысл вновь всмотреться в психоаналитическую процедуру. Совершая перенос, передоверяя ответственность за выбор самого себя, пациент производит акт трансцендирования: он начинает сопresentствовать в другом теле. Фрейд многократно подчеркивал, что между пациентом и аналитиком устанавливается прочная, притом эротически окрашенная связь. Нас, однако, интересуют иные аспекты этой связи: дистанцирование личностного центра от преднаходимой собственной телесности. Действительно, если я присутствую не только в изначально данном мне теле, но и в теле избранного другого, то новое инотелесное присутствие воспроизводит уже опробованный спектр чувств: любование, привычную заботу, страх перед возможным ущербом, наносимым новому телу извне.

Для описания феномена вполне подходит русское слово «привязанность» — ниточка и узелок сохраняются после совершенного делегирования подобно рапорту, соединяющему гипнотизера и сомнамбулу. Натяжение ниточек может означать совместное волнение, энтузиазм, триумф или отчаяние — в зависимости от того, что делегировано. Тогда первое поприще публичной политики можно представить себе как театр марионеток, где властитель — это кукла огромных размеров, совершающая подчеркнутые («деревянные») церемониальные движения, повинувшись множеству нитей с крючочками на концах. Эти «гарпунчики» были заброшены (делегированы) всеми прочими членами социума, которые теперь и связаны друг с другом косвенной связью через фигуру суверена-марионетки.

И теперь возникает главный вопрос: когда, каким образом и при каких обстоятельствах кукла становится кукловодом? По мере того как марионетка перехватывает управление, мучительность бытия-в-признанности эволюционирует в направлении публичности как сладчайшего.

История демонстрирует нам несколько способов синтеза молекулы власти, привлекательной для входящих в нее атомов-индивидов. Например, устойчивую пару образуют два персонажа, один из которых «приставлен» к резонатору аффектов, а другой, пребывая в тени царственной фигуры, контролирует силовой привод. Классический случай — пара микадо/сегун. Священная особа императора Японии является центром инотелесного резонанса для всех подданных. Факт переноса более чем очевиден, и со стороны микадо он выглядит скорее как перенос тяжестей. Носитель полномочий больше похож на носильщика, сгибающегося под тяжестью багажа взваленных на него ожиданий и надежд.

Военачальник сегун свободен от багажа, оставаясь на заднем плане, он выступает в роли главного кукловода. Можно было бы сказать, что сегун и есть реальный властитель, но устойчивость молекулы власти всецело определяется неразрывностью связи между входящими в ее состав «атомами». Непосредственный выход теневой фигуры на передний план быстро разрушает соразмерность целого, ибо в этом случае в социуме появляется чужеродное тело, не соединенное нервными окончаниями (клубком переносов) с основными «рабочими органами». Двухатомная молекула власти была широко распространена на определенном этапе человеческой истории. Помимо Японии, можно вспомнить Византию и священную Римскую империю, череду регентов, внухов и наместников. Надолго остались в памяти и персональные теневые фигуры, вроде кардинала Ришелье и канцлера Бирона. Менее устойчивой разновидностью двухатомной молекулы была связка, где на заднем плане размещалась примерно равноправная группа лиц (дворцовая камарилья, римская армия при последних цезарях и др.).

Смена полярностей от «мучительного» к «сладчайшему» могла оказаться также результатом «восстания марионетки», перехватывающей управление пучком заброшенных гарпунов иноприсутствия. Пока заметим, что одних только внутренних причин для успеха такого восстания недостаточно. Хотя и очевидно: для того, чтобы актеры сами рвались на политическую сцену, для того, чтобы их не приходилось выволакивать туда под страхом смерти, на сцене должны присутствовать занавес и кулисы.

Господин и слуга

Гегелевская концепция происхождения господина хорошо известна. Тот, кто готов рисковать своей жизнью, обретает право на господство, а тот, кто не решает-ся на смертельный риск, становится слугой (рабом). Сама по себе схема не вызывает возражений; беда, однако, в том, что Гегель начинает не сначала.

Даже постоянная угроза лишиться жизни, исходящая от господина, сама по себе не может сделать из раба подданного. Ведь источников страха великое множество: дикие звери, болезни, землетрясения, наводнения и т. п., однако они не создают трансперсональных центров воли, обуславливающих гравитацию власти. Подданный поддается тому, кто ходит в доспехах, выкованных из его ожиданий и надежд. И господину для осуществления господства требуются такие доспехи — другое дело, что он выбирает их по собственной мерке и имеет возможность снимать. Одной только игры бесстрашия и страха недостаточно для точки отсчета современного социума, разделенного на властвующих и подданных. И исторически и метафизически необходим момент встречи потенциального господина, свободного от следования инструкциям-табу, с социальным телом, уже имеющим царственного козла отпущения. Результатом этой встречи является сценическая революция: политические подмостки обретают занавес и кулисы.

Попробуем восстановить основные метаисторические этапы социогенеза и бытия-в-признанности и выявить в них истинное место отношения господина и раба. Такое рассмотрение по необходимости пока будет чисто спекулятивным.

1. Безраздельная власть слова. Социорегуляция осуществляется с помощью предписаний и запретов (табу). Первой, исходной элитой являются *специалисты по словам*: жрецы, брахманы, шаманы и т. д. Они выполняют функцию корректировки, устраняя искажения и инновации. Этот период в полной мере можно назвать *эпохой вещиго слова*.

2. Поляризация социума поначалу весьма облегчает труд специалистов по словам, ориентируя их усилия на программирование и контроль привилегированных точек. Но в пространстве теневой социальности появляются значительные лакуны, не охваченные ритуалом (приватность). В этих лакунах, в свою очередь, зарождаются новые обитатели, маргинальные фигуры, основной характеристикой которых является *невменяемость к вещиго слову*, то есть иммунитет к нарушениям табу и предписаний. Здесь приобретает драгоценный опыт неподчинения.

На этом участке метаисторического поля уже появляется фактор смертельного риска, конституирующий господина, — только бесстрашие и готовность поиграть со смертью первоначально относятся не к противоборству с другим атомарным индивидом, а к противоборству с традицией. Изначальное бесстрашие есть беспечность по отношению к последствиям нарушений табу, стало быть, выставление себя за рамки социального единства, преступление в исходном смысле слова, асоциальность.

Трансгрессия знаменует выход за пределы социального тела, преодоление гравитации причастности к целому, но исторически этот выход всегда оказывается выбросом — остракизмом, изгнанием, отшвыриванием инородных частей. Извергаемые из социума частицы, сливаясь в некое прерывистое излучение, образуют конфигурации с нулевой массой покоя. Номадические потоки всегда устремлены вперед, за пределы привычного.

Эта странная летучая общность уже не управляема специалистами по словам, хранителями и корректорами традиции, поэтому каждый из квантов излучения есть господин по природе своей. Но вступить в отношение власти, то есть найти себе «слугу», воин-номад может лишь тогда, когда излучение наталкивается на плотные слои встречной социальности. До этого времени частицы с нулевой массой покоя — это их Ницше называл «людьми прямой чувственности», *Uebersenschen*, — вступают лишь в «слабые» взаимодействия типа «хищник — жертва», хищник — хищник», «охотник — добыча»; всех их влечет жажда достойного соперника.

3. Таким образом стабильное социальное тело подвергается нашествию номадов, не признающих своим господином ни смерть, ни традицию. Если вторжение оказывается успешным и завоеватели выбивают с привилегированных площадок, из точек крепления социальной арматуры, находящихся там публичных представителей, козлов отпущения, — тогда мы и имеем дело с синтезом молекулы власти в ее современном понимании. Происходит первая и самая грандиозная в истории смена элит: брахманы сменяются кшатриями (жрецы уступают место воинам, специалисты по словам — специалистам по ярости).

Эта спекулятивная схема может быть подкреплена множеством примеров из истории, поскольку в категорию «природного господина» попадают и степные кочевники, и пираты-мореплаватели. Иностранность и иноязычность военной элиты по отношению к остальному социуму типичны для большинства ранних государственных образований. «Варяги на Руси» вписываются в общее правило, исключения из которого достаточно редки.

Ошибка Ницше состоит в том, что он начинает свое генеалогическое рассмотрение с военной аристократии, которая постепенно теряет власть, уступая хитрости аскетического священника (*ressentiment*). На деле специалист по словам просто отво-

свывает ранее утраченные позиции, и лишь наше столетие можно назвать столетием окончательного реванша.

Воины-номады оседают на господствующих высотах социальной инфраструктуры, оставляя за собой привычную им свободу маневра. Не будучи изначально связаны ни своей, ни тем более чужой традицией, они свободны от принудительного церемониала и в то же время подключены к источнику фимиама, к продолжающемуся и возобновляемому переносу присутствия.

Царственный козел окончательно принесен в жертву суверену, но атрибуты царственности у него изъяты. Новый властитель осуществляет выборочную публикацию действий-капризов, он становится *автором* своей публичной репрезентации (а не только исполнителем). Авторствование в политике возникает раньше, чем авторство в литературе. Целая пропасть разделяет японского микадо, не смеющего шелохнуться во избежание морских бурь, и властителя нового типа, Дария, который велит высечь море, посмевшее противиться протяженности его прихотливой воли. Эта пропасть шире и глубже, чем расстояние между Дарием и современным демократически избранным президентом. Презентация своей персоны через освещенное окно публичности может отличаться редким разнообразием стилей — от постушков Калугулы до более-менее точного соблюдения протокола. Главное в том, что окно имеет занавеску; это уже не панорама кругового обзора. Только поэтому больше уже не приходится искать себе царя с оружием в руках и постепенно теряется истинный смысл призывов, вроде «наивной» формулировки из русских летописей: придите к нам и правьте нами...

Эволюция политической инфраструктуры

Опыт последнего тысячелетия свидетельствует: власть сладка и желанна только тогда, когда открыт коридор между ритуальным пространством, куда устремлены все взоры, сведенные в единый взор, и территорий безнаказанной приватности. Оргии римских императоров, амурные похождения французских королей, кутежи Дантона, кокаиновые шабаши чекистов, дачные домики комсомольских работников и приватные развлечения ватиканской курии — всюду мы находим неизменную оппозицию скрытого и явленного, именно она придает власти сладчайший вкус. В некоторых случаях (например, нацистская Германия и Советский Союз) контраст оказывался более ярким, в других — приглушенным и расплывчатым, но только наличие двойного дна заставляет элиту оберегать рубежи власти до последнего. Здесь полисная демократия античной Греции в очередной раз предстает как вопиющий случай минимального контраста, как исключение на магистральном пути развития человечества.

Более того, проследивая дальнейшую эволюцию государственных и общественных институтов, мы можем обращать внимание на демократизацию, на технику и научно-технический прогресс, на культурные влияния и заимствования — важно только не забывать, что все эти новообразования крепятся к арматуре социальности, сложившейся в момент синтеза биполярной молекулы власти. Так, демократические перемены не оказали революционного влияния на устройство театра политических действий; изменения коснулись скорее «репертуара», а не принципов режиссуры. Скажем, в связи с расширением площадки публичной признанности произошло «распыление» переноса, одновременно с этим происходит и инфляция «номинала»: исключительные титулы суверена — «государь», «господин», «пан» и др. — присваиваются всеми остальными членами социума вплоть до появления сочетаний типа польского «пан мусорщик». Вслед за дроблением номинала заимствуются и эталоны привилегированного бытия (см.: Поршнева Б. Ф. Социальная психология и история. М., 1966). Но главная, позиционная привилегия, разумеется, остается. Притягательность агоры сохраняется и передается по наследству со времен свершившегося «ионизирующего облучения», переменывшего отношения марионеткам и кукловодам.

Между тем бытие-в-признанности, проявившееся на агоре как собственно политическая власть, послужило образцом для формирования и реформирования других сфер бытия-в-признанности. Возможность авторствования в избирательном диапазоне привела к тому, что стали возникать новые окна публичности, устроены аналогичным образом, с заранее объявленным временем «выхода в эфир». Поверженная элита хранителей и корректоров табу, специалистов по словам, получив хороший урок, потихоньку принялась отвоевывать утерянные позиции. Насколько ей это удалось, можно судить по положению актеров: от презираемого цеха лицедеев средневековья (китайского или европейского, в данном случае не важно) до современного состояния дел, когда принадлежность к гильдии лицедеев по своей привлекательности успешно конкурирует с принадлежностью к политической элите. Влия-

ние этих процессов на человеческую экзистенцию не уступает влиянию экономического измерения в целом.

Обратим внимание на экспансию художника, или автора в широком смысле слова, на этот наиболее удавшийся реваншистский поход, увенчавшийся овладением командными высотами бытия-в-признанности. В исходной точке синтеза молекулы власти мы обнаруживаем низвергнутых специалистов по словам, некогда всемогущих жрецов, шаманов и прочих хранителей традиции. Мы видим, что им приходится вести жестокую борьбу за существование с дальним прицелом: вновь вернуть себе местечко под солнцем. Аэды, рапсоды, акыны присутствуют на пиру наряду с прочими слугами или, может быть, чуть повыше их: они воспевают подвиги суверена и за это милостиво вознаграждаются — куском жареной баранины, кубком вина, одобрительным кивком. Художник гордится своей принадлежностью к свите господина; ничего другого ему и не остается: ведь его некогда могучее оружие, вещее слово, утратило свою действенность и обратилось в кимвал бряцающий.

И вот уже к середине XX столетия ситуация в корне изменилась. Художник — теперь властитель дум, он по праву сидит во главе стола на пиру, который устраивают в его честь подданные, очарованные заветной лирой и еще более очарованные очарованностью друг друга. Он сидит как победитель, ибо отвоевал право быть хранителем иноприсутствия другого, своего читателя и зрителя, — и этих подданных империи искусства становится все больше. Пока распорядители церемоний и властители кошечек превосходят художника по объему власти, но властитель дум, художник и автор в широком смысле слова, обладает властью более высокого качества. Он волен причинять точечное наслаждение, соприсутствуя в метаперсональном резонансе и дергая за ниточки, недоступные кукловоду-политику. Авторский произвол, допускаемый специалистом по словам, стал возможным именно из-за общей дискредитации «вещного слова». Если ударение, неправильно поставленное при чтении мантры, больше никому ничем не грозит, автор получает доступ к переписыванию инструкций в самом широком диапазоне — за исключением избранных сакральных текстов данной культуры. Впрочем, с началом Нового Времени исчезает и это исключение. Мы видим, как происходят расширение территорий, снабжаемых фирмам иноприсутствия, и активная колонизация вновь открывающихся участков бытия-в-признанности.

Современное поле бытия-в-признанности

Последовательно формируемые слои представленности Я в поле иноприсутствия разворачиваются в единое имманентное пространство, где возможно свободное перемещение для всякого, кто сумел сосредоточить на своей персоне ту или иную форму публичного внимания. Для удобства представления можно обратиться к простейшей схеме.

Арена Агора Сцена (Подиум) Текст

Я

Мои персональные другие

ДРУГИЕ

Отношение Я и Другого (Других) воплощает саму сущность персональности, этот факт является очевидным для всякой вдумчивой философии. Даже марксистское определение человека как «совокупности общественных отношений» есть не что иное, как указание на сферу отношений Я и Другого. Нас сейчас интересует феномен иноприсутствия, являющийся непременным проявлением человеческого бытия, единственно возможным способом быть человеком. Что же означает в этом смысле соседство с другими?

Пусть перед нами лежат (находятся) две вещи, обладающие отчетливо выраженной экземплярностью, — ну хотя бы два яблока. Они лежат рядом, но ни одно из них не перестанет быть яблоком, если мы уберем второе. Быть рядомположным другому (яблоку) есть внешнее обстоятельство для фрукта, равно как и для любого другого «законченного предмета». При этом одно из яблок лежит слева, и я называю его «расположенным слева»: таковым оно является лишь в силу наличия соседнего яблока, лежащего справа. И если левое яблоко убрать (например, съесть), то оставшееся утратит свойство быть расположенным справа. Но, конечно, не перестанет быть яблоком.

Если же убрать Другого, с которым соотносится человек, то утрачивается именно его «бытие человеком», хотя экземплярность физического тела остается. Для сохранения Я-присутствия как единственного способа «быть человеком» недостаточно только *этого* тела, нужны еще и другие тела, обладающие некоторыми значениями, в принципе похожими на значения «быть справа» и «быть слева», хотя и неизмеримо более сложными, как любят выражаться риторы от философии.

Я есть мигрирующая структура, пробегающая по множеству рядов присутствия. В шуточном определении «сын моего отца, но мне не брат» содержится гораздо больше истины, чем в элементарном телесном самоощущении, а присутствие в речи личного местоимения оказывает на Я (на меня) большее влияние, чем наличие или отсутствие в этом доставшемся мне теле здоровья.

Экзистенциальный перекресток, на котором возникает бытие от первого лица (Dasein), требует схождения множества дорог, притом взаимно трансцендентных друг другу. Не будем вдаваться в подробности. Сейчас достаточно отметить, что «другие тела», расположенные слева или справа, несут в себе правоту или неправоту по отношению ко мне; но если они исчезнут — а вместе с ними и их правота и неправота, — то не останется и указателей для моего самоопределения как Я, как человека.

Однако этого мало. Необходимая глубина мерности должна быть еще и упакована в иллюзию простоты; синтез взаимно трансцендентных измерений должен быть доведен до уровня очевидной достоверности бытия здесь и сейчас, до уровня своеобразной, вполне отчетливой психической экземплярности.

Законченность синтеза (вернее, цепочки синтезов) может быть зафиксирована не раньше, чем возникнет конструктивная иллюзия: мы с тобой как два яблока — что тебе в имени моем, что мне в твоей правоте и неправоте? Вот почему утверждение «я — это другой» воспринимается с явным или хорошо скрытым недоверием, хотя по своей логической форме оно ничем не отличается от утверждения «Сократ — это человек». Достоверность Я-присутствия требует одновременной истинности противоположного утверждения: я — это не другой, я сам себе фрукт, и вы меня все равно не раскусите... Таков основополагающий тезис «внутренней философии» вообще.

Хотя реальность субъекта невозможна без ощущения непрозрачности своего внутреннего мира для других, тем не менее Я невозможно и без подтверждения своего соприсутствия в других телах (без делегирования или переноса), а экспансия такого соприсутствия напрямую определяет горизонт сладчайшего — будь-то в политическом теле государства, в окнах mass-media или на кратчайшей дистанции, в помыслах близких и любящих (моих персональных других). Яблоко ничем существенным не отличалось бы от меня, если бы, оставаясь «собственным фруктом», могло мечтать о соприсутствии в яблочных шампунях (в качестве аромата), в рифмах поэтов и на полотнах живописцев.

Двойная превратность, конституирующая бытие субъекта, прочитывается и на приведенной схеме. Другие, как случайно встреченные тела, являются для меня теми же яблоками, носителями определенных полезностей. Для отношений типа продавец — покупатель, водитель — пассажир и т. п. не требуется никакого переноса. Особое место занимают «мои персональные другие», образующие микрокосм первичной персонологии. Нехватка признанности со стороны этого малого круга уже противоречит способу человеческого бытия, и среди устремлений субъекта первоначально важным является стремление «найти кого-то». Как поется в популярной песенке:

Весь мир готов я обойти,
Чтобы найти кого-то.

Найти хотя бы кого-то, своего «персонального другого», — это первый шаг к тому, чтобы найти (обрести) себя. Но для нас сейчас важно иное.

Я спокойно и равнодушно прохожу мимо других лишь потому, что, во-первых, уже «признан» внутри малого круга, а во-вторых, уже соединен с другими совместным иноприсутствием — но не в первых встречных телах, ходящих по улицам, а в *привилегированных телах*, обитающих «надо мной», в верхней части схемы. В современной ситуации Олимп коллективного иноприсутствия разделен на четыре условные вершины — Агору, Арину, Сцену (Подий) и Текст. Обитатели этих заповедных территорий функционально во всем тождественны олимпийским богам.

Политик, находящийся на агоре (уже пробившийся туда), выражает — хорошо или плохо — мои экономические, сословные и другие вполне конкретные интересы. Но это момент второстепенный по сравнению с фактом прямой идентификации, по сравнению с передоверенной ему частицей моего Я. Как уже отмечалось, пребыва-

ние субъекта в политическом измерении, его проекция на агору, включает в себя и инфантильные политические игры, и чтение газет (вообще интерес к рубрике «новостей»), и весь спектр великодержавных чувств, которые Даниил Андреев называет *гаввахом*. Согласно «Розе мира» Д. Андреева, гаввах поглощается уицраором — хтоническим чудовищем, подземным гарантом государственности. Вкушая эту разновидность фимиама, чудовище тучнеет и начинает активнее шевелить своими чело-векоорудиями — царями, императорами, полководцами и прочими преемниками гав-ваха.

Таким же коллектором совместного иноприсутствия предстает и атлет, состязающийся на арене. Его усилия и в особенности его победа резонируют в моем внутреннем мире как усилитель моей собственной правоты. А идентификация зрителя с актером определяет топологию сцены в пространстве культуры.

Все первые встречные тесно связаны друг с другом, но не напрямую, а посредством трансцендирования, совместной проекции волеизъявления (и страстеизъявления) в общую точку: как яблоки с разных веток связаны друг с другом посредством яблони. В силу конструктивной иллюзии субъекты «ясно и отчетливо» ощущают себя атомарными индивидами, но невидимая яблоня социума материализуется подобно молнии в моменты кульминации переноса: когда стадион в едином порыве приветствует гол своей команды или когда император принимает парад своих легионов. В такие моменты выбросы гавваха (или как их там назвать) больше похоже на взрывы. Исследователи психологии масс и феномена толпы от Тарда и Лебона до Элиаса Канетти пытались объяснить, каждый по-своему, эти моменты внезапной визуализации социального тела, но феномен оставался необъяснимым, ибо, как только квази-субъект исчезал из поля непосредственной видимости (ощутимости), он исчезал и из поля зрения теоретиков. Между тем единство социума и за пределами разовых кульминаций поддерживается теми же самыми силами, заброшенными «вверх», к социальной вершине якорями иноприсутствия: вторичные валентности, хорошо различимые социологами и политологами, являются следствием уже состоявшегося синтеза молекулы власти.

Можно говорить о невидимом трубопроводе по перекачке фимиама. Разветвленная сеть трубопровода «подогревает» все четыре площадки привилегированного бытия-в-признанности, а обитатели Олимпа и прорывающиеся туда завоеватели ведут упорную борьбу за перераспределение фимиама — примерно так же, как и боги античности. А «простые смертные», размещая свои многообразные чаяния не только в своих телах, но и в телах небожителей, взыскуют воссоединения с собственным экзистенциальным авангардом, со своим проектом в высоких горизонтах. Тем самым и создается тяга, сверхмощный drive, неудержимо влекущий в политику, на подиум, взывающий к авторствованию. Ибо лишь в границах заветных территорий возможно приумножение и тиражирование своего Я-присутствия, публикация личных обстоятельств в анонимном потоке, состоящем из *каждого другого*.

Чрезвычайно любопытна в этом отношении фигура автора-художника, предводителя будущей элиты, уже сейчас потребляющего фимиам самой высокой пробы. Художник с наслаждением позирует в тексте, напоминая Портаоса, охотно демонстрирующего роскошную перевязь в полной уверенности, что никто не заглянет под плащ, где концы с концами не сходятся и вместо золотого шитья с бисером подвязана простая, неприглядная веревочка. Художник соучаствует в сокровенных помыслах другого с наибольшей яркостью персонального отпечатка. Не удовлетворяясь ролью Зевса, он с ревностью Иеговы стремится перекрыть *своим персональным другим* прямую проекцию на экран иноприсутствия, стремится опосредовать их перенос в поле публичной признанности собственной персоной. Такой уровень притязаний недоступен политике. Одним из ярких примеров сокровенной утопии Большого Художника может служить نابокковская «Лолита». Гумберт Гумберт претендует на роль единственной причины наслаждения для Лолиты. Исполняя ее прихоти, проявляя редкую изобретательность в деле заботы, он тешит себя сладостной мыслью, что держит в руках всю вселенную любимой, весь пучок ее иноприсутствий. Тем большей трагедией оборачивается для героя тот факт, что Лолита бросает его без всяких терзаний... Такое чувство могла бы испытать древняя Япония, если бы микадо, презрев свой священный сан живого бога (царственного козла), сбежал бы в напарники к бродячему жонглеру.

Контуры грядущей аго рафобии

Последнее столетие отмечено тенденцией к постепенному размыванию границ между территориями публичной признанности. Мы не задумываясь говорим о «политической сцене» и «политической арене», о «художественной политике» или о вы-

разительной и артистичной манере футболиста — и правильно делаем. Ибо различия в характере деятельности политиков, спортсменов, фотомоделей и рок-певцов, как бы велики они ни были, объединяются общей ролью коллекторов для делегированных присутствий-полномочий. Так и греческие боги, покровительствуя разным ремеслам, жили на общем Олимпе, куда и восходил дым от жертвенных костров, приятно щекотавший ноздри.

Актер может легко переместиться в политику, самые банальные и убогие изречения какого-нибудь чемпиона по теннису будут с жадностью выслушаны. Остается в силе язвительный анализ фельетонной эпохи, предпринятый Германом Гессе, — когда великого физика спрашивают о его любимом сорте макарон, а знаменитого поэта — о его отношении, например, к клонированию. Только теперь «физик» уже не испытывает неловкости, а писатель начинает рассказывать о клонировании сам, не дожидаясь, когда его спросят.

Обладатели статуса VIP свободно перемещаются по всему пространству mass media, при этом на второй план отходит причина попадания в фокус внимания: если уж удалось «засветиться» по какому-либо поводу, сразу все пространство бытия-в-признанности открывает свои горизонты. Такому положению дел способствует набор клише, предлагаемый для «авторской» редакции аффектов, персональных обстоятельств и «умных мыслей». Поп-идол может, конечно, продемонстрировать с экрана телевизора своего попуая, а хозяин Белого дома рассказать о повадках своего любимого котика — в этом смысле мечта Калигулы исполнилась, и нынешние «сенаторы» уже считают за честь близкое знакомство с домашним животным народного кумира. Но произвол в демонстрации определенных, любимых фрагментов переязы вторично ограничен параметрами mass-media: даже самый знаменитый физик, рискнувший предъявить публике не скрипку, а длинный расчет формул, был бы вскоре отключен от эфира телеведущим, выступающим в роли контролера переносов, — он и другие цензоры (журналисты) следят за тем, чтобы ничто не нарушало мир и покой подданных mass media.

Современное положение вещей наталкивает на мысль, что пик сладости политической власти уже пройден. Наше исследование отправлялось от той точки, когда произошла поляризация церемониальности, позволившая значительной части социума выскользнуть из-под тотальной власти табу. Тогда первые царственные особы и образовали первый в истории класс обездоленных. Напрочь лишенные приватности «трагосы» несли свою суровую трагическую лямку, пока на священную агору не ворвались носители ярости, не желающие следовать букве сценария и вообще не привыкшие следовать букве. Они и преобразовали церемониальное в политическое, добившись радикального перераспределения приватного. Успешно осуществленный перенос субъективности за пределы собственного тела стал основой для последующих расширений субъекта.

Сформировавшаяся на сегодняшний день карта иноприсутствия включает в себя гораздо более комфортные зоны, чем агора. Агора послужила строительными лесами для возведения всего здания бытия-в-признанности, теперь наступает время демонтажа строительной площадки. С одной стороны, прожекторы mass-media норовят высветить отвоеванные уголки приватности (случай Клинтон и Моника Левински можно рассматривать как симптом грядущей агорафобии), с другой — ужесточение рутинного протокола постепенно загоняет политика в нишу, занимаемую телевизионным диктором (даже не телеведущим). В этом смысле интегральным показателем демократии является инструментализация политического поприща, девальвация агоры как привилегированной сферы переноса. Подданные империи Голливуд теснее связаны со своим метаперсональным телом, чем подданные современной демократической республики.

Экспансия Я-присутствия как более точная расшифровка воли к власти на глазах меняет свой вектор: возможности авторской политики, вторично ограниченные ужесточившейся редактурой современности, перекрываются расширяющимися возможностями текста. Именно на подступах к тексту (в самом широком смысле слова) сейчас конденсируется величайшая движущая сила следующего столетия — сила макиавельского авторствования.



В этом году исполнилось 60 лет со дня начала блокады Ленинграда. Публикуя отрывок из автобиографического романа «Ах, эти черные глаза...», мы хотим еще раз напомнить, как это было...

Б л о к а д а

Восьмого сентября 1941 года кольцо блокады сомкнулось вокруг Ленинграда. Жители оказались в западне. Но о сдаче города на поругание немцам никто не хотел думать. Каждый на своем посту вносил собственную лепту в оборону. Работники музеев прятали в секретные хранилища ценности, музыканты давали концерты бойцам, взрослые и дети дежурили на крышах, предупреждая о налетах немецкой авиации, а иногда сами гасили зажигательные бомбы. Многие женщины работали на военных заводах, часто без сна, в несколько смен. И лишь ближе к зиме, когда на городских улицах появились первые жертвы голода, энтузиазм у людей поубавился. Но все равно никто не мог себе представить, что город сдадут немцам. «Умрем, но не сдадимся!» — было девизом всех.

Когда обстрелы и бомбежки стали непрерывными, мама перестала выпускать Марину во двор. Теперь с подружками та виделась только в бомбоубежище. Играть детям уже не хотелось, и они тихо сидели, прижавшись к своим матерям.

Зима 1941—1942 годов была необычайно сурова. Старожилы города не могли припомнить таких лютых морозов. Вызывало удивление, как немцам, не привыкшим к северным холодам, удавалось удерживать свои позиции вокруг вымирающего города.

Однажды вечером младшая сестра Маринино отца Дора пришла домой и тихонько сказала маме, что умерла Ляля. Ляля была самой любимой подружкой Марины. Они вместе ходили в детский сад, потом в школе сидели за одной партой и были неразлучны. Услышав о Лялиной смерти, Марина похолодела. Она вдруг по-взрослому поняла, что в любой момент это может случиться и с ее мамой, и с другими близкими, и с ней самой. Ее охватил ужас. Ночами, не в состоянии уснуть от холода и голода, она молилась своему собственному богу, чтобы скорее кончилась война, чтобы папа вернулся домой и они все вместе опять поехали к бабушке в Киев.

Январь и февраль были самыми страшными месяцами. Ленинградцы умирали от голода и холода в нетопленных квартирах.

Укутавшись в одеяло, Марина целыми днями сидела у окна и считала, сколько покойников провезут мимо их дома. На вопрос мамы, почему она это делает, девочка ответила:

— Для истории!

Не имея понятия о существовании статистики, она хотела «оставить миру» сведения о количестве умерших в блокадном городе. Для этого даже разработала систему подсчета. Если она выживет, то потом узнает, сколько домов в то время было в Ленинграде. Затем число домов помножит на количество покойников, провезенных мимо их окон за один день, и получит результат, который на самом деле, пожалуй, окажется более верным, чем цифры, названные после войны. Правда, ее подсчеты тоже сильно грешили неточностями, так как смерт-

ность в городе росла отнюдь не равномерно. Жившие близко от Невы, Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова могли пешком добраться до проруби и притащить домой хоть немного воды. Те же, кто жил далеко от водоемов, умирали не только от голода и холода, но и от жажды. Однако к занятию «статистикой» Марина вскоре охладела. Как-то раз она наблюдала, как мужчина тащил за собой на куске фанеры труп, завернутый в простыню. И вдруг, сделав какое-то неестественное сальто, упал на спину и больше не двигался. Лицо его было как восковая маска. Лишь огромные глаза смотрели в небо.

Этого Марина не могла выдержать. Все, что угодно,— только не мертвое лицо! Возможно, в лице покойника она увидела отражение необъяснимого, глубинного, безысходного ужаса, ужаса перед неразрешимой загадкой смерти.

Все домочадцы изменились до неузнаваемости. Бабушка, страдавшая болезнью сердца, до войны была очень полная. Теперь, на кровати, где она раньше не могла уместиться, как бы сам по себе лежал скелет, а кожа с него свисала, словно огромная рубашка с чужого плеча. Бабушка уже не в состоянии была подниматься с постели, целыми днями находясь в забытии. Мама тоже еле передвигалась. Довольно сносно держалась Дора, получавшая дополнительный паек за работу по уборке трупов с городских улиц. Дедушка, к удивлению всех, выглядел молодцом.

Как-то утром он снял со столика выдавший виды старенький патефон и потащил его куда-то. Часа через два он вернулся без патефона, но зато в руках с торжествующим видом держал маленький кусочек мяса.

— Это я выменял на базаре на наш патефон,— гордо сказал он.

«Ничего себе,— подумала Марина,— кто-то еще заводит патефоны».

Кусками дерева от письменного стола мама растопила буржуйку. Пока варился суп, комната наполнилась давно забытым запахом. Правда, всем досталось только по блюдечку бульона и по крошечному кусочку мяса, однако даже это было большим событием. После того как с «праздничным обедом» было покончено, дедушка признался:

— Сегодня мы ели конину...

Марине стало плохо. Она представила себе бегущую лошадь с всадником и сказала, что если дедушка опять принесет конину, то она лучше умрет, но не тронется до нее.

Спускаясь в бомбоубежище, Марина все меньше и меньше встречала там своих друзей. Постепенно мамы их тоже перестали появляться. Марина боялась спрашивать у взрослых, где все дети. Она знала, каким будет ответ. Вот только дочь их соседей по коммуналке Тененбаумов Рика с сыном Мишенькой неизменно были там. Муж Рики часто навещал жену и сына. Он приносил для них продукты, и они не голодали. С родителями своими Рика не делилась, и Тененбаумы часто жаловались соседям на дочь. Однажды Клара Давидовна со слезами на глазах рассказала, как отец попросил Рiku положить к его ногам горячую грелку, на что та ответила: «Еще чего захотел! Буду я портить вещь о твои грязные ноги». Но Мишеньку она раскормила до безобразия, и рядом с другими дистрофиками выглядел он просто неприлично.

В один из февральских дней приехал муж Рики и заявил, что хочет переправить ее с ребенком через линию фронта, а оттуда в тыл. Внизу уже ждала машина. Рика быстро собрала теплые вещи.

Родители запричитали:

— Неужели ты нас здесь оставишь одних? Мы тоже поедem с тобой!

— В машине нет места для вас! — отчеканила Рика и, хлопнув дверью, побежала вниз, таща за собой сонного сына.

Спустившись следом за дочерью, родители стали умолять зятя захватить и их. Но он чуть виноватым тоном ответил:

— Вы уже старые, надо спасти молодых! — И, усадив Рiku с ребенком в кабину рядом с шофером, сам вскочил в кузов. Бедные старики стояли на лютom морозе и рыдали, глядя вслед уходящей машине.

И тут произошло неожиданное. Едва грузовик успел отъехать на квартал от дома, как на глазах у несчастных родителей в него угодила снаряд, и машину разнесло в щепки. Еще полностью не отдав себе отчета, что на самом деле произошло, Тененбаумы побежали в сторону взрыва, но тут другой снаряд влетел в соседний дом. Дом загорелся, поднялась тревога. Силы оставили Клару Давидовну. Она упала. Дора, оказавшаяся рядом, подхватила ее, а Наум Моисеевич помог ей втащить жену на второй этаж. Та кричала, упиралась и рвалась туда, где горели останки ее дочери, внука и зятя.

По иронии судьбы старики пережили блокаду, продолжая до последних дней оплакивать Рiku и Мишеньку.

Одиннадцатилетняя Марина, видя, как угасают домочадцы, взяла на себя обязанность ходить за водой. Она брала чайник и самым коротким путем шла к Неве. Несколько раз обошлось без происшествий. Но однажды, подходя к реке, она еще издали увидела двоих мужчин, лежащих у проруби. Марина обрадовалась: взрослых можно попросить помочь зачерпнуть и вытащить чайник с водой. Она ускорила шаг, но, подойдя ближе, в нерешительности остановилась, заметив, что мужчины лежат неподвижно. Один, видимо, опустил ведро в воду, но вытащить не успел, у другого ведрок стояло рядом.

«Слава Богу, — мелькнула мысль, — они лежат лицами вниз».

Марина огляделась, но поблизости никого не было. Превозмогая страх, она опустилась на лед рядом с мертвецами и, замирая от ужаса, все-таки зачерпнула воду. Огромным усилием воли она заставила себя подняться и, согнувшись под тяжестью полного чайника, побрела к дому. Вдруг услышала вой сирены — начался артиллерийский обстрел. Она спряталась под арку одного из домов, наивно думая, что это укрытие спасет ее. Неожиданно под арку вбежали двое: мужчина и женщина. Их нельзя было назвать упитанными, но по сравнению с голодающими они не выглядели истощенными. Они встали у противоположной стены и, глядя на Марину, о чем-то оживленно заговорили. Слышать их Марина не могла, однако почувствовала, что разговор шел о ней. Тут она вспомнила, как недавно по радио сообщали, что в городе орудут людоеды. Обезумевшие от голода люди ловят на улицах детей, убивают их и едят. И, что еще страшнее, делают из детского мяса котлеты и продают их на базаре. По радио предупреждали: готовые мясные котлеты на базаре не покупать.

Марина сорвалась с места. Те двое бросились за ней. Совсем рядом рвались снаряды, но это ее не пугало. Пусть любая смерть, только не котлеты!

После этого случая Марину не пускали одну на улицу. Если нужно было идти за водой или в магазин отоваривать продовольственные карточки, ее сопровождал дедушка, который сам таскать уже ничего не мог, но еще вполне годился для устрашения.

В начале марта пришел из Кронштадта, где он служил, отец Марины. Он принес продукты, которые откладывал из своего сухого пайка. Войдя, он увидел людей, совсем не похожих на его родных. Прошло всего шесть месяцев с тех пор, как он видел их в последний раз, но как все изменилось! Он остановился на пороге, потеряв дар речи.

Его появление никак не отразилось на лицах обитателей квартиры. Взгляды у всех были отрешенные, словно обращенные в иной мир. Стараясь придать себе беззаботный вид, отец сказал:

— Ну, дорогие мои, что же это вы не встречаете вашего папку?

Лишь Марина, подойдя к отцу, прижалась к нему.

— А ну-ка, доча, давай за дело! Где у вас тут дровишки?

Марина показала на остатки журнального столика.

Сняв с себя вешевой мешок и достав оттуда складной нож, Александр настругал щепок и разжег буржуйку. Щепки весело затрещали, наполнив комнату теплым дымом, смутно напомнившим об уюте былых времен. Открыв банку сгущенного молока, отец начал кормить бабушку с ложечки. Она с трудом проглатывала, и по мученическому выражению ее лица было видно, каким нечело-

веческим усилием давался ей каждый глоток. Затем Александр подошел к жене Хане и, смачивая сухарики в разведенном водой сгущенном молоке, стал кормить и ее, как ребенка.

— Дочурка, подбрось-ка дровишек в печурку,— почти стихами заговорил папа,— и разгрузи мой рюкзак, там для тебя галеты и шоколад.

Марина доставала из рюкзака такие сокровища, которые даже в самых фантастических снах ей уже не снились.

— Только осторожно, детка, не ешь сразу много, сначала по крошечкам.

Держа во рту шоколадный квадратик, Марина старалась не глотать, чтобы как можно дольше сохранить его вкус.

Затем отец открыл банку свиной тушенки и, залив кипятком, сделал из нее суп.

— Не больше трех ложек, не больше трех,— повторял он, разливая суп по блюдечкам.

Дедушка, греясь у буржуйки, стоял рядом с Мариной, и из его глаз текли слезы. А Марина, не обращая ни на кого внимания, громко повторяла: «Спасибо, Боженька, спасибо, Боженька!»

Покормив всех, Александр взял чайник и отправился на Неву за водой. Он шел по улицам родного города, где каждый поворот ему был знаком, и не узнавал его. Вдруг вспомнился случай с его другом Николаем Антоненко, чья жена и сестра с мужем тоже застряли в блокадном Ленинграде. Навестив недавно жену, которая в отличие от других сумела неплохо приспособиться, работая в жилконторе, он пошел к сестре. На стук ему открыл деверь. «А где сестра?» — спросил Антоненко. Деверь как-то странно засуетился и в конце концов отвел Николая в кладовку, где на полу лежали человеческие конечности. Возможно, там были и другие части тела сестры, но Антоненко уже ничего не видел. Выхватив револьвер, он в упор застрелил деверя. Подобные истории Александр слышал и от других, но, впервые попав в осажденный город и увидев своими глазами, что в нем происходит, понял — надо срочно увозить своих, потому что в следующий раз в живых он может уже никого не застать.

Вернувшись домой, в темноте пробрался к дивану, где спала Хана, и, не раздеваясь, лег рядом. В голове проносились мысли, одна страшнее другой. Ведь, кроме всего прочего, в случае падения города его семье угрожала и другая опасность. Он тогда уже знал, как немцы расправляются с евреями.

Рано утром, пока все еще спали, Александр разбудил отца.

— Возьми-ка вот это.— Он протянул отцу гранату.— Не говори никому, но если в город войдут немцы, то лучше смерть! Ты меня понял?

— Я понял! — Взяв гранату из рук сына, он завернул ее в тряпку и положил на шкаф.

Прошло несколько дней. Однажды утром Дора проснулась раньше всех и, прислушавшись к дыханию матери, вдруг поняла, что та не дышит. Подойдя к ее кровати, она убедилась: мать мертва... Сдерживая рыдания, чтобы не разбудить Марину, она растормошила отца. Завернув мать в простыню, подняла почти невесомое тело и вынесла его на улицу. Вдвоем они уложили труп на санки и повезли его в пункт, где оставляли покойников. Оттуда их потом увозили на Пискаревское кладбище в братскую могилу. Дора не впервые видела эту свалку. Много трупов подобрала она и привезла на такие пункты. Но то были чужие люди, а здесь мама, которая отказывалась от пищи, чтобы только Дорочке достался лишний кусочек. Как может она бросить самого близкого человека на свете в общую кучу мертвых? Дора обняла отца, и они, рыдая, отвернулись от этого жуткого зрелища.

Дома они застали плачущую Марину. Сквозь рыдания можно было разоб-
рать слова:

— Ну почему ты так сделал, Боженька? Ведь я тебя так просила, так просила! Наверное, я плохая? Прости меня, Боженька, за то, что я плохая, я буду хорошая, только не забирай больше никого.

Хана сидела рядом с дочерью и, как могла, утешала ее.

Население города продолжало катастрофически вымирать. Казалось, никому нет дела до того, что происходит с ленинградцами. Однако кто-то все время заботился, чтобы на стенах домов, рядом с надписями: «В этом доме живых больше нет», — появлялись плакаты типа: «Бьемся мы здорово, колем отчаянно, внуки Суворова, дети Чапаева!». Или: «Умрем, но город не сдадим!». Эти призывы подкреплялись красочными картинками.

И удивительнее всего было то, что вымиравший город и вправду не сдавался. Немцы уже стояли у Нарвских ворот, но ленинградцы с отчаянием обреченных продолжали сопротивляться.

Тридцатого марта 1942 года на рассвете появился Александр. Первое, что он увидел, войдя в дом: на кровати матери лежала Хана. Он сразу все понял и, не зная, сокрушаться ли ему по поводу смерти матери или радоваться, что остальные еще живы, долго стоял в дверях, опустив голову. Наконец, взяв себя в руки, громко объявил:

— У вас один час на сборы! Быстро найдите документы и кое-что из теплых вещей. Главное — побольше наденьте на себя. Через час подойдет грузовик и заберет вас.

Дора помогала Хане и Марине собираться в дорогу, а дедушка сидел, не двигаясь.

— Папа, почему ты не собираешься? — спросил Александр.

— Я не поеду, я буду им только обузой.

— Тогда и я не поеду, — сказала Дора.

— Нет, ты должна ехать, ты нужна Марине и Хане! — настаивал дедушка.

— Хорошо, папа, я поеду! Только пиши почаще Саше!

За окном просигналила машина. Александр на руках вынес Хану. Марина с Дорой, волоча кое-какой скарб, последовали за ним. Хану подняли в кузов грузовика, уже наполовину заполненный людьми. Александр, крепко прижав к себе Марину, сказал:

— Береги маму, ты теперь большая!

Машина тронулась с места, и через минуту силуэт отца скрылся за поворотом. Подобрал еще несколько человек по пути, грузовик направился в сторону Ладожского озера, где еще как-то функционировала «Дорога жизни». В кузове сидели только немощные, остальные стояли, вцепившись друг в друга. Машину все время подбрасывало на ухабах, и пассажиры валились то в одну, то в другую сторону. Лишь к полудню подъехали к Ладожскому озеру.

Их грузовик оказался в колонне других, медленно двигавшихся по льду. Все стояли против хода машины, чтобы обжигающий ветер не дул в лицо. Так они проехали полдороги в сторону Тихвина.

Вдруг на глазах у Марины идущий за ними грузовик накренился и стал быстро погружаться под лед. Следующие за ним машины не могли остановиться и одна за другой тоже оказывались подо льдом. Крик поднялся невообразимый. Люди прыгивали с машин, но, упав на лед, так и оставались там лежать.

Лишь несколько грузовиков, шедших в конце колонны, сумели остановиться и повернуть к Ленинграду.

Когда, наконец, подъехали к Тихвину, на станции их уже встречали с носилками. За покойниками подъехала специальная машина.

Собрав всех на вокзале, блокадникам раздали еду. Это была какая-то каша с маслом. Об этой каше они будут долго вспоминать. Затем ходячим дали проводника, который повел их к поезду. Лежачих несли на носилках. Всех распределили по вагонам, в так называемые «телятники», и вскоре поезд тронулся в направлении Пензы...

Сергей ФАУСТОВ

Голос из Вологды

Статьи критика Сергея Фаустова многое определяют в молодой вологодской словесности. И хотя его книга «Харизма вологодской литературы» самим названием способна, пожалуй, вызвать улыбку, но при знакомстве с ней становится понятно, что Вологда — действительно литературный материк, существующий отдельно от московско-петербургского книжного круговорота. Фаустов обладает ставшим редкостью в наши дни видением литературы и ее роли в жизни социума. При чтении его статей вспоминается, какой была нарождающаяся критика первых лет перестройки, вымороженная постмодернистским дискурсом последнего десятилетия.

Сергей Фаустов работает без оглядки на столицу, у него нет публикаций в центральной печати, избранные им тексты и темы весьма наглядно иллюстрируют его спорные, но небезынтересные выводы. Критики, подобные Фаустову, помогают встроить литературу регионов в общероссийский контекст.

Провинция как литературное пространство

Несколько лет назад в Вологде проводился круглый стол «Русская провинция в культурном сознании». Идейным вдохновителем ее был профессор Игорь Шайтанов из Москвы, но выходец из Вологды. Среди участников стола мне более всего запомнился профессор Майкл Николсон, приехавший из Великобритании.

Он прочитал доклад «Провинциальность как явление английской литературы». Он говорил о провинции, но той, которую знал или представлял себе по европейским меркам. Даже будучи уроженцем Ливерпуля, он не смог привести явных провинциальных примеров, поэтому ему пришлось выбрать образцы молодежной культуры в качестве провинциального явления. Он начал доклад с рассказа о провинциальном парне Джоне Ленноне, выпустившем книгу со своими новоязными текстами и уродливыми рисунками еще в далеком 1965 году*. Николсон считал, что из всего репертуара «Битлз» только песня «Пенни Лейн» может быть отнесена явно к провинциальной тематике. Сами же тексты Леннона были литературным авангардом, доселе неизвестным поэтическому истеблишменту Лондона. Николсон прочитал отрывок из стихотворения Эйдриана Хенри: «Ливерпуль, я люблю твои тонны грязи — труды твоих сынов с мозолистыми руками». Особенность стихотворения проявилась в специальной выразительности чтения вслух по-английски, которую Николсон продемонстрировал под аплодисменты присутствующих. Он прочитал также стихотворение Карла Крига в переводе с немецкого как образчик уже германской провинциальности. Стихотворение называется «Пре-вращение».

Ледерхозе**
останется ледерхозе
не важно кто в нем

* Майкл Николсон рассказывал мне, что в начале 60-х годов он играл в группе (название мне было незнакомо, и я не запомнил его), которая выступала в одном клубе Ливерпуля в двух шагах от «Каверны», где в то же время работали «Битлз». Николсон же предпочел учебу в университете, а не карьеру рок-музыканта.

** Ледерхозе — традиционные баварские замшевые шорты.

пруссак
американец
или даже баварец

Ледерхозе —
это фольклор
не важно кто в нем

Пруссак становится баварцем
американец становится баварцем
баварец становится подозрительным.

Заключительный тезис выступления Майкла Николсона был сформулирован примерно так: «Любой человек может проявить свои чувства и мысли искренне и в той форме, которая ему по душе, например, в стихах, и это будет явлением культуры. Провинциальность здесь уже ни при чем».

Я ничего не хочу доказывать, но мне интересно, и этот интерес я попробую выразить вопросительными фразами. Действительно ли, говоря о провинции, нужно говорить и о литературном авангарде, и об острие искусства, и о честности, парадоксальности, эпатаже в искусстве, а вовсе не о комплексе неполноценности той самой провинции?

Думаю, что происходящее в провинции может стать классикой. Пожалуй, вот это «может стать» и есть один из главных тезисов моих статей, и на этом зиждется харизма вологодской литературы.

Когда в частном разговоре с Игорем Шайтановым я попросил его высказаться о некоторых вологодских поэтах, он сказал, что русской поэзии сейчас вообще нет. При изобилии поэтической литературы, за которой невозможно уследить, лучше о ней вообще не говорить.

Я с уважением отношусь к мнению Шайтанова, но оно меня только подстегнуло в работе. Мне кажется, Майкл Николсон показал общий признак развивающегося явления, применительный в том числе и к неизвестной провинциальной литературе, которая с годами способна стать классикой.

В подтверждение этому упомяну провинциального вологодского, из Череповца, поэта Александра Башлачева, который вышел за рамки андеграундной рок-поэзии и стал сейчас классиком. Приведу его строки:

И труд нелеп, и бестолкова праздность,
И с плеч долой все та же голова,
Когда приходит бешеная ясность,
Насилюя притихшие слова.

Эксперимент на симметрию

История СССР содержала в себе страницы, особый смысл которых проявился спустя десятилетия. Первые два слова в предыдущей фразе написаны для большей значительности, потому что эта история сама себя называла экспериментом.

Одна из страниц относится к 50—60-м годам, когда наступала хрущевская «оттепель», и она же продолжалась еще несколько брежневских лет.

С одной стороны, литературные болельщики на стадионах внимали Евтушенко, Рождественскому, Вознесенскому...

А в то же время на Северо-Западе России уже начинали свой путь два великих поэта, которых одинаково не знал никто: Николай Рубцов и Иосиф Бродский.

Дальнейшее повествование построим в виде двух параллельно-последовательных рассказов.

| | РУБЦОВ | БРОДСКИЙ |
|----------------|--|---|
| Дата рождения | 3 января 1936 г. | 24 мая 1940 г. |
| Место рождения | Емецк, Архангельской обл. | Ленинград |
| Образование | 7 классов (в 1962 г. окончил вечернюю школу) | 8 классов (без аттестата зрелости) |
| Профессии | кочегар матрос студент горного техникума (не окончен) | фрезеровщик техник-геофизик кочегар матрос |
| Начал писать | 1957 г. | 1955 г. (?) |

В 1964 году Николая Рубцова *отчислили* из Литературного института, и он уехал в деревню Никола. В том же году Иосифа Бродского *судили* за тунеядство и отправили в ссылку в Архангельскую область в деревню Норенская, близ станции Коноша, на границе Вологодской и Архангельской областей. По прямой между поэтами было километров двести. Для двух имен такого всемирного масштаба — это одна географическая точка. Трудно удержаться от соблазна привести здесь отрывки. Из Рубцова — «Люблю я деревню Николу, где кончил начальную школу» и Бродского — «Отскакивает мгла от окон школы, звонят из-за угла колокола Николы». Оба они были вынуждены пребывать в деревне.

Их поливал один «архангельский дождик». Снег выпадал и таял в один день. Они собирали грибы и ягоды, встречались с друзьями, каждый со своими, если только к ним кто-то приезжал.

31 мая 1964 года Бродский, хотя и по другому поводу, написал очень показательные строки:

Два путника, зажав по фонарю,
одновременно движутся во тьме,
разлуку умножая на зарю.
Хотя бы и не встретившись в уме.

Советская жизнь поставила уникальный эксперимент — два поэта, как два близнеца от искусства, шли своей дорогой, параллельной дорогой, иногда чуть ли не сталкиваясь на Невском проспекте в Ленинграде или где-то на железной дороге на Вологодчине (все это было возможно). И, будучи неизвестными друг с другом, доказали один и тот же тезис, который сейчас знают все, — для признания поэту нужно перейти в другой мир: у Рубцова — смерть, у Бродского — отъезд с Родины.

В 1990 году была выпущена книга Рубцова «Видения на холме», а в следующем, 1991 году, книга Бродского «Холмы». Специальной связи между этими двумя событиями, точнее, названиями сборников, нет, но совпадение совершенно не случайно. Вот из этих двух книг мы и будем цитировать. Бродский объясняет, что такое холмы:

Холмы — это наша юность,
гоним ее, не узнав.
Холмы — это сотни улиц.
Холмы — это сонм канав.
Холмы — это боль и гордость.
Холмы — это край земли.
Чем выше на них восходишь,
тем больше их видишь вдали.
Холмы — это наше страданье.
Холмы — это наша любовь.
Холмы — это крик, рыданье,
уходят, приходят вновь.
Свет и безмерность боли,
наша тоска и страх,
наши мечты и горе,
все это в их кустах...

В другом стихотворении он говорит, что равнина — это смерть, холмы — это жизнь*.

А вот отрывки из двух стихотворений: «Я буду скакать по холмам...» и «Ты поскачешь во мраке...» Первое было написано в 1963 году Рубцовым, а второе — в 1962 году Бродским.

Рубцов:

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам миновавших времен...

Бродский:

Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам,
вдоль березовых роц, отбежавших во тьме к треугольным домам,
вдоль оврагов пустых, по замерзшей траве, по песчаному дну,
освещенный луной и ее замечая одну.

* В термодинамике есть понятие «тепловая смерть Вселенной», которая наступит, если везде, в любой точки Вселенной, температура выравняется. Температурная равнина — смерть, температурные холмы, всплески — жизнь.

Рубцов:

Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..
Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.

Бродский:

Кто там скачет, кто мчится под холодной мглой, говорю,
одиноким лицом обернувшись к лесному царю, —
обращаюсь к природе от лица треугольных домов;
кто там скачет один, освещенный царицей холмов?
Но еловая готика русских равнин поглощает ответ,
из распахнуты окон бьет прекрасный рояль, разливается свет,
кто-то скачет в холмах, освещенный луной, возле самых небес,
по застывшей траве, мимо черных кустов. Приближается лес.

Какая муза дала им домашнее задание написать сочинение на заданную тему, устроив такую невероятную переключку? В. Белков в книге «Жизнь Рубцова» пишет: «Рубцов не мог не знать стихотворения И. Бродского, написанного в 1962 году... Даже по этой короткой цитате видно, насколько близки два стихотворения. Но Рубцов, гений отклика, всегда отвечал сильно и по-своему. И на вопрос Бродского... Рубцов ответил твердо и определленно!».

Рубцов:

...Воспрянув духом, выбегу на холм
И все увижу в самом лучшем свете.
Деревья, избы, лошадь на мосту,
Цветущий луг — везде о них тоскую.

(1965)

Бродский:

...я на бугор взбежал и увидел:
шоссе пустынным было и неровным.
Но небо, подгибая провода,
не то сливалось с ним, не то касалось.
Я молча оглянулся, и тогда
совсем другой мне роща показалась.

«Мил Николаю Рубцову образ необозримого российского простора с бескрайностью лесов, болот и полей. Романтической таинственностью полон этот образ, в котором грезится что-то сказочное, призрачное. Впечатление создается не столько пластически, сколько намеком, музыкой, настроением». Так писал критик Василий Оботуров. Но разве не то же самое можно говорить о Бродском?

Бродский:

Здесь на холмах, среди пустых небес,
среди дорог, ведущих только в лес,
жизнь отступает от самой себя
и смотрит с изумлением на формы,
шумящие вокруг. И корни
вцепляются в сапог, сопя,
и гаснут все огни в селе.

(1964)

«...стремящиеся в его текст слова участвуют в событии, важность которого безошибочно угадывается читателем вне зависимости от характера этого события и отношения к нему автора. Кажется, именно поэтому у Бродского интересно решительно все — вплоть до шуточных почеркушек». Так писал составитель «Холмов» Г. Комаров. Но разве не то же самое можно говорить о Рубцове? Вот первое рубцовское, что наугад попало мне для иллюстрации.

Я вспомнил угрюмые волны,
Летающие мимо и прочь!
Я вспомнил угрюмые моли,
Я вспомнил угрюмую ночь.
Я вспомнил угрюмую птицу,
Взлетевшую жертву стеречь.
Я вспомнил угрюмые лица,
Я вспомнил угрюмую речь.

Я вспомнил угрюмые думы,
Забутые мною уже...
И стало угрюмо, угрюмо
И как-то спокойно душе.

Можно только удивляться, что, будучи в ссылке, получив приговор ни за что, поэт сумел сохранить в себе любовь к отчизне и удержаться от злобы. Вот что писал Бродский 25 марта 1964 года в Архангельской пересыльной тюрьме:

Сияние русского ямба
упорней и жарче огня,
как самая лучшая лампа,
в ночи освещает меня.
Перо поднимаю насилу,
и сердце пугливо стучит.
Но тень за спиной за Россию,
как птица на рощу кричит...

Такие строки может написать лишь тот, кто знает, что для птицы значит спасительная роща. Бродский не озлоблен: «Северный край, укрой. И поглубже. В лесу. Как смолу под корой, спрячь под веком слезу». Удивительно, но и следующее высказывание о Рубцове можно также отнести и к Бродскому. Виктор Астафьев рассказывал, как Рубцов попал в обидную для него скандальную ситуацию и откликнулся на нее стихами. «У посредственного поэта они были бы обязательно злые... у него стихи стали еще печальнее, пронзительнее, он в душе простил... Вот это первый признак большого поэта и писателя. Он не опустил до зла, до мести». Бродский из ссылки пишет, что он «на Севере родном, когда в окне бушует ветер на исходе лета».

Дальнейшее повествование приведет к тому, что вы перестанете отличать Бродского от Рубцова. И на этом мне придется закончить.

На недавней выставке в областной картинной галерее я увидел линогравюру одного художника. Подпись под портретом гласила: «Рубцов». Но всякий мог заметить, что изображенный человек более всего похож на Бродского, особенно, говоря его же словами, «лысоватым затылком». Технология гравюры такова, что художник получает на бумаге зеркальные отпечатки. Так и в зеркале мы видим не себя. Плоскость симметрии меняет облик самым удивительным образом, и в этом мире нам только и остается удивляться русской поэзии и вовлеченной в нее вологодской литературе.

Дискурсивная интуиция

(оксюморон как глагол)

Я купил словарь. Чтобы убедиться в том, что слово имеет то значение, которое я подразумевал. Алфавитное расположение слов помогает найти нужное. Но я листаю его беспорядочно, чтобы найти неожиданное.

Я иду в театр, дабы убедиться в том, что спектакль соответствует объявленному на афише. Чаще всего так и происходит.

Я сажусь в поезд с единственной целью — чтобы убедиться, что поезд тронется по расписанию.

Я включаю телевизор с единственной целью — проверить соответствие с программой того, что показывают.

Я иду на работу. Вы догадываетесь, зачем? Чтобы заработать и получить в кассе деньги.

Довольно. Вы можете сами продолжить подобное перечисление. Закрываю так, что я проживаю жизнь, чтобы убедиться, что она коротка. Накопленный жизненный опыт и наблюдения подсказывают, что бывает несоответствие, и тогда возникает счастливый шанс убедиться в обратном. Жизнь оказывается длинна, например.

Или оказывается, что слово, которое я знал, имеет другие значения, даже обратные, отличные от тех, что я предполагал.

Оказывается, что в театре спектакль отменили из-за болезни знаменитого актера. И подобный случай врезается в память сильнее всех ранее просмотренных спектаклей. Театральное искусство бывает и таким, «перфомансным».

Оказывается, по ТВ показывают другое кино, не по программе. И тогда в печати возникает дискуссия — чья рука и по каким политическим мотивам заменила фильм? Такое запоминается. (Так два раза пытались, прежде чем смогли показать заявленный в программах фильм «Последнее искушение Христа»).

Оказывается, на работе мне зарплату не платят и не будут платить, причем очень долго.

Довольно. Свершился крах ожиданий. Событие не просто не произошло, произошло событие ему противоположное.

Я хотел, чтобы было весело в этой жизни, а получилось грустно. Даже если обман иногда происходил в лучшую сторону. Жизнь, как и время, течет на эволюционных переворотах, делая историю, как в песочных часах. Нет ни явного низа, ни четкого верха, ни добротного добра, ни дьявольского зла. А есть добротное зло и дьявольское добро. У вологодского поэта Михаила Сопина состояния, которые он хотел выразить, неизменно описывались посредством оксюморонов: «невольник воли», «безумию ума смертельно рад», «слепо-зряче».

И теперь для описания жизненных и иных явлений можно принять, что диалектика основана на оксюморонах, которые из чисто вербально-семантических категорий переходят в психологические, общественные, финансово-промышленные и, наконец, во все остальные. И если это так, то оксюморон — категорический императив.

Остановимся на литературных. Автор пишет произведение на одну тему, в одной плоскости, с одними положительными героями, а получается совсем другое, на другие темы, в других плоскостях, и герои на самом деле отрицательные. Писатель думает, что метафора работает в тексте и бывает к месту, что она действительно эффективна, но как-то совсем иначе, чем предполагал писатель. Писатель часто пишет интуитивно. Особенно интуитивно пишутся стихи. Но он не хочет уподобляться гусенице, которая ведет себя рефлекторно: ее тронули, она изогнулась. Писатель хочет внести в свое творчество дискурс. Он хочет комбинировать. Чтоб и муза была, и вдохновение, и интуиция, и рефлекс, и дискурс. Сердце берет в руки плетку и хлещет разум: «Думай, находи слова, выражай то, что я чувствую!»

Все правильно. Это как раз те составляющие, которые часто приводят к обратному результату. Происходит построение оксюморона, но не словесного, а как результат работы. Хоть умственной, хоть душевной. Поэт дает название стихотворению, заложив в него смысл, а оказывается, что содержание его совсем о другом. Поэт иногда чувствует подводный камень, скрытый подвох, сужение темы и не дает названия стихотворению.

Провинциальная литература полна примеров художественной прозы, да и поэзии, где в традиционной форме или в причудливом соединении расположились лежащие на поверхности послы заданного смысла и лежащие несколько глубже, но фактически не замеченные автором другие смыслы, другие архетипы и мифологемы.

Многолетнее исследование вологодской литературы обнаружило ее особое состояние — при всем традиционализме, особом положении в ее прошлом и традиционно-провинциальном нынешнем — выход на авангард, постмодернизм и еще какие-то пока не понятые уровни.

Литература любит сама себя объяснять в своих собственных терминах. И вот один такой термин — оксюморон. Вначале было слово. Потом другие слова, а одним из первых слов было — оксюморон.

Оксюморон — не статика, он — действие. Мы думаем, что строим одно, а получается другое, обратное. Мы строим оксюмороны. На государственном уровне это когда-то выразил премьер-министр: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Известно ведь — благими намерениями выложена дорога в ад...

Оксюморон не должен быть существительным. Оксюморон должен быть глаголом, чтобы можно было сказать: «Оксюмороним». Или: «Внимание! Они оксюморонят!» Как бы не «обоксюморониться?»

На последний вопрос есть ответ готовый, всем известный, — талант. Он нужен, скажем кратко, для того, чтобы наши дела не обратились в свою противоположность. Оксюморон как действие дает результат, по которому можно ставить диагноз — наличествует он или нет, этот самый талант.

Я сейчас в словарь своего компьютера заложу новое слово — соксюморонить. Синонимами для него являются — обмишуриться, ошибиться, промахнуться, дать маху, попасть с точностью до наоборот, делать одно, а получить в итоге другое, сделать обратное желаемому.

На ум приходят законы Мэрфи, описывающие подобные совершенные действия, а также пословицы. Например: «Шила милому кисет — получилась рукавица».

Оксюморон — как глагол — наиболее совершенен в передаче точности смысла происходящего. Я предвижу такие заголовки в газете: «Оксюморонизация Чечни». Или — «Реформы оксюморонят».

Известная цитата из Достоевского: «Увы, все делалось во имя любви, великодушия, чести, а потом оказалось безобразным, нахальным, бесчестным», — работает во всех временах: прошедших, настоящих и будущих.

Кирилл КОБРИН

Письма в Кейптаун о русской поэзии

Письмо шестое и последнее

Это действительно последнее из моих писем Петру Кириллову — старому другу по горьковской юности и молодости 80-х, эмигрировавшему в 1990 году в ЮАР и добившемуся больших успехов в невероятно трудной и тонкой профессии — виноделии. Краткая предыстория публикации такова. Года два тому назад я внезапно (после почти десятилетнего молчания) получил от него весточку; контакты наши, благодаря электронной почте, возобновились, и первым делом Петя почему-то потребовал от меня подробных отчетов о состоянии современной русской поэзии (до которой лет пятнадцать назад был великий охотник). Я решил писать ему изредка по письму, которые, по обоюдному согласию автора и адресата, периодически представлял на суд читателей «Октября». Ни объективности, ни сколь-нибудь полного охвата в этих эпистолярных найтах невозможно. Я просто делюсь своими наблюдениями об области, так сказать, «возвышенного» с человеком, который последние десять лет занимался **настоящим делом**.

Причина прекращения переписки названа ниже.

13 сентября 2001 года

Ну что же, вот и приходит конец нашему эпистолярно; то есть, конечно, не «нашему», а моему, ведь ты мне почти не писал, точнее — писал, «мылил», но не о том, не о стихах и стишатах, а так, о презренной прозе жизни, о низкой вещественности, о ней: родимой, тянучей, горько-сладкой. Дело не в том, что мне надоело сочинять тебе послания о русской поэзии, тебе — Дионису, Ваху мыса Доброй Надежды, зулусскому виноградному гуру, увитому лозой памятнику четвертой русской эмиграции. И, надеюсь, не в том, что тебе надоело их читать — не так уж много посланий я отымейлил с Северного полушария в Южное; если быть точным — пять. Это шестое и последнее.

Переменилась сама эта «вещественность», да так переменялась, так задвигала своими тяжелыми корпускулами, что явила изумленным нам новый воздух, новый эон, что ли, и в придачу новый, потрясающий образ красоты. Такой красоты, что по ту сторону известно чего находится, не имея никакого отношения ни к этике, ни к здравому смыслу. Тем и напомнила об истинной своей сущности.

Поверь, это не оправдание собственной лени или внезапного охлаждения к предмету. Напротив, я надежно утвердился на эпистолярной колее и легко мог бы провести пару десятилетий, сочиняя по паре писем о русской поэзии в год. Big deal! Поэтов русских много, становится — еще больше, так что в конце концов образовался бы объемный томик, а то и два — не тоньше какого-нибудь «Заката Европы» или дневников Гонкуров. Вот, например, только-только вышла книжечка поэтических творений автора, спрятавшегося под кикиморским псевдонимом «Шиш Брянский» — право, прелестная вещица. Название имеет такое кузминское — «В нежном мареве», да и происхождение свое ведет отчасти от автора «Мудрой встречи» и «Русского рая». Кузмин вообще много влиял на поэзию прошлого века (успокоительно звучит, не правда ли, «поэзия прошлого века»? как-то не опасно...): некоторые его интонации можно уловить и в жеманных ахах Кушнера, и в верлибрах Померанцева, и в аллитерационном барокко Пурина. Я не говорю уже о поэтах стилистические всеядных, но зато строгих в определении сексуальной ориентации... Наш же Шиш воспринял хлыстовскую, радеющую о духе часть многоцветного кузминского спек-

тра; в костре, который он возжигает из книг, пристойности, учености вообще, культуры, он видит одно закаливание духа, который несколько комически шибает читателя то духом специфически «русским», то сортиром, то жаром невидимого гностического огня.

Мы с тобой договорились примерно года полтора тому, что — из вялого снобизма — я не буду цитировать строки, оскорбляющие так называемую «общественную нравственность». Потому Шиша Брянского не воспроизведу ни строчки. Он безнадежно, избыточно, по-детски сквернословит; я бы даже сказал — поливает читателя из своего рода фекальной машины с ручным приводом. Некоторые его стихи — нарочито небрежные, придурковатые, но горящие странным и сильным огнем — есть на первый взгляд не что иное, как грубые пародии на того же Кузмина да вообще — на поэзию. Но пародия вовсе не из того разряда, к которому мы привыкли за последние двадцать лет: не легкое хихиканье, не пулеметные ленты центонов, не маразматическое ерничанье концептуализма. Нет, здесь иное. Пародия грубая, низменная, тупая, но обладающая силой, хотя бы интонационной.

Шиш Брянский — оживший персонаж «Болотных чертенят» Блока. Помнишь:

И сидим мы, дурачки,—
Нежить, немочь вод.
Зеленеют колпачки
Задом наперед.

Зачумленный сон воды,
Ржавчина волны...
Мы — забытые следы
Чьей-то глубины...?

Шиш наш — безусловный «дурачок», вернее, он косит под «дурачка», но делает это азартно и талантливо. Ключевая фраза в блоковском стихотворении: «Мы — забытые следы/Чьей-то глубины». Это и есть главное определение антикультурного пафоса «В нежном мареве» — забытый след чьей-то глубины.

Возмутительный жест Шиша Брянского хорошо продуман; сам псевдоним говорит об этом. «Шиш Брянский» — одна из ипостасей «Русского Бога», грязного, косматого ерника и озорника из лесной чащобы. Он — отец знаменитого советского «тамбовского волка». По Далю, «шиш» — и «островерхая дуля», и «кукиш», «фиг», «дуля», «ничто»*, «шатун», «бродяга», «шеромыга», «вор», «нечистый», «сатана», «бес», «злой кикимора», «праздний шалопай». Кажется, тебе понятно теперь, Петя, с каким «концептом» мы имеем дело? Да, вот еще: «хмельные шиши» — «опойная горячка». Вот он, вот он, Русский Бог!

Ну и, как ты понимаешь, «Шиш вам! Брянский!» Маяковщина. Натё!

Тут бы еще вспомнить хлыстовского шиша Клюева, да я не помню наизусть ничего из него, а под рукой и книжки-то нет.

Кстати, о том, почему нет книги под рукой и почему это письмо — последнее.

Разворачивается и стремительно сокращается географическая ось нашего эпистолярия. Повествовать о русской поэзии адресату в Кейптауне — значит, говоря шкловским языком, оstrarнить предмет, вырывать его из привычных контекстуальных связей, выставлять его на твое, Петя, обозрение без погон, выданных генералами литпроцесса, да и без мундира тоже. Так, субъективные заметки частного человека, посланные другому частному лицу, проживающему на другом конце света. Точка. Сейчас же все меняется. Я, как ты знаешь, волею судеб оказался в центрально-европейском историческом закутке, в котором события завершились еще лет десять тому, а истинное Событие — вообще в XVII веке. Живу в городе, который называют Золотым, в городе, где есть гора, на ней — Замок и Собор, внизу — самое древнее в Европе сохранившееся еврейское кладбище. В общем, что твой Кейптаун: русским духом здесь и не пахнет, несмотря на десятки тысяч русскоговорящих экспатриантов в настоящем и почтенные традиции эмиграции первой волны в прошлом. На Ольшанском кладбище, почти сразу после православной церкви, налево пойдешь — могилу матери Набокова найдешь, направо — юмориста Аверченко. Идеальное место изгнания.

Соответственно и книжечек русских здесь нет. Не то чтобы совсем нет, но, в общем, нет. В лучшем случае мелькнет что-то из продукции одного из нескольких новомодных издательств; но уж, конечно, то будут не стихи. Стихи русские, Петя, товар не конвертируемый, невывозной. Есть, конечно, Интернет, где вывешиваются

* Вот на это «ничто» обрати внимание: дырка от брянского бублика, сопло дримодельной ракеты Циолковского, просто Смерть, обряженная в шутовской русский кафтан.

миллионы поэтических строк на кириллице, да ведь они тебе так же доступны, как и мне. Справишься, это не вино делать. Зайди на www... В общем, сам знаешь.

Тем более ты давеча написал мне, что собираешься на полгода на Родину, в Москву, — хочешь залить возлюбленное Отечество своим «Совиньоном», «Шардоннэ» и «Рубиновым каберне». Приветствую! Здесь, в Праге, я довольно быстро привык к вольготному алкоголическому режиму; капризничаю: то чилийское цежу из провинции Тарапака, то отменные красные твоих конкурентов из Капской колонии, то местные моравские, среди которых и крепенькие попадают и даже, in local terms, конечно, нежные. Все это, как ты понимаешь, не по миллионерским ценам. Так что миссию твою в Москву я благословляю — расправь иссохшиеся водочные русские души своим нектаром, подвигни их к неторопливому пьянству, смягчи нравы среднего класса, подтяни к нему нижний. В пивной стране, где я сейчас обитаю, как ни странно, полно винных разливух, там сидят и ведут бесконечные беседы мрачноватые швейки, тем самым надежно изолированные от города, в котором обитают. Чужого города. Прага была выстроена немцами, евреями и совсем другой породой аборигенов, которая повывелась почти четыре века назад; точнее, ее повывели в Тридцатилетнюю войну Габсбурги с помощью иезуитов. Памятники этой катастрофе стоят здесь на каждом шагу — гигантские барочные соборы, своими крестами намертво пришили к некогда бунтарской душе богемца. Трудно даже представить, сколько денег было затрачено. Воистину, лучшие инвестиции — в Господа.

А город остался — потрясающий и мертвый, так как все, кто его задумывал, строил, уничтожал, снова строил, все, совершенно все мертвы. И дела их мертвы оказались. Время, история ушли из этого места, омертвел сам состав воздуха; живут в Праге бывшие окрестные крестьяне и иностранцы. Первые не понимают, что с этой каменной могилой собственного народа делать, другие беззаботно занимаются своим бизнесом, а вечером шатаются по сказочно дешевым кабакам. Вот и я тем же занимаюсь.

Потому лингвистическое одиночество русского литератора прячется здесь еще под латы других одиночеств — исторического, экзистенциального, географического. Жить иностранцу в Праге — все равно что оказаться в полной изоляции. Несмотря на то что можно сесть на поезд и через три часа оказаться в Вене или Дрездене. Но надолго без акваланга не запырнешь.

Потому особенно ценным здесь начинает казаться опыт поэтов-отщепенцев, обочинных, подживающих в своих метафизических Александриях или Харбинах. Говорят, в России вышла книга «Русские поэты Китая». Если увидишь ее в Москве — купи, пожалуйста, и вышли мне. В самый раз будет.

В минувшее десятилетие русской поэзии некоторые фигуры так и остались «русскими поэтами Китая» — сами по себе, в эстетическом карцере, в ватном одеяле непонимания да и собственного нежелания из-под него вылезать. Действительно, ради чего? Подыгрывать на жестяном барабане Тимуру и его команде? Прокричать болатной выпью над трясинной последней Большого стиля? Воспеть детей капитала-гранта?

Я тебе, кажется, писал, что летом случайно оказался в Роттердаме на очередном фестивале Poetry International. Зрелище поучительное. Десятка два-три стихотворцев, отобранных преимущественно по соображениям политкорректности, тем не менее действительно, как капля Мирового океана в пробирке ученого повествует о всем океане, являли характерные черты Мирового поэтического племени. Почти все — чудачки, чудачество которых практически одинаково: после сорока лет — легкая академическая небрежность, мягкие университетские пиджаки, сигареты vs трубки, желтоватый цвет лица (вовремя усмирленный алкоголизм); до сорока — короткие стрижки, общая угрюмость, политический пафос. Присутствовали, конечно, и исключения, но их псевдоштучное чудачество было производным от конвейерного чудачества остальных. Зулус (да-да, твой земляк!) в бурнусае, завернутый в покрывало племенной расцветки; он был сопровождал письмом от вашего президента Мбеки. Парень даже не пел, а плясал; потом раздавались его книги на английском — там (как и в его наряде, плясках, ужимках) все скучно и предсказуемо: эксплуатация, угнетение, прибавочная стоимость, долой буржуе (читай — белых). Устроители фестиваля смогли собрать почти полный спектр поэтов из актуальной, с точки зрения жгучей этносправедливости, бывшей Югославии: серб, словенец, македонец, албанец. Такое впечатление, что до 1989 года все они состояли в одном Союзе писателей, а потом надолго потеряли друг друга: кто-то осел в Германии, кто-то — во Франции, кто-то — в родной деревне. И вот, волею голландских культуртрегеров, они собрались на одной сцене: много чего повидавшие, много чего написавшие, ухватившие

именно ту интонацию национальной песни и пляски, за которую цивилизованные европейцы дают деньги. Да, Петя, много кто еще был там, в Роттердаме. Человек из Свазиланда, похожий на свергнутого диктатора из романа Роа Бастоса или Алехо Карпентьера (помнишь таких?). Он — пел, но в отличие от прочих довольно уныло, словно пушкинский ямщик. Два ражих молодца, палестинец и израильтянин; ждали драку, но не вышло: лозунги, которые они толкали со сцены, мгновенно забывались в цивилизаторских кулуарах, где всегда были наготове чай-кофе-вино-сэндвичи-свежие газеты. Старик-серб страшно обрадовался, увидев на столе «Комсомольскую правду»; «Комсомолка! Комсомолка!» — запричитал он, но знакомой газеты в конце концов не узнал: ни тебе Политбюро, ни БАМа, ни архангельского мужика — сплошная «Санди таймс».

Так вот, там, в Роттердаме, я встретил поэта, чьи стихи до сих пор знаю наизусть, несмотря на то что с этим делом, как ты помнишь, у меня слабовато. «Воскликнул Ерзи-Морзи, качая головой». «Вы когда-нибудь ели груши? Нет, не груши, а именно груши». «Друзья, салату оливье нельзя ли подложить?». Эта книга — Спайк Миллиган «Чашка по-английски» — была одна из первых, которые мы с женой читали дочке Кате в самом начале девяностых. Оттого и помню, что провел десятки, если не сотни часов в обществе этого поэта, не Миллигана, конечно, а того, кто сочинил всю эту прелесть по-русски. Григория Кружкова. Примерно в то же время, когда я зубрил наизусть его англо-саксонскую чепухатину, когда ты, Петя, отвалил в свое экваторное далеко, то есть примерно десять лет тому, вышла книга стихов Кружкова под неспешным названием «Черепаша». Я встречал ее несколько раз в книжных магазинах, но то денег не было, то душа в тот момент не была конгруэнтной к стихам, то опять не было денег; в результате «Черепаша» доползла ко мне декаду спустя. Прямо в руки приползла в Роттердаме.

Я познакомился с Кружковым на Poetry International. Через несколько дней в экспрессе «Амстердам — Париж», голодный, не выспавшийся после хальсовских возлияний в этом самом лучшем в мире городе (ты-то должен знать, ведь твоя Капская колония, твой Оранжевый Трансвааль, основан был предками тех алкоголических полубогов, что так благородно обвисают у стоек амстердамских баров: одна рука свалилась, другая упрямо держит на тусклом исцарапанном цинке рюмку, в которую разливальщица автоматически подливает йеневер) я познакомился с его стихами десятилетней выдержки. Они оказались благородными; не удивляйся: это качество старых друзей, хороших вин и недоступной бывшему советскому школьнику осанки вполне распространяется и на стихи. Более того, его катастрофически не хватало русской поэзии (и жизни) минувшего десятилетия. Тонкость, выдержанность, благородство — все это надо скармливать современному русскому поэту, как витамины анемичному пермскому ребенку: методично и последовательно. «Черепашу» я бы сейчас переиздал большим тиражом и бесплатно раздал каждому нынешнему стихотворцу.

Кружков — поэт неожиданный именно своей вменяемостью, неэкстремальностью, точностью, негромкой интонацией, мастерским владением размерами (впрочем, для настоящего переводчика стихов с иностранного это вполне естественно). Неудивительно, что его почти не упоминали в приказах по литармии, он не фигурировал в коротких и длинных списках на получение чего угодно; будто здесь прожил эти десять лет, в Праге, под многослойным покровом одиночества. Это — несмотря на выход еще одной поэтической книги «Бумеранг», на многочисленные переводы... Впрочем, не буду сетовать. Собственно, о таких, говоря по-розановски, «литературных изгнанниках» я тебе, Петя, и писал в своих электронных посланиях. «Писал»... Прошедшее время несовершенного вида... Как успокоительно звучит, будто впереди целая вечность, будто застрял где-то в сороковых девятнадцатого века и уютно переписываешься с Жуковским, Плетневым, Тютчевым, а адресаты гуськом медленно растворяются в исторической ретроспективе, пока не оставят тебя одного — желчного, хандрящего старикашку в залепанном чернилами халате. Или будто вечерами, свободными от приступов безумия, сидишь в деревянном своем царскосельском доме и беседуешь о покойном Анненском с бывшими его гимназистами, а потом умрешь, прочитав в газете о начале войны, и ничего не увидишь, совсем ничего. Разве что на том свете есть своя лента новостей, какой-нибудь «Парадайз Пресс».

У Кружкова в «Бумеранге» есть превосходное стихотворение как раз об исторических перспективах и ретроспективах.

Гумилев с Мандельштамом, как лев с антилопой,
прогуливаются по Летнему саду, по Серебряному веку.
На скамье Труффальдино шушукается с Пенелопой,
из-за Зимней канавки доносится кукареку.

Скоро, скоро, видать, розовоперстая жахнет,
скоро святой Гавриил с патрулем нагрянет.
Скромная тучка на горизонте темнеет, и пахнет
жареным, хоть пока в ней огня нет.

Гумилев, сняв фуражку, крестится на колокольню,
голова его похожа на сжатую ниву.
Мандельштам одолевает какой-то хронический дольник,
он мычит, глядя в сужающуюся перспективу

аллеи — где, вдали алея,
видится что-то, еще видимое в радужном свете,
что-то такое невинное, чего и Блейк не наблеял...
Но уже Петр обернулся, и вскрикнул петел.

Как хороши эти «Гумилев с Мандельштамом, как лев с антилопой!»! «Святой Гавриил с патрулем» вместо блоковского Христа с двенадцатью! Гумилевская бритая голова, похожая на «сжатую ниву» (или на сжатую «Ниву»?!) Ну и, конечно, «хронический дольник», одолевший Мандельштама, отчего испуганные антилопы глаза его опущены *долу*: он знает, что-то страшное там, *вдали*.

Увы, теперь мы находимся уже по ту сторону линии, разделяющей эпохи перспективных и ретроспективных утопий. Теперь поэт, как и положено Орфею, обречен оборачиваться назад. Раньше, складывая свои песни, наигрывая на лире, он пытался воплотить архетип прекрасного, неземную красоту, чей смутный, неверный образ иногда мелькал в его сознании*. В силу своей смутности образ Прекрасного, Идеального Произведения Искусства никогда и не мог быть воплощен: не преверишь, не сравнишь. Теперь, Петя, он нам дан во всей своей наглядности.

11 сентября миллиарды людей увидели идеальное произведение искусства. Ярким солнечным днем, на фоне нестерпимо голубого неба, авиалайнер медленно, будто во сне, пропарывает насквозь башню Всемирного торгового центра. Жирная огненная вспышка. Толпа внизу, как-то мгновенно обмякнувшая и дрогнувшая. Феерический обвал небоскреба. Перекошенные ужасом лица зевак. Серо-коричневая взвесь, наступающая бегущих. Все. Занавес.

Никогда еще людям не демонстрировали с такой наглядностью — Красота находится по ту сторону страданий, жизни и смерти. Эстетическое вовсе не противоположно этическому; оно к нему безразлично. Потому идеальное произведение искусства имеет отношение только к смерти. Потому и создать его смогли лишь зомби, ставшие орудием в руках гениального сумасшедшего. Писать стихи после 11 сентября нет, не невозможно, но очень трудно: каждый честный поэт теперь знает о тщете своих попыток. Теперь он знает истинную цену Совершенству.

Это, Петя, совсем другая эпоха. Сидя в ней, я дописываю тебе последнее письмо о русской поэзии предыдущей. Я ставлю точку — к ней сходится сужающаяся ретроспектива.

Удачи в Москве!

Звони, пиши и приезжай в гости. Попробуешь моравского, ходим на могилу Кафки.



* У каждого, естественно, свой: у одного — аркадские идиллии, у другого — полудремотное интеллигентское счастье в подсолнечном свете настольной лампы, у третьего — садическая преисподняя или трансбейнальные кислотные экспрессы, у четвертого — нечто живописно-экзотическое, в духе «Нэйшнл Джеографик».

Ольга СЛАВНИКОВА

Урок географии

Провинциальность, взятая вне географических реалий, есть попытка повторить чужой успех. Пелевин породил несколько небольших пелевиных. Акунин ввел моду на исторические стилизации с детективным сюжетом, что, например, привело к появлению в «Амфоре» детективщика Сергея Карпушенко. Видимо, и в столицах, и в цивилизованном дальнем зарубежье полно провинциалов. Пелевин и даже Акунин — на сегодня славное прошлое. Несколько дезориентированная новая беллетристика ожидает следующего кумира, чтобы вновь запустить процесс клонирования. В бытийном смысле копии овечки Долли отличаются от оригинала хотя бы потому, что оригинал диктует признаки всех экземпляров овцы. В литературе не пить из копытца тяжело, а пить — правильно: инерция читательских предпочтений, а главное, денег, работающих в издательском бизнесе, задает провинциальность, провинциальность и еще раз провинциальность. Собственно говоря, всякое творчество есть в каком-то смысле определение собственного центра. Весь вопрос в том, помещается искомая точка внутри субъекта, производящего текст, либо где-то вовне — например, в книгах и персоне успешного автора.

Но не будем делать вид, что проблемы в ее географическом виде не существуют. Прекраснодушью здесь не место: мы не на съезде писательского союза советского образца. Невооруженным взглядом видно, что талант, пребывающий в провинции, производит литературу более кустарную и менее востребованную, чем он же, но вовремя перенесенный в столичный контекст. При том, что пишет он, бывает, лучше, и много лучше, чем его коллеги в Москве. Проблема в том, как он мыслит. Вот с этим и стоит разобраться.

Обыденный взгляд на провинциальность в литературе (не всегда проговариваемый, но, как мне кажется, существующий в умах) сводится примерно к следующему. Одаренный человек, проживающий в областном городе или, того печальней, в поселке городского типа, оторван от актуальной информации, от книжных новинок, не имеет полноценной развивающей среды. В своем ощущении современной литературы он идет лишь чуть дальше школьной программы, которая по-прежнему базируется на XIX веке. Трудности и нищета провинциального быта, владеющие его сознанием, заставляют литератора выписывать прежде всего не эстетическое, но житейское — что отбрасывает его на колхозное поле реализма. Хорошее письмо, таким образом, тратится не на то, на что его имеет смысл тратить. Житейские же трудности мешают писателю в достаточной мере отдавать себя творчеству, он не реализуется. Даже если литератор пытается следовать моде, идущей из столиц, у него получается не «фирма», но типичный «самострок». Не говоря о том, что от моды он, естественно, отстает. Обида, накопленная за такую творческую биографию, завершает дело: литератор вообще перестает понимать, что делается в столицах, в чем прелесть модной книги. Он уже уверен, что у него в литературе все «серьезно», а там, наоборот, «несерьезно» — какая-то безответственная игра словами и буквами, раздражающая на фоне отключения электроэнергии и невыплаты зарплат. Столичное литературное сообщество подозревается в злонамеренном недопущении конкурента из провинции к славе и якобы имеющимся здесь бешеным деньгам. Отсюда путь лежит в алкоголики либо в писатели-патриоты.

Сегодня некоторые мифы постепенно развеиваются. Столичные издательства и редакции толстых журналов буквально прочесывают провинцию в поисках авторов. Премия «Дебют», посредством телевидения обратившаяся ко всей стране, в 2001 году пропустила через себя более 35 000 рукописей и намыла кое-какой золотой песок — хотя сама по себе и не способствовала повышению гениальности населения.

Гораздо медленней, но начинает изменяться и информационная ситуация, что связано не только с постепенным устаканиванием книжного рынка, но главным образом с Интернетом. Информационная структура общества в значительной степени производна от социальной, но полностью с ней не совпадает — и при этом не менее важна. Из того, что в ближайший год бума в Интернете не произойдет, не следует, что этого не случится в обозримом будущем. Видимо, скоро оторванность провинциального писателя от новейших литературных технологий и от общения по поводу этих технологий будет преодолена (уже преодолевается в тусовках самых молодых литераторов, живущих в крупных городах России). Скоро станет не слишком важно, в какой географической точке находится физическое тело. Значит ли это, что, плавая в общем для всех виртуальном водоеме, писатели перестанут делиться на столичных и провинциальных? Это вряд ли.

Есть некоторые вещи бытийного, что ли, плана, которые искоренимы только вместе со всеми нами. Бытие, как ни крути, определяет сознание. «Культура против географии» (кажется, это название одного интернетовского ресурса) — все равно что прогресс против природы. Провинциалы весьма горячо ратуют за равноправие — еще бы! Но они же несут в себе и некоторые свойства, не поддающиеся стиранию без ущерба для пишущего «я», а может, и вовсе ничему не поддающиеся.

Мне уже приходилось озвучивать свою любимую идею, что Россия — огромная машина времени: чем дальше на восток, тем глубже в прошлое. Но со временем и провинциальностью все не так однозначно. Если вообразить, что Урал живет сегодня в году так 1999-м, а Западная Сибирь — в 1997-м, это не объясняет столь радикальной разницы в мышлении, какую можно наблюдать хотя бы на примере почты «Дебюта». Понятно, что для того, чтобы читать, надо писать. Конкурсанты из глубинки, из малых российских городов обнаружили в своих текстах прекрасное знание классики. Это наш XIX век, это лучшие образцы советской литературы (Распутин, Шукшин), это переводной латиноамериканский роман. Что означает сие явление? Оно означает ровно то, что автор прочел все содержимое районной библиотеки. Новейшего русскоязычного мейнстрима, равно как и модных книг от продвинутых издателей («Вагриус», «Амфора», «Ad Marginem») он не видит потому, что у библиотеки нет денег на формирование фондов. Соответственно автор не выбирается за пределы тех текстов, где он обнаруживает для себя творческий витамин. В лучшем случае он знаком с литературой из толстых журналов, где и мечтает когда-нибудь опубликоваться.

Молодые авторы из столиц на толстые журналы ориентируются гораздо меньше. Их чтение — это переводная, главным образом англоязычная проза, выпускаемая той же «Амфорой» и «Иностранкой». Наконец, они просто читают на языках. Плюс для них актуальны поколенческие тексты, создаваемые и признаваемые внутри тусовки. Здесь идет своя внутренняя работа — например, привнесение в поэтическое высказывание непоэтических речевых пластов или реабилитация сверхкороткого жанра в прозе. Книжный рынок эту работу не видит в упор.

Разницу в мышлении определяет не только интеллектуальный быт, но и просто материальная среда. Она, пожалуй, — еще в большей степени, чем литература. Москва, какой мы ее видим сегодня, явно выпала из системы российских городов, с их кремлями, промзонами, памятниками Ленину и драматическими театрами. Наша столица вошла в систему городов мировых, со всем присущим этой системе транснациональным обиходом. Москва, хотя бы вследствие рекламы, многоязычна. В сущности, город, да и каждый населенный пункт, можно рассматривать как текст. Вообразите картину: все здания, памятники, фонтаны, мосты остались на месте, но отовсюду исчезли буквы. Современный человек в такой ситуации ощутил бы себя на родных и привычных улицах точно в пустыне. Помимо практических проблем (невозможность отыскать нужный адрес, определить, в какой магазин идти за хлебом, а в какой за сапогами), перед ним бы возникла проблема коммуникации со средой. Любой город постоянно «говорит» с человеком. Путешественник, оказавшийся в месте, где указатели, вывески, реклама на незнакомом ему языке (хотя практически все мировые центры «говорят» по-английски), все-таки чувствует «речь», обращенную к нему. Это создает предпосылки некоторого внутреннего комфорта, потому что возможность понимания существует хотя бы теоретически. Налицо сам факт коммуникации. Ведь на самом деле лишь небольшая часть городского текста имеет для человека практический смысл. Большинство окружающих нас слов и букв — это воспринимаемый зрением «бесполозный» поток, система приветствий, обращение к некоему шестому чувству, для которого речь как таковая служит пищей и привычным бытовым наркотиком.

У разных городов разное «произношение» — и на интернациональном английском они изъясняются с разным «акцентом» (английский райцентра служит предметом для анекдотов). Различаются формы и жанры высказывания. Большая часть российских областных городов до сих пор похожа на советские газеты (улицы, названные в честь никому не известных революционеров и Героев труда, тому способствуют, создавая что-то вроде рубрики «О людях хороших»). Столицы, за исключением спальных пролетарских районов, напоминают глянцевого журналы. Словом, везде своя «литература». Может быть, главное отличие города от сельского населенного пункта состоит как раз в том, что город — текст, а деревня — не текст. Деревенские дома тоже имеют таблички с номером и названием улицы, но они, скрытые разросшимся палисадником, перебиваемые формой и цветом оконного наличника, воспринимаются не как слова, а как скромные, в десятую очередь видные предметы. Деревня в отличие от города «молчит». Это ментальное молчание позволяет видеть вещи как таковые; вне большого города человек ближе не к природе, но к самой материальности мира, к индивидуальным качествам дома, дерева, колодца, травы, переходящим под пером литератора в качества поэтические. Городская проза ищет те же самые качества в пространственных резервуарах, относительно свободных от общепитаемого текста. Малая родина литератора — не центр, но двор, где если что-то и написано, то сугубо частным образом. Любые граффити — это заметки на полях своего экземпляра города; тинейджеры с аэрозолями, увлеченно покрывающие поверхности произведениями уличного искусства, изрисовывают город, будто школьный учебник.

Разумеется, провести четкую границу между «говорением» города и «тишиной» деревни невозможно. Речь идет об интенсивности словесного потока, читаемого пешеходом и автомобилистом. Чем меньше интенсивность, тем более выпукло выступают реалии окружающей человека действительности. В то же время они лишаются «информационной поддержки». Информационная структура общества такова, что чем меньше сказано о персоне либо предмете, тем менее они интересны людям, лично с ними не соприкасавшимися. Деревня и райцентр не имеют пиара. К этому следует добавить факт, что писатель, живущий в провинции, «по жизни» имеет дело главным образом с этой провинцией. Он не участвует в интернациональной литературной жизни — книжных ярмарках, поэтических фестивалях, премиальных процессах — и, как правило, не имеет материальной возможности тусоваться в столицах за собственный счет. Он не гражданин мира. Поэтому литераторы из глубинки все пишут и пишут свои варианты «Ста лет одиночества».

В принципе модель «Макондо» легко воспроизводима на любом национальном материале. Берется поселение, оторванное от мира, показывается сперва его расцвет, затем — после ряда экзотических бедствий — упадок и запустение. Показывается переплетенная история нескольких семейств, где непременно присутствуют любовь, вырождение, бытовая магия. Герои этой прозы иногда уезжают из «Макондо» в дальние края и возвращаются не столько изменившимися вследствие реальной жизни, сколько превращенными в другие существа; после этого чужие страны, где побывали герои, становятся не познанными, но еще более баснословными. «Макондо» видится как чулан мировой цивилизации: проза получается тем удачнее, чем лучше автору удается передать обаяние хлама.

Почему модель «Макондо», пришедшая из Латинской Америки, оказалась столь востребованной творческими людьми из постсоветской глубинки? Видимо, тут ключевые слова — магия и миф. Имея в качестве материала провинциальную действительность, писатель ищет пути ее актуализации в читательских умах. Городец и его обитатели сами по себе неинтересны (в этом отличие новой ситуации от времен развитого социализма с его производственным романом); чтобы обобщить и поднять их значимость, их следует выдумать. Местные легенды, если они есть, переформулируются, действительность превращается в метафору. Литература сама есть разновидность бытовой магии, поэтому дистанция между бытом и мифом легко минимизируется. Интенсивность мифотворчества тем выше, чем меньше у автора шансов перевести действительность в прозу один к одному. Город, если он недостаточно текст, сам за себя не отвечает. Видимо, в это понятие «текста» входят не только уличные буквы, но и, к примеру, местные СМИ. Как ни странно, но если в газете типа «Уральский рабочий» или екатеринбургские «Ведомости», а также в новостных программах местных телеканалов достаточно часто упоминать, скажем, улицу Бажова, улицу Малышева, улицу Пехотинцев, то через какое-то время становиться уже можно пускать по этим улицам героев романа. Развитие региональных СМИ больше

способствует нанесению города на литературную карту России, чем героические усилия одиночек, таких, как Валерий Исхаков, написавший роман «Екатеринбург» тогда, когда ни город, ни книжный рынок не были к этому готовы.

Яркий пример «макондостроительства» — повесть Юрия Петкевича «Возвращение на родину». Петкевич живет в Белоруссии, в местах, задетых Чернобылем, и это важно для текста. Его «Макондо» — городок Гробов плюс город побольше под названием Октябрь — суть два атома одной молекулы. Странное пространство мутитует, причем к мутагенным факторам относится не только собственно взрыв, оставивший след на земле и в умах, но и прививка классического модернизма. Последний позволяет превратить относительную слабость авторской позиции — а именно провинциальность — в сильную сторону прозы.

Оба городка находятся в таком отдалении от мира, что события общезначимые, интерпретируемые общим и известным читателю образом — такие, как Великая Отечественная война, — проходят через Гробов и Октябрь неправильно, как бы навыворот, и кажется, что видна историческая изнанка. Гробов (в названии чувствуется опять-таки иронический отсыл к Чернобылю) становится в повести воплощением земной красоты. Ни один из героев не может вместить до конца красоту и любовь к женщине — в этом высокая трагедийность прозы Петкевича. По Петкевичу, смерть — тоже часть жизни, и в этом смысле смерть прекрасна. Жители Гробова заготавливают гробы впрок для всего семейства с той же естественностью, с какой заготавливают грибы и капусту. Можно было бы остановиться еще на целом ряде философов и мифологов белорусского «Макондо», однако здесь стоит отметить поэтический и живописный авторский язык. Видимо, особая забота об изобразительности языка — сегодня также черта провинциальной литературы. К этой заботе писателя подвигает необходимость превращать локальную действительность в глобальную метафору. К этому добавляется потребность реабилитировать «серую» провинцию в глазах широкой (в пределе — общемировой) аудитории. «Молчание деревни» побуждает литератора вырабатывать способы речи, в каком-то смысле уравнивающие его с изначальным Автором доступной ему части действительности. Не всем, конечно, это удастся.

Гробов и Октябрь погружены в свое отдельное бытие — так же, как и проза Юрия Петкевича. Книга белорусского писателя «Явление ангела», недавно вышедшая в «Вагриусе», могла бы появиться намного раньше, а могла бы пролежать в издательском портфеле еще десять лет и все равно заняла бы в литературном процессе ровно то место, какое занимает сейчас. Положение этой прозы прочно, но у нее, конечно, нет ресурса, чтобы стать остроактуальной и тем более модной.

Для сравнения возьмем известный роман космополита Дмитрия Липскерова «Сорок лет Чанчжоз», также обнаруживающий — через какие-то верхние слои литературной атмосферы — родство с моделью «Макондо». У Липскерова городок Чанчжоз — также чулан цивилизации со своими мифами и чудесами; при этом все описанные вещи взяты из головы. Однако по каким-то неуловимым признакам читатель ощущает, что Чанчжоз — часть огромной Российской Империи. Расстояние не отделяет, но соединяет Чанчжоз с миром: постоянно идут интенсивные обменные процессы, и стоит городку немного опустеть, как он тут же наполняется новыми переселенцами самых разных национальностей, конфессий и обликов. Соответственно роман «Сорок лет Чанчжоз» стал заметным событием литературной жизни 1997 года, был, что называется, на слуху. «Возвращение на родину» Петкевича — событие не такое звучное, хотя по гамбургскому счету вполне состоятельное.

Имеет смысл сопоставить «Макондо» Петкевича с совершенно реальным городом Киевом, как он предстает в прозе прошлогоднего шорт-листа «Дебюта» Антона Фридлянда. Видимо, Киев, как и Москва, уже вошел в ту транснациональную систему мировых столиц, что подобна сообщающимся сосудам: уровень и качество «текстового» содержимого везде примерно одинаковы. Роман Фридлянда «Запах шахмат» представляет собой изящную игру в детектив, где имеется цепочка странных самоуправийств, красивые женщины, большая сумка с наркотиками, таинственные манипуляции с сознанием, а в роли пассивного следователя выступает фальшивый подсадной наследник погибшего мафиози, также погибающий в конце романа. Все острые ходы этого текста демонстрируют скорее пластику жанра, нежели его реальные сюжетные возможности. Что же касается Киева, то там как будто и нет никакой Софии, памятника Хмельницкому, пожарно-красного университета и даже Днепра. Город состоит из одних ночных клубов, ресторанов, гостиниц и аэропорта. Точно так же в повести Фридлянда «Метро» (включенной вместе с «Запахом шахмат» в первый

выпуск книжной серии «Дебюта») никто не узнает ни одной киевской станции. Казалось бы, налицо утрата ряда возможностей прозы. Однако именно такое письмо позволит книге Фридлянда быть широко прочитанной и войти в моду; полагаю, что через очень небольшое время ее переведут на европейские языки. Все дело в том, что реалии книги в переводе не нуждаются, а достоинства ее, как говорится, налицо.

Стоит остановиться еще на одном отличии провинциальной литературы от не-провинциальной. Из всего сказанного выше вытекает, что в глубинке невозможно создавать полноценный non-fiction. Краеведение, конечно, полезно в смысле науки, в смысле воспитания подрастающего поколения, но для художника это — занятие ущербное. На основе краеведческих изысканий возможен, пожалуй, исторический роман. Что же касается литературы про сегодняшний день, и сюжет, и герои должны быть вымышленными. Исключение могут составить персонажи вроде Анатолия Быкова, воспетого Эдуардом Лимоновым, но этот персонаж не только и не столько красносарский. Биографии менее раскрученных и менее наследивших героев нашего времени, будь они сколь угодно общечеловеческими по уровню письма и осмыслению проблем, останутся для внутреннего употребления на данной территории. Может быть, поэтому почти все заказные книги про людей, заводы, города не поднимаются в провинции выше некоторой — весьма невысокой — планки. Даже люди, умеющие писать хорошо, такую заказуху инстинктивно пишут плохо: должно быть, что-то внутри подсказывает, что блеск и ум здесь неорганичны и просто неуместны.

Невозможен в провинции также роман, в чью эстетику входит «эффект узнавания». Это не собственно non-fiction, но нечто близкое: текст, где реальность едва прикрыта и предстает перед читателем в нижнем белье. Такова, например, новая книга Анастасии Гостевой «Притон просветленных». Я не знаю никого из описанной там тусовки, но чувствую присутствие подлинных персонажей, и поэтому мне немножко больше интересно, чем было бы без этого эффекта. Таков и неопубликованный пока роман Сергея Шаргунова «Мальш наказан», вошедший в лонг-лист «Дебюта-2001». В нем автор предстает под собственным именем, а в роковой женщине Полине угадывается небезызвестная Алина Витухновская. Для сравнения сошлюсь на упомянутый «Екатеринбург» Валерия Исакова. Свои знают, например, что под именем Грини Кутулина там выведен деятель уральской литературы Евгений Зашихин. Но это именно для своих: в самом романе «эффект узнавания» не отыгран, реальные люди выступают в классической роли прототипов. Это и понятно: Зашихин и Витухновская — две большие разницы. Современная документалистика и близкие к ней образцы существуют постольку, поскольку обеспечены пиаром. Провинция этого не может, поэтому пишет по старинке: сюжет, герои, завязка-развязка. Что тоже в общем-то неплохо.

Провинциальная литература таким образом — не отсталая, не старомодная. Она просто другая. Причины явления объективны: «гений места» у провинциального писателя не такой, как в столицах. С одной стороны, для провинциала ситуация неблагоприятна и даже обидна. С другой — всякий культовый писатель есть кандидат в пенсионеры. Очень может быть, что именно в провинции, ориентированной, за неимением другого, на гамбургский счет, будут созданы более устойчивые художественные ценности, чем те, которыми все мы сегодня склонны обольщаться.



Владимир БЕРЕЗИН

Суеверие

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.

Конституция Российской Федерации, статья 28.

Разговоры о религии ни к чему хорошему не приводят. К ним вполне подходит суждение Аверинцева о национальном вопросе. Рассказывают, что на одной из своих лекций по средневековью он говорил, сокрушенно разводя руками: «Национальный вопрос — это такой вопрос, где что ни скажешь, все будет глупость...»

И вдруг меня спросили, как я отношусь к легализации сатанизма. Начал я обдумывать этот вопрос и вспомнил известные максимы — в ключе «Мне ненавистны ваши убеждения, но я готов жизнь положить и т. п.». Подобная логика мне неудобна и тяжело ложится на душу.

Я-то, разумеется, не сатанист. Никоим образом.

Но вот теперь получается, что сатанизм можно легализовать, если он не противоречит всяким законодательствам. Поскольку общество у нас светское. С другой стороны, его легализовать нельзя, так как Черную Мессу тоже легализовать придется и младенцев дозволено будет как поросят резать. А уж это разрешить невозможно.

А ведь есть еще пограничные случаи. Полусатанисты. Сидят тихо, Вельзевулу в одиночестве молятся. И не о погибели мира, а о продаже собственной души. Как с ними-то быть?

Зыбкая грань закона вообще легко преодолевается. Появятся, скажем, Новые Инки и ну под пирамидой Голода, что стоит на Рижском шоссе, горло священными ножами кому-нибудь пилить. А есть и премудрые христианские секты, в которых сам черт ногу сломит, пытаюсь понять их рекламную идеологию. В общем, гадость еще та.

Да и сциентисты у меня радости не вызывают, хотя я к прогрессу и научному знанию отношусь с уважением.

Такое впечатление, что укрощение домочительниц, взывающих к Люциферу по ночам, — не частное дело. Это дело суда и прокуратуры. Впрочем, у нас есть Конституция, а в ней есть статья двадцать восьмая — как раз про это.

Правда, некоторые особо совестливые говорят, что надо вмешиваться.

А этим жизнь не облегчишь. Задача гражданина иметь позицию, а запрещать и разрешать должны специальные люди. Это, конечно, идеал. Но в противном случае будет как в то, далекое уже время, когда ходили по улицам народные дружинники и линейкой мерили стилигам брюки — со всеми последствиями. Только к религиозным воззрениям, увы, линейку не приложишь. Да и не существует такой линейки.

Ни у кого. И у меня ее нет.

Когда Лев Толстой написал «В чем моя вера», оказалось непонятным, спрашивает он или утверждает...

Вот и меня одна девушка как-то спросила, верю ли я в Бога.

Этот вопрос напомнил мне о повести гениального сумасшедшего, что обзавелся ворохом фамилий — от Ювачева до Хармса и Шардама.

«— Я хочу спросить вас,— говорю я наконец,— вы веруете в Бога?»

У Скаредона Михайловича появляется на лбу поперечная морщина, и он говорит:

— Есть неприличные поступки. Неприлично спросить у человека пятьдесят рублей в долг, если вы видели, как он только что положил себе в карман двести. Его дело — дать вам деньги или отказать, и самый удобный и приятный способ отказа — это соврать, что денег нет.

Вы же видели, что деньги есть, и тем самым лишили его возможности вам просто и приятно отказать. Вы лишили его права выбора, а это свинство. И спросить человека: «Веруете ли вы в Бога?» — тоже поступок бестактный и неприличный»...

Сейчас бестактно и неприлично утверждать свою веру в светском государстве. Опасливая симпатия к Рушди, книга которого, несмотря ни на что, не прочитана в России, выращена западным либерализмом.

Система веры светского общества, похожая на смешанный лес, выпестована демократией. Словарь Даля определяет суеверие как «веру в причину и следствие, где никакой причинной связи не видно. Взаимные пределы правoverия и суеверия зависят от убеждений, и у всякого на это своя вера. Все таинственное, непонятное в природе иными отвергается и зовется суеверием. Суеверный человек, народ, усвоивший себе суеверие, убежденный в истине явлений, отвергаемых несуетверными; у кого много суеверных обрядов, примет. Один считает суеверным того, кто не выезжает в путь по понедельникам, а другой того, кто верит в сообщительную духовную жизнь».

Человечество в большинстве своем не читает философов, религия приходит в массы через литературу — поэтому русская интеллигенция оглядывалась на Толстого.

Теперь уже разобрались с мифической анафемой Толстому. Вспомнили слова: «Если я, умирая, буду креститься, то пусть не думают, что я верю в Христа Бога и церковное учение,— крещусь я потому, что это движение выражает для меня преданность воле Божьей и сознание своей греховности и желание освободиться от нее» (1908).

До последнего года жизни он говорил с Богом: «В первый раз испытал чувство полной преданности воле Бога, т. е. ничего для себя не хочешь, одного хочешь: делать то, что Он хочет. И такое радостное, в первый раз испытанное чувство» (1909).

Но демократия, а западная демократия замешана на христианстве, имеет и оборотную сторону. Она поднимает волну суеверия. Суеверие равноправно вере, так же как равноправны в демократическом обществе сатанизм и атеизм, шаманская пляска и сонм греческих богов.

Вот и решай, что теперь делать с сатанистами, если игра в разноцветные магии — свойство времени. Это повальное увлечение массовой культуры, нашедшее отражение даже в фантастике и фэнтези для детей. Показательна, к примеру, вереница книжек о маленьком волшебнике Гарри Поттере, что сочинила англичанка Джоан Роулинг.

Когда появилась первая книжка русского Поттера, о нем говорили много.

Во-первых, справедливо ругали халтурный перевод. Действительно, он был нехорош: один мальчик там потерял ручную жабу, через страницу искал черепаху, а находил вновь жабу... Ну и тому подобное. Во-вторых, говорили, что творение Роулинг вряд ли приживется на нашей земле. В-третьих, замечали, что рекламируется книга довольно вяло.

Потом за Поттера взялись всерьез — объединенными усилиями. Кинематографисты горят желанием выпустить русскую версию фильма о нем. LEGO делает тематические игрушки, каталог которых похож на Уголовный кодекс: «4706. Запретный коридор. Войди в запретный коридор вместе с Гарри, Роном и Гермионой... От 7 лет». Появились настольные игры и прочая детская радость. И новый перевод, лучше предыдущего, но тоже довольно странный.

В этом новом переводе попытались сладить с говорящими фамилиями, причем главный негодяй Voldemort превратился в Волан де Морта. Он не очень похож на Воланда, но все остальные персонажи явно должны быть «частью той силы, которая...» ну и тому подобное дальше. Оду белой магии в противовес магии черной на Западе часто шпыняли именно за то, что она ода. В нашей стране к этому отнеслись спокойнее. Вряд ли книги Роулинг приучают детей к нехристианскому мышлению лучше, чем Толкиен. А его читают не только совершеннолетние.

Между прочим, вся литература фэнтези по сути антихристианская. Это ее неотъемлемое свойство, как и то, что действие в ней происходит в допороховую эру. Льюис было попытался написать христианскую фэнтези, но ничего у него не вышло. Из всех инклингов, работавших в жанре фэнтези, только Толкиен стал по-настоящему популярен. Он стал популярен именно потому, что построил свой эпос на совершенно нехристианской основе — кельтской мифологии.

С другой стороны, западная публика не зачитывалась своим национальным «Понедельником, начинавшимся в субботу» — ни в гипотетическом взрослом варианте, ни в детском. Теперь эта публика получила свое. Роулинг поместила цикл о Поттере не то что в эру огнестрельного оружия, а в *здесь и теперь*, снабдила непереводаемыми языковыми изысками, расставила указатели на Алису и Мэри Поппинс и вышла в дамы.

В оригинале язык Роулинг прелестен, а ее игра с английской традицией заворачивает.

Ну а мы получили русского Поттера — и стало удобнее приводить примеры тяги современного общества к магии. Маленький Гарри с трудом находит себе место в сознании поколения, возросшего на историях про Институт чародейства и волшебства. Нам мешает то, что магглы (то есть не-волшебники, иначе говоря, мы с вами) в этих книгах — существа третьего сорта, как негры в ЮАР двадцатилетней давности. Да и домохозяйница Мэри с неприличной для русского слуха фамилией и странным понятием о справедливости полюбились у нас не всем.

Но все это не умаляет популярности мальчика Гарри — у него есть свой русский фэн-клуб, свои «народные» переводы, свои любители. Он сам по себе — летает на метле, машет волшебной палочкой. Ему наплевать, что книжки Роулинг запрещают в западных и европейских библиотеках.

Нам, магглам, его не понять.

Мы устали говорить о том, как плохо в нашей стране. Слишком долго мы испытываем боль за все, что здесь происходит, слишком долго вместо чая пьем по утрам ненависть.

Друг мой, вечно пьяный вальцовщик, рассказывал о своей жизни словами Хайдеггера:

— Когда рушится все, наступает великий час философии.

И действительно, как в час перед концом расплодилось мыслители и прорицатели. Мы живем в странное время, непостоянное и текучее, как вода. В конце восьмидесятых в любой из вторников было непонятно, что произойдет в четверг или, скажем, в пятницу. А на всеобщее недоумение накладывалась всеобщая политизированность. Причем высшей формой политизированности стала сплетня.

Даже «святы» письма наполнены политикой. А эти письма — лучший пример демократического суеверия.

Известно, о чем я говорю: «Перепишите это письмо 10 (20, 50...) раз, и на четвертый день судьба Вам что-нибудь подарит...» В то время когда школьники носили серые форменные костюмы, а в каждой классной комнате прищеривался над доской основоположник, я обнаружил такое письмо в своей парте. Как настоящий пионер, гадливо улыбаясь, я сдал его учительнице истории.

«Святы» письма делились на две категории. Одни действовали только пряником, другие пользовали и кнут: «Служащий Харст получил письмо и, не размножив его, порвал. Через четыре дня он попал в катастрофу».

Русское православие открестилось от «святы» писем, а один сердобольный батюшка даже предложил слабонервным пересылать их ему для уничтожения, но письма живут и неистребимы, как всякое суеверие. Попозже они приобрели политический запах: «Хрущев получил письмо, когда отдыхал на даче в 1964 г. Он выругался и выбросил его в урну. Через четыре дня его свергли». Я никоим образом не хочу оспоривать возможность Хрущева получать «святы» письма. Бог с ними, с этими письмами, да и с их авторами, все равны перед Ним.

Во времена крушения Империи письма приобрели привкус объясненной непредсказуемой истории. Был в них упомянут маршал Тухачевский, не внявший «святому» листку, и крестьянка, которая, размножив пятьдесят штук, вышла замуж за графа Потоцкого.

Это было сильнее, чем Хрущев у почтового ящика, сильнее, чем «Фауст» Гете.

Потом появились электронные письма с рекламным пряником-обещанием, с какими-то ламаистскими загадками. Разновидность утомительной мусорной рассылки. Недавно и я получил такое.

В этом ламаистском письме очень нравится фраза «даже если ты не суеверен». Суеверность то есть увеличивала шансы. Но возможность быть засыпанным не пряниками, а новой бессмысленной рекламой не страшнее woodoo dolls с инструкцией и набором булавок, что продаются нынче в магазинчиках. Их реклама уговаривает: покупайте, мы гордимся званием аутентичных, все сделано практикующими специалистами...

Крутится маховик, и вот снова: «Одной женщине подарили денежное дерево (дефенбахия, у нее листья цвета доллара). И было ей счастье! Почти каждый день она находила дома деньги, в самых неожиданных местах. Потом по причине природного альтруизма она принесла дерево на работу. С тех пор объем продаж магазина увеличился в 2 (два) раза!»

А один человек прыгнул из самолета без парашюта, и было ему несчастье. А одна женщина подписалась на журнал «Столица» — и было ей счастье. Эх, где тот журнал...

И гнутся, едва не ломаются на этом ветру все разговоры о религии.

Вот и все рассуждение о вере.

— Ахгосподибожемой,— сказал бы я, а вот и не скажу.



Содержание журнала «Октябрь» за 2001 год

ПРОЗА

| | |
|---|-----|
| АЛЕШКИН Петр. Русская трагедия. Повесть. | |
| IX | 107 |
| АНАНЬЕВ Анатолий. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Версии, основанные на исторических свидетельствах, фактах и документах. Книга третья. | |
| IX | 3 |
| БАБЧЕНКО Аркадий. Десять серий о войне. | |
| XII | 4 |
| БАСИНСКИЙ Павел. Высокая болезнь. Исповедь графомана. | |
| II | 107 |
| БЕРЕЗИН Владимир. A chi Italia? Рассказ. | |
| IX | 154 |
| БОБЫШЕВ Дмитрий. Я здесь. Главы из книги. | |
| IV | 88 |
| ВАСИЛЬЕВА Светлана. Триптих с тремя неизвестными. Рассказы. | |
| XII | 94 |
| ВЕЛЛЕР Михаил. Белый ослик. Повесть. | |
| IV | 3 |
| ГЕЛАСИМОВ Андрей. Нежный возраст. Рассказ. | |
| XII | 29 |
| ГОРЛАНОВА Нина. Принцесса и нищий. Рассказ. | |
| III | 105 |
| ГРЯКАЛОВ Алексей. Здесь никто не правит. Рассказ. | |
| VI | 134 |
| ГУРЕЕВ Максим. Брат Каина — Авель. Повесть. | |
| V | 59 |
| КЛИМОНTOBИЧ Николай. ...и семь гномов. | |
| VI | 111 |

| | |
|--|-----|
| КУЧАЕВ Андрей. В германском плену. Рассказы. | |
| VIII | 109 |
| ЛУКЬЯНОВ Павел. Палка. Рассказ. | |
| XII | 39 |
| МАРКИШ Давид. Стать Лютовым. Вольные фантазии из жизни писателя Исаака Бабеля. | |
| I | 67 |
| II | 33 |
| МИХАЛЬСКИЙ Вацлав. Весна в Карфагене. Роман. | |
| V | 3 |
| X | 3 |
| НАЙМАН Анатолий. Пропущенная глава. | |
| III | 92 |
| НАЙМАН Анатолий. Жизнь и смерть поэта Шварца. Пьеса. | |
| X | 67 |
| ОЛЕНЦОВА Наталья. Дар Божий. Рассказ. | |
| XII | 26 |
| ОРЛОВА Тамара. Путь Луны. Рассказ. | |
| IV | 129 |
| ОТРОШЕНКО Владислав. Гость. Рассказ. | |
| VI | 108 |
| ОТРОШЕНКО Владислав. Эссе из книги «Тайная история творений». | |
| XII | 128 |
| ПАВЛОВ Олег. В безбожных переулках. | |
| I | 3 |
| ПАВЛОВ Олег. Карагандинские девятины, или Повесть последних дней. | |
| VIII | 3 |
| ПЕТРУШЕВСКАЯ Людмила. Морские помойные рассказы. | |
| XI | 90 |
| ПОДОЛЬСКИЙ Наль. Книга Легиона. Роман. | |
| VII | 63 |
| ПОПОВ Михаил. Два рассказа. | |
| III | 111 |

| | |
|--|-----|
| ПЬЕЦУХ Вячеслав. Деревенские дневники. | |
| II | 3 |
| ПЬЕЦУХ Вячеслав. Письма из деревни. | |
| XI | 104 |
| ПЯТИГОРСКИЙ Александр. Древний Человек в Городе. Роман. | |
| XI | 3 |
| РАДЗИНСКИЙ Эдвард. Игры писателей. Неизданный Бомарше. | |
| III | 3 |
| IV | 31 |
| САКСОН Леонид. Принц Уэльский. Рассказ. | |
| XII | 58 |
| СЛАВНИКОВА Ольга. Бессмертный. Повесть о настоящем человеке. | |
| VI | 3 |
| ХУРГИН Александр. Воскресный троллейбус. Рассказ. | |
| II | 102 |
| ЧАНЦЕВ Александр. Магазин (hardcore mix). Рассказ. | |
| XII | 15 |
| ЭДЛИС Юлиу. Черный квадрат. Роман. | |
| VII | 3 |
| VIII | 79 |
| ЮРСКИЙ Сергей. Четырнадцать глав о короле. | |
| V | 119 |
| ЮРСКИЙ Сергей. Вспышки. Заключительная глава книги. | |
| X | 99 |

Нечаянные страницы

| | |
|--|-----|
| ЛАВРИШКО Владимир. Один день из жизни Очень Знаменитого поэта. | |
| VII | 128 |

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

| | |
|--|--|
| ЛОСЕВ А. Ф. «Смерть, где твое жало; ад, где твоя побе- | |
|--|--|

да...» Вступление Елены Тахо-Годи. Подготовка текста А. А. Тахо-Годи и В. П. Троицкого. Публикация А. А. Тахо-Годи.

III 123

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЗАДОРНОВ Михаил. **Фантазии сатирика.**

X 149

ИРТЕНЬЕВ Игорь. **Праздник, который давно готов.**

XI 155

НАЙМАН Анатолий. **No comment.**

VIII 134

ПОЭЗИЯ

АНДРОНОВА Татьяна. **Обгоняет нас буря века.**

III 82

БЕШЕНКОВСКАЯ Ольга. **Смуглый ангел пустыни.**

VI 131

ВИШНЕВЕЦКИЙ Игорь. **Сумерки сарматов.**

IX 103

КОКОТОВ Алексей. **Немного старых слов.**

XI 86

МЫСЛИЦКИЙ Феликс. **Два стихотворения.**

XII 150

МУРОМСКАЯ Наталья. **Компьютерная мышь.**

XII 57

НАЙМАН Анатолий. **Кратер.**

I 55

НАУМОВА Елена. **Стихи — забава молодых.**

XII 126

ПАЗДНИКОВ Иван. **Жизни волосок...**

XII 91

ПЕРЕЛЬМУТЕР Владимир. **Незапечатляемый пейзаж.**

IV 26

ПУХАНОВ Виталий. **Неприкасаемое.**

X 94

ПУЧКОВ Владимир. **Легкая тайна.**

VI 105

САЛИМОН Владимир. **Фактура грубого холста.**

II 96

ТИХОМИРОВА Лариса. **Полукруглое детское солнце.**

XI 104

Три цвета. Стихи Вадима МУРАТХАНОВА. Сухбата АФЛАТУНИ, Санджара ЯНЫШЕВА. Вступление Анатолия Наймана.

V 53

ФЕДОСЬКИНА Ирина. **Версия.**

XII 12

ФУРСОВ Александр. **Китайский почерк.**

VII 57

ЧЕБОТАРЬ Серафима. **Муравей моей судьбы.**

XII 36

ЩЕРБИНА Татьяна. **Антивирус.**

VIII 74

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

БАКШИ Людмила. **Домашний театр, или Полифония мира.**

III 164

БЛАГОДАРОВА Фаина. **Блокада.**

XII 163

КАНТОР Владимир. **Антихрист, или Вражда к Европе: становление тоталитаризма.**

I 119

КАНТОР Владимир. **Русский философ в эпоху безумия Разума.**

VI 141

СЕКАЦКИЙ Александр. **Истоки современной политики.**

XII 152

СИМАШКО Морис. **Пять Рим.** Глава из книги. Подготовка текста и публикация Риммы Шамис.

VII 143

СТЕПУН Федор. **Идея России и формы ее раскрытия.**

VI 145

ФИЛАТОВ Сергей. **Власть, церковь, свобода.**

IV 142

ШУБИНСКИЙ Валерий. **Неразлучные понятия.** Русская интеллигенция и тайные службы.

VIII 140

Северное измерение

ПИСИГИН Валерий. **Письма с Чукотки.**

I 135

II 113

III 131

IV 144

Пока не требует поэта...

МЕЛИХОВ Александр. СТОЛЯРОВ Андрей. **Солнце мертвых.**

V 148

МЕЛИХОВ Александр. СТОЛЯРОВ Андрей. **Небесное и земное.**

VI 152

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

МИЛЬЧИН Аркадий. **«В лаборатории редактора» Лидии Чуковской.**

VIII 173

ТОЛСТАЯ А. Л. **Дневник 1903 года.** Вступительная статья, публикация и примечания Н. А. Калининой.

IX 169

Галерея

НИКОЛАЕВА Ирина. **Два человека под одной кожаной обложкой.** Беседа с Давидом Маркишем.

I 60

НИКОЛАЕВА Ирина. **Мартовские иды Нового града.** Беседа с Вацлавом Михальским.

V 45

СТЕЛЬМАХ Валерия. **Кафедра жизни.** Беседа с Ириной Николаевой.
XI 146

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНКУДИНОВ Кирилл. **Сдвиг.**
II 157
ВАСИЛЬЕВА Светлана. **Первый встречный.** Вольное сочинение на тему «Слово и театр».
VI 161
ВИШНЕВЕЦКИЙ Игорь. **Неуловимое отсутствие.**
X 172
КОЛЫМАГИН Борис. **За пеленой дождя.**
IX 184
ЛЕЙДЕРМАН Наум. **«Уходящая натура», или Самый поздний Катаев.**
V 158
ЛЮСЫЙ Александр. **Дубинка звездорождающая.**
XI 172
МИХАЙЛОВА Наталья. **«Пиковая дама означает тайную недоброжелательность...»**
VI 178
ПАВЛОВ Олег. **Музыка жизни.**
VII 165
ПОРУДОМИНСКИЙ Владимир. **«...равенство всех людей — аксиома».**
IX 178
РЫБАКОВ Вячеслав. **То, чего не было, — не забывается.**
XI 168
СЛАВНИКОВА Ольга. **Кто кому «добренький», или Великая Китайская стена.**
III 174
ФАУСТОВ Сергей. **Голос из Вологды.**
XII 168
ХАЗАНОВ Борис. **Критик. Критика. Литература.**
I 175
ХАЗАНОВ Борис. **Буквы.**
IV 190

ШУЛЬМАН Лариса. **Сквозняки будущего.** Штрихи к жизни и литературе.
IV 171

Панорама

Валерий ШУБИНСКИЙ о кн. Бориса Житкова «Виктор Вавич». * Борис КОЛЫМАГИН о кн. О. Проскурина «Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест». * Дарья СУХОВЕЙ о кн. Владимира Гандельсмана «Тихое пальто». * Максим КУЗИН об альманахе «Красные холмы». * Александр ЛЮСЫЙ о кн. С. С. Хоружего «О старом и новом». * Андрей ЛЕВКИН о кн. Кирилла Кобрин «Описания и рассуждения». * Владимир ШПАКОВ о кн. Адольфо Киой Касареса «Изобретение Мореля». * Н. ЛУКАС о кн. Николая Плотникова «Deutschland? Aber wo liegt es». * Лариса ДАВТЯН о кн. О. А. Клинга «Текучесть твердых форм».
II 162
Роман КРАСИЛЬНИКОВ о сб. «Фаталист» и кн. А. Труайя «Странная судьба Лермонтова». * Кирилл КОБРИН о кн. Теофиля Готье «Путешествие на Восток». * Борис КОЛЫМАГИН о кн. Сергея Стратановского «Тьма дневная». * Ирина ЗНАМЕНСКАЯ о кн. Андрея Столярова «Наступает мезозой». * Александр ЛЮСЫЙ о сб. «Прекрасны вы, берега Тавриды...» * Владимир КАНТОР о кн. Вольфганга Георга Фишера «Австрийские интерьеры». * Олег ДУЛЕНИН о серии книг «Звезды московской сцены».
V 166
Анна АСТАХОВА. «Веленью Божию, о муза, будь послушна...» (Н. С. Серегина. А. С. Пушкин и христианская гинография). * Александр МЕЛИХОВ. Книга мертвой скуки

(Эдуард Лимонов. Книга мертвых). * Кирилл КОБРИН. Учебник жизни и искусства (Дороти Ли Сейерс. Чей труп?). * Александр ЛЮСЫЙ. Комплекс Гамлета (Ф. Гримберг. Две династии).
VII 173

Владимир БЕРЕЗИН. Биографический проект. Начало (Солдаты XX века. Многотомное издание). * Владимир ШПАКОВ. Заблудившийся среди химер (Джон Барт. Химера. Заблудившись в комнате смеха). * А. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ. Россия по-шведски (Карола Ханссон. Андрей).
VII 154
Александр МЕЛИХОВ о кн. Владимира Купченко «Жизнь Максимилиана Волошина». * Владимир ШПАКОВ о публикации Владимира Гандельсмана «Разрыв пространства». * Леонид ТЕРАКОПЯН о кн. Абдижамилы Нурпеисова «Последний долг». * Генрих ЛЯТИЕВ о кн. Михаила Мельтюхова «Упущенный шанс Сталина». * Кирилл АНКУДИНОВ о подборке стихов Валерия Шубинского «Подземные музыканты». * Семен БОБРОВ о кн. Леонида Кациса «Русская эсхатология и русская литература».
XI 176

Отличие ямба от хорея

КОБРИН Кирилл. **Письма в Кейптаун о русской поэзии.** Письмо четвертое.
IV 175
Письмо пятое.
VIII 159
Письмо шестое и последнее.
XII 174

Терпение бумаги

СЛАВНИКОВА Ольга. **Псевдонимы и псевдонимки.**
I 180

| | | | | |
|--|-----|--|-------------------------------------|-----|
| Поэзия жизни. Зарисовки с натуры. | | Актуальная культура | Худые и толстые. | |
| II | 180 | БЕРЕЗИН Владимир. | XI | 188 |
| Город и лес. О писательском профессионализме. | | Слово о Хаджи-Мурате. | Суеверие. | |
| IV | 179 | I | XII | 184 |
| Наши ресурсы. О полезных и вредных ископаемых. | | Табулатура. | | |
| V | 182 | II | | |
| Капсула времени. | | Три Саломеи. | | |
| VII | 183 | III | | |
| Желанье славы. | | Беллетристика. | | |
| VIII | 163 | IV | | |
| Детям до восемнадцати. | | Утопия. | | |
| IX | 186 | V | | |
| Ландшафты хеппи-энда. | | Фэнтези. | | |
| X | 176 | VI | | |
| Урок географии. | | Сайнс fiction. | | |
| XII | 179 | VII | | |
| | | Железный путь русской лите- ратуры. | | |
| | | VIII | | |
| | | Образ паровоза. | | |
| | | X | | |
| | | | | |
| | | | Русское поле | |
| | | | Рубрику ведет Павел БА- СИНСКИЙ. | |
| | | | III | 185 |
| | | | VI | 189 |
| | | | X | 186 |
| | | | Титульный лист | |
| | | | Рубрику ведет Александр ЯКОВЛЕВ. | |
| | | | I | 189 |
| | | | II | 189 |
| | | | III | 190 |



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2002 ГОДА!

Подписные индексы нашего журнала в каталоге Агентства «Роспечать»:

для Российской Федерации — 73293;

для стран СНГ — 79209.

Подписка на «Октябрь» по Москве через Интернет:
[www. Gazety.ru](http://www.Gazety.ru)

Каталожная цена на один месяц:

для подписчиков Российской Федерации — 54 руб. 50 коп.,

для подписчиков стран СНГ — 71 руб. 50 коп.

Каталожная цена на год:

для подписчиков Российской Федерации — 654 руб.

плюс стоимость доставки.

В редакции можно оформить подписку на каждый очередной номер по льготной цене и приобрести отдельные номера. Выдача и продажа журналов производятся ежедневно с 12.00 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 214-31-23.

Распространением журнала «Октябрь» в Российской Федерации и за рубежом занимается ЗАО НПО «Информ-система»: тел. (095) 127-91-47, факс (095) 124-99-38.

Распространением журнала «Октябрь» только за рубежом занимаются:

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенс» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 777-65-58, факс (095) 318-08-81);

государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» Академцентра «Наука» Российской академии наук (State Foreign Trade Company «NAUKA-EXPORT» of «NAUKA» Akademizdatcentre of the Russian Academy of Siences. 90, ul. Profsojuznaja, Moscow 117864, Russia. Telefax (095) 334-74-79, (095) 334-71-40). E-mail: nauka@naukae.msk.ru

В розницу наш журнал можно приобрести в московских книжных магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

Литературный клуб «Графоман» — 1-й Крутицкий пер., 3;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

ЗАО «Согласие» — ул. Бахрушина, 28.

МОСКОВСКИЙ ЛИТФОНД совместно с **АЛЬФА-БАНКОМ** продолжают уникальную для культурной жизни России акцию — материальную поддержку писателей, работающих над новыми произведениями.

В этом году по итогам конкурса на соискание стипендий Альфа-банка независимая экспертная комиссия, состоящая из представителей ведущих литературно-художественных журналов, приняла решение присудить 15 стипендий писателям: Владиславу АРТЕМОВУ, Владимиру БАБКОВУ, Алле БЕГУНОВОЙ, Юрию ДАВЫДОВУ, Вадиму ДОЛГОМУ (СУХАЧЕВСКОМУ), Вере ИВАНОВОЙ, Владимиру КРАВЧЕНКО, Владимиру МИКУШЕВИЧУ, Ирине ПАНОВОЙ, Олегу ПЕРЕКАЛИНУ, Владимиру ПИСКУНОВУ, Анатолию ПРЕЛОВСКОМУ, Вадиму РАБИНОВИЧУ, Владимиру САВЧЕНКО, Александру ТИМОФЕЕВСКОМУ.

*Премии «Октября»
за 2001 год*

Давид Маркиш

Стать ЛюТОВЫМ

Вольные фантазии из жизни писателя Исаака Бабеля

Олег Павлов

Карагандинские девятины,
или Повесть последних дней

Александр Пятигорский

Древний Человек в Городе
роман

Ольга Славникова

Бессмертный

Повесть о настоящем человеке

Сергей Юрский

Все начинается потом
книга прозы

Владимир Салимон

Фактура грубого холста
стихи

Владимир Кантор

Антихрист, или Вражда к Европе:
становление тоталитаризма

Русский философ в эпоху безумия разума
статьи